АКТЕРСКАЯ КНИГА
ЗВЕЗДЫ СОВЕТСКОГО КИНО

НОННА МОРДЮКОВА

НЕ ПЛАЧЬ, КАЗАЧКА

НЕ ПРОСТО ВЕЛИКАЯ АКТРИСА, ОНА ОЛИЦЕТВОРЯЛА РУССКУЮ ЖЕНЩИНУ,
СИЛЬНОЙ, ЖЕСТКОЙ, ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ, И ТАКОЙ ЖЕ РЕБЯЧЛИВОЙ,
ВНИМАТЕЛЬНОЙ, НАПОЛНЕННОЙ [illegible]

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Нонна Мордюкова - не просто великая актриса, она символ русской женщины, сильной, жесткой, принципиальной и в то же время мягкой, внимательной, наполненной всепоглощающей любовью и самопожертвованием. Она - наша, настоящая. Другой такой актрисы никогда не было и не будет. Ей удавалось все: драматические, характерные роли и великолепные комедийные персонажи. Она говорила: "В кино все стараются скорей заплакать. Да плакать легче всего, ты попробуй засмеяться, чтобы зрительный зал попадал от хохота!"

Когда читаешь эту книгу, кажется, слышишь ее голос. Эмоционально и колоритно Нонна Мордюкова рассказывает о своей жизни, сыгранных ролях, режиссерах и актерах, с которыми ей довелось работать, о тех, кого любила и ненавидела, кем восхищалась и кого презирала. Вячеслав Тихонов, Василий Шукшин, Никита Михалков и многие другие в книге Нонны Мордюковой "Не плачь, казачка", дополненной воспоминаниями ее сестры и высказываниями людей, знавших и любивших эту Великую женщину.

- Нонна Мордюкова
  - Часть I
    - Река Уруп
    - Это волшебное слово «фуэте»
    - Ленинградцы
    - Дети и горе
    - Война и жизнь
    - Ах, война…
    - Катька-морячка
    - Тапочки и часики
    - Как я стала актрисой
    - Краснодон
    - Актерская профессия
    - Станция Железнодорожная
    - Барак
    - Труд
    - Мама
  - Часть II
    - Утречко
    - «Будет вечная музыка»
    - По коням!
    - Про «того» коммуниста отца

        - «Гоп со смыком»
        - Ястребок
        - Не плачь, казачка!
        - Костюмерша
        - Рубероид
    - Часть III
        - О Василии Шукшине
        - Никита Михалков
        - Магический круг
        - Дом
    - Часть IV
        - Ноктюрн
        - Горцы
        - Аскольдова могила
        - Саша
    - Часть V
        - Закадровые страсти-мордасти
        - Торт
        - Дурка
    - Часть VI
        - Спасибо зрителям
        - Туда, сюда и обратно
        - Доктор Симанович
        - Каретка
        - Молодая гвардия клипмеикеров
    - Иллюстрации
- notes
    - 1

Нонна Мордюкова
Не плачь, казачка

Часть I
Вот так и живем

Река Уруп

Это единственное в моей жизни место, где я ощутила миг детства. Наша речка Уруп быстрая, горная. Помню, через нее свисала кладка — так назывался натянутый на проволоке длинный мостик. Никто никогда не ремонтировал его. От дыр на месте отсутствующих досок кружилась при переправе голова, поэтому из станицы Отрадной в хутор Труболёт ходили лишь в случае крайней необходимости. При переходе мостика мы, дети, держались лишь за один железный провод, поскольку до другого еще не дотягивалась рука.

Главное наше обиталище было, к счастью, под кладкой, по эту сторону Урупа. Здесь и теперь есть белая глинка, а вернее, голубая. Не знаю даже, как ее определить правильно, но это что-то вроде пластилина. Тут и было наше «птичье» сборище, наш «птичий базар». Мы сидели на берегу целыми днями и лепили: рисовать ведь было нечем да и не на чем. А в детстве всегда тянет к рисованию. Лепка заменяла любые занятия по детскому творчеству. И посегодня с острова видны чьи-то макушки и острые коленки.

А как ноги затекут от долгого сидения, так с наслаждением опять в Уруп — и косточки хоть и молодые, но с удовольствием распрямляются. Поплескаться ведь тоже великое счастье. И тогда, да и теперь тоже, вылепленные бублички и коники оставлялись на ночь, но большие «объекты» нарочно затаптывали ногами: война. Хоть какая-то, но война. Затоптать «этих». А «эти» считали за счастье быть на Урупе, не помнить причиненного им зла — и опять ляп-ляп, шлеп-шлеп по глинке голубой ладошками…

На той стороне, куда кладка ведет, в начале лета зацветали полевые цветы «лазорики», похожие на несложный по форме мак: пять лепестков, а листья тонюсенькие, как у укропа. Вот тут лепка прерывается на короткое время и все тянутся на тот берег за «лазориками»…

Однажды осенью мама повела меня в магазин купить туфли. Не хотелось надевать их на пыльные ноги, и мы просчитались: не померив, взяли тесноватые. А туфельки парусиновые, пахнут бумагой и клеем.

— Завтра, доченька, ты пойдешь в школу, — сказала мне мама.

Как воду ношу из колодца или хожу за солью, так и в школу пойду — надо выполнять мамин наказ. Зашли еще в другой отдел сельпо, и мама купила мне пальто с байковым зеленым верхом.

— Это на зиму. Ничего, что ладони и пятки прикрыты, — на вырост покупаем.

И действительно, кругом полыхает огнем осень, а пальтишко ни к селу ни к городу бьет по пяткам. Хоть и тоже пахнет новым, незнакомым магазинным запахом, как когда-то матросочка и лента, однако это ватное одеяльце в форме пальто мне хотелось как можно скорее скинуть.

Утром надела новые туфли и, пожалев маму, не сказала, что они, как кандалы, сдавили мне ноги.

Надо было на размер больше, да куда там: разве об этом могут заявлять те, кому покупают, да и кому заявлять — маме, мамочке моей!

Словом, прощай, белая глинка…

Направили меня в ШКМ, школу колхозной молодежи. Мне «как молодежи» было тогда неполных шесть лет. Это не ошибка: школа была одна на всю станицу, и нас, маленьких, — тоже туда.

Страх охватил! Первый в жизни. Длинный коридор, фикусы возле окон… Взялись за руки и вошли парами. На маленьком возвышении появилась тетка и вдруг крикнула как дурная:

— Дете!

Я увидела, как у нее заходила ходуном нижняя челюсь.

— Дете! Сегодня вы вступаете… — и т. д.

Мы стоим на тряпичной дорожке и слушаем все это, а рядом с нами матери-общественницы. Вообще-то дорожка из тряпок лучше, чем дорогие ковры. Теперь они все больше синтетические и бьют током, а те не били.

Дорожка дорожкой, а тетка та проклятущая все орет и орет. Но ее не унять, у нее такое дело, как мое — стоять, взявшись за руки с каким-то мальчиком, и молчать. Нижняя челюсть ее ходит ящиком вперед-назад, вперед-назад. Я заплакала от этого крика и от дорожки, где все рядно стояли, от фикусов, светящихся утренним солнцем, и от потной руки мальчика, который тоже был нем от происходящего. «Мама, мамочка, — подумала я, — зачем нам это с тобой?» К счастью, был дан сигнал разойтись по классам, и я вздохнула с облегчением оттого, что уходила от этой крикуньи с бородавками.

Мы вошли в класс. Я не выпускала потную руку мальчика, а он мою. Сели. И тут я подумала, что рубить топором не будут — не белые же. Пересижу, а там и к маме — веселой, с песнями под гитару, к моей двадцатипятилетней мамочке, которая меня заберет навсегда отсюда. Но не тут-то было: та крикучая тетка

вошла именно в наш класс. А я-то уж собралась сбросить туфли, что заковали мои ноги до опухоли. Смотрела я на учительницу, слушала ее, заходящуюся в крике, и наблюдала, как ящиком движется ее челюсть. Когда она произносила задумчиво промежуточное «э-э», перед глазами вырастала другая картина: белый Уруп, голубая глинка, «лазорики»… И я решила с учебой покончить — навсегда.

Зазвенел звонок, и, не сказав никому ни слова, я выплыла из класса и из той истории — и на Уруп! Вот где радость, вот где блаженство! Пускай они себе там учатся, а тут детишки пятилетние, не подозревая, откуда я к ним пришла, ляп-ляп — по голени, ляп-ляп — ладошками, резвились вовсю на воле. С дремотой долгожданного избавления пристроилась возле них, сунула портфель под голову, туфли, давно снятые, положила рядом и вкусила кусочек рая: они лепят, солнышко светит, подальше от берега забрасывают ведра в Уруп женщины, пришедшие за водой. И я тут, где мне так отрадно и такой покой на душе…

Отец поискал меня недолго и забрел к реке. Он не стал будить меня, только взял туфли: он не готовил мне кару — лишь хотел направить неудавшуюся ученицу на путь истинный.

Я проснулась, когда уже роса упала, и пошла домой.

— Где туфли новые? — спрашивает мама.

Не хотелось огорчать ее, потому как можно спокойнее и по-свойски я ответила:

— Туфли отобрали у всех, завтра одинаковые будут выдавать.

Не знаю, было ли у родителей желание наказать меня, только утром, открыв глаза, я увидела туфли так близко, что мне оставалось лишь сунуть в них ноги и идти туда, откуда я вчера так предательски бежала.

Я заплакала и тихо заползла опять под одеяло. Мама погладила меня по голове и сказала:

— Доченька, нам всем на работу пора, и мне, и папе, и тебе надо идти.

Так я стала ученицей. Походила, походила, и… что-то мне поднадоело. И вот вместо школы однажды шмыгнула в сельпо, в отдел игрушек, да так и простояла там все четыре часа. Уж что перед моими глазами только не мелькало! Ключик снизу вставишь — и пошла лаять собачка, или через весь магазин запрыгает лягушка. Запомнила дядьку, который палкой толкал вперед большую бабочку, и она, хлопая крыльями, двигалась по полу. Брови у него подняты в блаженстве, а глаза озорно улыбаются. Он и не заметил, как локтем не дал сыну перехватить палочку.

— Ну, пап, — заплакал малыш, и отец с сожалением отдал игрушку сыну.

Когда я увидела школьников на улице, тоже пошла домой.

— Нонка, а ты где была? — спросила одна девчонка.

В ту же секунду я увидела идущую с ведрами маму. И чтобы раз и навсегда прекратить ее еще не начавшийся крик, бросила портфель под колеса грузовика. Шофер не старался объезжать, но и не наехал на портфель. Все увлеклись, разбирая мою выходку, но мама, не обратив на нее внимания, исчезла в камышах, громыхая ведрами.

Однажды услыхала я незнакомое слово «библиотека». Что же это такое? Оказывается, там книжки дают. «А зачем они?» — подумалось мне. И от своих деваться некуда. Любопытство все же привело в хатку под камышовой крышей, на которой было выведено «Изба-читальня». Что же я вижу? Все в очереди стоят за книжками, а одна девочка сидит в центре хаты и тарахтит содержание той книги, которую принесла для обмена. И если не расскажешь, другую не дадут. Подходит моя очередь, и библиотекарша дает мне «Казаков» Льва Толстого. Дома я сразу на печь — и читать. Господи, буквы есть, а слов нет! Есть слова, а куда тянут — ничего не понимаю. Набираю буквы, слова, но не двигаюсь с места. Кручусь, кручусь, а все третья страница. Так и не перевернула ее на четвертую, заснула. Отдала книгу девочке с просьбой вернуть ее в библиотеку — и больше ноги моей там не было, пока не пришла пора сдавать экзамены на аттестат зрелости. Читать для меня было тогда великой мукой, — но какая же любовь к книге пришла позднее, уже во время учебы в институте! И эта неизбывная потребность читать все растет и растет и по сей день.

Но вернусь к школе. Как же я ее ненавидела! Тоска вселилась в мою жизнь: только и старалась побыстрее на топчан, чтобы спать. Мама будила, приговаривая:

— А ну-ка, доченька, давай все же ноги помоем.

Мыли холодной водой в тазу. Сонная, я совала ноги в таз, сдерживая слезы, повиновалась.

— Солнце еще не село, а она — спать! То домой не загонишь, а тут на тебе!

Мама, присев на корточки, бойко мыла мне ноги мочалкой из кукурузных листьев. И тут я уже просыпалась окончательно не только от ледяной воды, но и от одной лишь радости видеть мамину короткую стрижку, от прикосновений ее мягких дорогих рук.

Выпив парного молока с лепешкой, я подсаживалась потеснее к столу и клала на стол свой портфель.

— Так-с! — приступала мама к изучению заданий в дневнике.

И пусть была поздняя ночь — уроки выучивались назубок. Я учила их с удовольствием от сознания того, что рядом моя дорогая мама.

Потом я ждала ее в постели, а она писала что-то свое по работе колхоза…

Однажды я взяла из ее папки паспорт кобылы и принесла в школу. Когда крикливая учительница шла по коридору, я при всех бросила паспорт кобылы ей под ноги и спросила:

— Кира Васильевна, это не вы потеряли?

Она наклонилась, молча прочитала бумагу и кивком пригласила меня в класс.

— Собирай книги — и марш отсюда! Я тебя исключаю из школы.

— Что?!

— Иди и скажи матери, что ты теперь исключена.

— Слава тебе господи! — буркнула я.

Учительница вышла, продолжая на ходу доедать початок вареной кукурузы. Но чувство свободы повисло в воздухе как-то очень зыбко. Куда мне? Побрела к дому и села на большой теплый камень возле калитки. Мамы не было. Сердце билось тревожно: куда я теперь исключалась? Разве можно без школы? Вижу, мама торопливо идет, а в правой руке у нее большая черная тарелка со шнурком.

— Ты чего как дохлая? Пошли музыку слушать!

Оказывается, нам провели радио. Мама торопливо воткнула штепсель в розетку и… «С подружками по ягоду ходить…» — меня подбросило чуть не на метр. Я была очень эмоциональной, и так неожиданно впервые меня шарахнуло, как бомбой; от чар неведомых ранее звуков и от страха при воспоминании об исключении из школы меня всю затрясло.

— Что с тобой?! — закричала мама. — Малярия, что ли? — Она прикоснулась губами к моему лбу. — Жару вроде нет… Что с тобой?

Я обняла ее и так зарыдала, как еще не плакала никогда. Я рассказала маме об исключении и о том, что выкрала у нее из бумаг паспорт кобылы.

— А-а, пошли они… Ты еще маленькая. На тот год пойдешь. Как раз тебе исполнится семь.

Мама поглаживала меня по спине, музыка играла — было хорошо и счастливо.

— Так ей и надо! Чтобы учительницей быть, надо еще сначала выучиться на нее… А *она* где только не работала! — вдруг рассмеялась мама.

В моем детстве как бы полное отсутствие отца. Наверно, потому, что был он постоянно в военных лагерях. И там, я думала, будет всегда. Мне не повезло: я не любила своего отца. А вот мама… Все у нее бегом, все у нее получается — блины до рассвета и потом работа в райзо[1]. Еще она очень любила писать плакаты: как плакат, так какое-то свершение. Я ей помогала — квасила краску, расстилала по полу красный материал, на котором мамочка, стоя на четвереньках, писала, как надо жить. А кто лучше нее знал об этом?!

— Давай, доченька, побыстрее — надо до приезда папы успеть. Он не любит, когда я крашу или пою.

Ах, что за жизнь! Я еще была мала, но мой музыкальный слух, унаследованный от предков мамы и от нее самой, наслаждался, когда она пела. Ее волшебный альт, как говорится, сводил всех с ума, и, конечно же меня, влюбленную в нее — такую подвижную, такую революционную. С постоянным животиком, в котором были мои будущие братья и сестры, мама бегала, как с почтовой сумкой, и делала все для нашей новой, любимой тогда всеми советской власти. Меня она тоже без труда научила любить советскую власть — ведь это мамина власть, она так хочет, и я так сразу захотела.

Помню, однажды, когда мне было лет девять, приехал папа, военный, красивый. У него были такие маленькие кисти рук. За столом сидели еще какие-то дядьки, потом они ушли. Мама отправила меня на печь, а сама, раскрасневшись, стала говорить отцу, как ей хотелось бы создать колхозную оперу. Он слушал ее снисходительно. Мама, не выдержав, запела арию из «Наталки-Полтавки». Красиво, вдохновенно. Отец вежливо выдержал паузу и сказал:

— Теперь вот насолим огурцов, помидоров, капусты, чтоб на зиму все было…

Я чувствовала: мама недовольна тем, что отец рано разогнал гостей, — ей хотелось петь. Я заснула с любовью к маме и с надеждой, что действительно справлюсь с арией Иванушки-дурачка из оперы «Сватанье на Гончаривцы». Вдуматься только! Зачем в колхозе опера? Это ведь сложно и недоступно для всех, но мама выбрала именно оперу. Она, конечно, сама дирижировала, глядя на партитуру. И ничего здесь нет невероятного: мама с девяти лет пела в церкви на клиросе, а где может быть более чистое звучание, чем там, где люди поют от любви, бесплатно. «Как все знают, ноток всего семь штук», — пояснила она мне, и я навсегда их запомнила, как позднее таблицу умножения, которую тоже выучила благодаря маме.

— В кого она? — спрашивала приехавшая в гости бабушка,

мама отца. — Чего ей надо?

Это про меня. А я состояла из клеток и жизни своей матери, я была ее дочерью. После меня родилось еще пятеро. И они, вырастая, все говорили маме: ты больше всех любишь Нонну.

— Отрежь любой палец, — любила повторять она, — какой из них больней?

Они понимали, но не могли еще осознать какой-то неуловимой духовной связи, существовавшей между нами. Мама меня любила не за то, что я была маленькая и хорошенькая, а за то, что я понимала ее больше всех, была ее как бы тихим стражем. Мне кажется, мама искала кровного союзника во всех разгоравшихся делах и видела таким союзником только меня.

Помню, когда папанинцы высадились на льдине, все кругом кричали от радости. Мама подучила меня кричать громко, на все поле. Да, немногое запомнила я из того дня. Но помню, как мы поехали на бидарке (двухколесная, облегченная повозка с рессорами) в первую бригаду, поставили табуретку перед собравшимися колхозниками, ожидавшими начало вечера (сначала — политическую часть, а затем — танцы), — после мамы выступала я.

Потом меня со скамейки сняли и преподнесли от колхоза кулек пряников в виде разных фигурок — коников, зайчиков, курочек, облитых чем-то белым и сладким, а внутри было варенье.

После выступления во второй бригаде сели в телегу. Я ела уже неохотно, но съела все до последнего пряника.

В третьей бригаде тоже выступили хорошо, после чего я упала лицом в сено и, не зная, куда меня везут на этот раз, заснула.

Это волшебное слово «фуэте»

В детстве меня окружала привычная жизнь довоенного села, и ничто, казалось бы, не доносило сведений об искусстве, разве что огромный черный репродуктор-«тарелка», который рассказывал нам о неведомых далях, где бурно и светло жили таланты, об их вдохновении, радостях, неудачах. Но и этого хватило, чтобы зашевелилось, задвигалось во мне что-то, что после стало призванием актрисы. Помню, как по радио передавали «длинную» музыку (так я называла тогда классические произведения). И уж не знаю, как это случилось, но музыка заставила меня почему-то накинуть на себя кусок марли и, глядя в зеркало, в одну точку, идти и идти вперед к нему. Музыка, медленное движение, собранный взгляд — и рыдания подступали к горлу. Впервые

почувствовала, что это какие-то особые рыдания: они доставляют радость. Незнакомое доселе, но сладкое чувство. Так во мне родилась и выплеснулась впервые моя потребность, необходимость быть актрисой. Мне было в ту пору лет одиннадцать-двенадцать.

Но вот наконец первая встреча с живым искусством. Людей, приезжающих на лето в наши края, теперь называют отдыхающими или «дикарями». А в те годы они именовались курортниками. Я прослышала о том, что курортники будут давать концерт. Примчалась и во все глаза глядела, как ладно они разложили помост и как ловко натянули занавес — получилась сцена. Начался концерт. Многое в нем было, видно, не по годам мне. И вдруг, постукивая мысочками пуантов, на сцену выплыло маленькое чудо! В балетной пачке с традиционным веночком на голове закружилась девочка моих лет. И снова музыка и движение откликнулись во мне тем же счастливым удушьем — хотелось разрыдаться. Я ощущала невесомость девочки, почти птичью ее устремленность к полету.

Начинающая балерина была, казалось, переполнена счастьем, не жила, а как бы благословляла все и вся своим неописуемо гармоничным телом, красотой каждого движения. Я и не думала, что мне суждено будет увидеть такое. И конечно же рассердилась, когда на сцену вышел «дядько», такой же белый, схватил девочку и стал размахивать ею, опрокидывать ее и ловить. Это было очень «непочтительно». Но ничто не могло затмить впечатления от музыкального полета белой птицы…

Артисты стали увязывать веревками свое имущество, погрузили его в автобус и уехали. «Вот оно, искусство!» — думала я. И запечалилась — от разлуки с ним.

Детство берет свое: скоро печаль сменилась страстным желанием немедленно создать себе одежду, подобную той, в которой танцевала юная балерина. Снова пошла в ход марля. Сшила я подобие пачки, надела ее и до сих пор помню щемящее чувство причастности к тому чарующему таинству балета.

Шло время. Маленькая балерина утратила реальность своего существования во мне — ушла в далекую зону памяти. Но осталась как зов в страну мечты, где и мне суждено будет жить. Уже в седьмом-восьмом классе я твердо знала, куда пойду после окончания школы. Знала, что это будет не балет, но балетная жизнь осталась для меня самой притягательной, придавала силы, звала к служению красоте.

В годы войны я встретилась с эвакуированными ленинградцами. Это тема особая, очень важная в моей жизни, но сейчас хочу выделить из нее только те новые потрясения, которые

связаны с балетом. Представьте себе большой старинный, дореволюционной постройки амбар с оконцами на уровне земли, так что казалось, будто он врос в землю. Худенькая женщина, покрикивая и прихлопывая в ладоши в такт отсутствующей музыке, стоит в кругу ленинградских мальчиков и девочек. Идут занятия «по классу балета». Я с другими любопытствующими, лежа на животе, гляжу в крохотное оконце, загипнотизированная зрелищем рождения чуда. Уже не приходит в голову сшить себе пачку, зато неудержимо хочется овладеть одним коленцем, которое худенькая женщина называет волшебным словом «фуэте». Фуэте отнимает у меня сон, я с трудом дожидаюсь начала занятий «по классу балета» и спешу к амбару. Ну где же оно, мое заветное фуэте? Я должна овладеть им! Изучаю суть быстрого кружения вокруг себя, переношу тяжесть тела на правую ногу, стараюсь подтолкнуть корпус вращением руки и повести вперед, балансируя. День и ночь пыталась освоить фуэте. И выучила-таки! Разумеется, говорю об этом с юмором, поскольку речь идет о моих тайных балетных упражнениях.

Но, думая о большом балете, о его роли в моей жизни и жизни окружающих меня людей, я испытываю чувство несказанного уважения и восхищения. Прежде всего трудом балетного артиста. Каждый раз, видя на сцене балет, я вспоминаю тот вросший в землю амбар, худенькую женщину и ленинградских блокадных детей вокруг нее. Я училась работать у них и всякий раз, когда возникает искушение отвлечься от домашних репетиций, упрекаю себя их преданностью своему искусству, труду ради этого искусства. Знаю, как много надо вложить, чтобы твое актерское деяние стало для других Зовом, таким, какой я испытала в детстве при встрече с маленькой балериной.

Ленинградцы

И все-таки был в моей жизни момент, когда я ненавидела свою маму. И ее подагру на левой ноге, и то, что она шибко много знает, и то, что она лучше всех. Все у нее лучше всех, а сама все брюхатая и брюхатая. А нянчила я! Почему я ее все-таки люблю? Ведь это совсем не обязательно. Ведь крикнула же в сердцах моя подружка своей матери: «Проститутка!» И кинула в нее тарелкой. Правда, мы тогда истинное значение этому слову еще не придавали: это была угождающая всем, вертлявая, крутящаяся, в нашем представлении как на шарнирах, бабенка.

— Проститутка! — крикнула и я матери в лицо.

— Хорошо, не нянчи. Жить поедешь к отцу.

Но я никуда не хотела ехать; я не знала, как живут без матерей. И чтоб меня не отправили к отцу, я, налив в бутылку козьего молока и положив хлеба в узелок, пошла по наказу мамы за шесть километров полоть картошку на нашей делянке. Раньше ходила туда как бы из одолжения — пожалуйста! Но сегодня, сегодня… Когда привозят ленинградцев — она опять отправляет меня, чтоб я ничего этого не видела. Дура! Ненавижу!

Утро… Как будто какое-то доброе существо кладет на твои плечи свои мягкие руки, и тебе так хорошо (правильно в Германии построена жизнь: подъем в три часа утра, а сон в восемь вечера). Вот если б все страны, думалось мне, не занимались бузой, не махали бы кулаками друг на друга, а делились бы своими лучшими делами и открытиями…

Иду. Кроме дикого чеснока, стрельчатого, как струна, ничего с собой не взяла. «Только моя мать, — все еще бурлю я, — такая злая и черствая, могла меня в этот день отправить полоть картошку. Я ее теперь любить не буду. Пускай любят другие братья и сестры!»

Полола картошку-американку, длинненькую такую, — она и сейчас на Кубани лучше всего растет. Кубань, она ведь, знаете, какая капризная на урожай на любой. То разгуляется, как девка в широких юбках с задранным подолом, то сгорбится, как старуха, пожухнет, и суховей тут как тут, протяжный и нудный, аккомпанирует горю-неурожаю, подсвистывает по-разбойничьи.

Время к обеду, уже половину прополола. Поела и легла отдохнуть, по примеру взрослых, чтобы урвать полчаса дремы. Лопухом закрыла лицо и «подложечку» — так делают все, когда сон валит на солнцепеке. Просыпаюсь одуревшая от сна и зноя, но с радостным чувством, что там, за шесть километров — приехали ленинградцы! Стала полоть дальше, чтобы скорее домой. Прополола хорошо, добросовестно, назло матери — пусть проедет завтра на своей бидарке по полям, царица чертова, посмотрит, как я умею работать. Допила воду, припрятанную в кустах, и пошла. Спина обгорела, болит, конечно, зараза.

Солнце уже садилось. Сполоснула ноги в ключевой воде, умылась. И в предчувствии чего-то очень хорошего снова в путь: кажется, там, впереди, счастье. Ленинградцы уже там!

Герку, козу нашу, уже подоил кто-то, мать лепит вареники, сестры и братья с нетерпением ждут ужина и мучают собаку — кидают кверху и ловят. В станице тихо, никаких следов ленинградцев. Поставила со стуком тяпку в угол в сенцах, чтобы обратить на себя внимание, и вошла в хату.

Вообще-то мне уже надо собирать вещи, чтобы ехать к отцу. Обращаюсь официально:

— Мам, когда мне ехать: с ночи или утром?

— Ты здоровая кобыла, доедешь хоть с ночи, хоть утром.

— Я спать хочу. — И улеглась на свой топчан, нарочно выставив зажаренную спину. Казанской сиротой притворилась, не претендуя даже на вареники, — блюдо во все века праздничное.

Проснулась оттого, что ночью залезла ко мне на топчан Талька (Наташка) и схватила за сожженную спину.

— Ой! — заорала я на всю хату.

— Ты чего там? — поднялась мама.

Тут уж я вовсю разрыдалась, собрав все свое мнимое и истинное горе в одно целое. Мама встала, зажгла лампу и подошла ко мне.

— Батюшки! Спина в пузырях… Придется подлечиться, а потом ехать. Лежи, сейчас намажу кислым молоком.

Я понемногу затихаю.

— А теперь вставай, ешь вареники.

— Я поем… — К чему я это сказала? Ох, и пошли же варенички хорошо!

Вдруг шум грузовика — и сразу стук в оконце,

— Петровна, едут!

Мама, наверное, ждала ленинградцев и, накинув шаль, вышла.

«Вот не пойду и даже не посмотрю на них», — решила я и тут же с тарелкой подскочила к окну, прикрутив фитиль в лампе, чтобы было видней. Машина крытая стоит, урчит, но никто из нее не выходит. Когда подошла мама, бригадир протянул ей бумажку. И после этого — прощай, ленинградцы! — грузовик с силой затарахтел и стал заворачивать от правления в сторону. Глядь, останавливается у Кравченковых — у калитки хозяева. Из грузовика выходит большая, грузная женщина с маленькой девочкой. Грузовик поехал дальше — к Сидоренковым, Гуляевым, потом куда-то мимо домов и скрылся в темноте.

Входит не торопясь мама, вешает шаль и, зная, что мы не спим, говорит:

— Ну и подзадержались, ничего себе.

— Мам, а к нам завезут? — спрашивает Талька.

— Да куда же! Нас вон сколько в такой хатке! Сейчас их покормят и уложат спать.

Приехали все-таки! «Жить и работать», как говорила мама, когда мы еще не были в ссоре.

Не могу уснуть. Ночь вобрала в себя таинство прибытия, поселения в наших местах не простых людей, а, наверное, совсем, совсем других, особенных, спасенных от голодной смерти. Мама говорила, что каждой семье, куда попали ленинградцы, дали

записки с указанием, как их надо кормить и чем. Те, у кого они будут жить до выздоровления, могут выписывать в колхозе молоко и пшеничную муку. Кукурузный хлеб ленинградцы еще не осилят.

Утром мама помазала мне спину еще раз и велела отнести Кравченковым козьего молока. Ну ни каплюшечки станица не изменилась, однако внутри что-то уже вырастает, действует… Нету их, приезжих, но они где-то здесь! С такими своими конями (Аничков мост) и с такими домами (что удавалось мне видеть на картинках) — и чуть не умерли! Это какая-то нелепица. О блокаде мы тогда еще не знали, мы думали, что их разбирают по селам, чтобы немцы не захватили. Это ж ленинградцы. Их разве можно немцам отдать?!

Вот ведь что интересно: школа, чьи-то устные рассказы, фильмы зрительно создают в нашем воображении то или иное явление. Или еще вот говорят, что человек когда-то уже жил на свете один раз и часто видит те места, где как бы жил в той, прошлой жизни… Какую-то улицу или город. Я всегда видела во сне Ленинград, знала его и отчетливо представляла, как родной город. Он занимал меня всем, даже своими наводнениями, за одно из которых я, прочитав отрывок из «Медного всадника», получила пятерку; манил меня своими музыкально звучащими, такими незнакомыми, но влекущими названиями, как Смольный, Васильевский остров… Помню, пела под гитару, сама себе аккомпанируя, в школе одну песню, где были такие слова:

Но вот войной нагрянула
Фашистская орда,
Он защищать отправился
Поля и города.

Однажды этот госпиталь
Полковник навестил,
«Откуда ты, отчаянный?» —
Он ласково спросил,

И с неподдельной гордостью
Ответил гармонист:
«С Васильевского острова,
С завода “Металлист”».

Песня длинная, жестокая, у меня мурашки по спине бегали от всего, что было в ней.

А «Аврора»! Да мы же гордились ею по-настоящему.

Смольный, Ленин, рабочий класс! Это было, конечно же, результатом патетических изысканий моей мамы в книгах и ее пересказов нам. До чего же мы любили город на Неве, который никогда не видели, и всё-всё о Ленине! Помню, в зале все плакали, когда я, еще совсем маленькая, пела одну песню, тоже длинную:

У кроватки мать рыдает,
Сын ее в бреду.
И лепечет ей малютка:
«Мама, я умру».

Дальше все подводится к тому, что мальчик

Видел черные знамена,
Видел Ильича.
«Видел я, как хоронили
Нашего вождя…»

Всегда в этом месте люди начинали вытирать слезы. Это было наше заветное семейное преклонение перед революцией, Лениным, Смольным. И вот оттуда, из того края, который мы так любили, привезли обессиленных людей. Они лежат теперь замученные, едва спасшиеся от голода. Да разве же мы их не подкормим? Не поднимем?!

Стучу с трепетом в хату к Кравченковым. Вообще-то я теперь удивляюсь, почему постучала тогда, ведь у нас не принято было стучать в дверь — сразу открывают и входят.

— Входи, Нонк…

Вхожу.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте! — отвечает бабка, которая уже давно не выходила на работу.

Поверх одеяла, опершись локтем на постель, лежала одетая девушка лет пятнадцати.

— Здрасте! — произнесла она и облизнула ярко-красные губы.

На лицо симпатичная и не особо чтоб худая, только вот синячки под глазами. Из-за спины выглядывал мальчик лет пяти, ко всему, видно, безразличный. Впечатление было такое, будто у него что-то болело внутри.

Что бы я не отдала, чтоб мне сказали: «Садись!»

— Вот я молочка козьего принесла…

— Спасибо! — Девушка еще раз улыбнулась, сверкнув белыми зубами, и обратилась к бабке: — Бабусь, че там, козье-то можно?

— Я неграмотная. Нонка, прочитай ты.

Беру бумажку, сажусь и читаю. Очень интересно: можно все маленькими дозами… не по часам, а по желанию… кроме кукурузных изделий, жирных продуктов.

— Вот интересно, — завлекаю девушку в разговор, — кто-то же составил!

— «Пшенка, пшенка, кому пшенка!» — со слабым смехом сказала девушка. — Мы были до войны в Одессе с мамой и папой, там все так кричали. Я любила «пшенку», а сейчас вот, видите, нельзя…

— Ничего. Когда поспеет молодая кукуруза, вы уже будете ее кушать. А этот мальчик твой брат?

— Нет, мой спутник… Спутник, представься, как тебя зовут.

Мальчик уткнулся головой в подушку и ничего не ответил.

— У него то имя, которое вы дадите. Петя? Он кивает головой. Саша? Тоже кивает. Ему кажется, что под этими именами подразумевается другой мальчик.

— А если скажешь «Люся»?

— Что вы! Он так начнет активно отрицать — то девочка!

— А вы не глотнете несколько глоточков молока?

— Глотну.

— Отстань! — остановила меня бабка. — Вставать не велено.

— Не велено? А я из ложки попоить могу.

— С удовольствием! Только налейте мне в чашку, я устала, извините, передохну. — И опять легла.

— У-у! — пальчиком показал малыш на кружку и, не отрываясь, стал пить.

— Ну хватит, — снисходительно сказала девушка.

Видно, она была знакома с последствиями вредной для отощавшего организма манеры набрасываться на все съестное. У мальца оторвали кружку, и он опять уткнулся лицом в подушку.

Я налила девушке молока в стакан, и она вдруг часто-часто задышала. Выпила половину, протянула остаток мне и уронила голову на подушку.

— Потом допью, спасибо.

Какая у нее челка… Густая, почти до бровей, это так красиво, ей очень идет. Наши же челку стригут до начала лба. Я теперь так же буду… А какой чемодан под кроватью, а пальтишко какое с мехом висит на гвозде! И юбочка на ней в складку, как на моей матросочке.

— Ну, я пошла! Бабушка, отнеси в погреб, потом при желании

можно еще немножко.

Тут только я заметила, как красивая густая челка и алые мокрые губы не соответствуют высохшим ногам-палочкам девушки.

— До свидания!

— Заходите.

— А как же! — сказала я и вышла.

Бедненькие… Сколько они попереживали! Мы их выходим. Мама же сказала: «Жить и работать». Мама есть мама — она всегда вперед смотрит.

Недолго хатки стояли молчаливыми. Скоро во дворах стали появляться табуретки, люди рассаживались, грелись, смотрели на горящую летнюю плиту. И мы, несколько девушек, объединившись, решали, как будет действовать наша комиссия по разносу еды.

— Не надо! — возражали хозяева. — У нас все есть.

Но они ведь не понимали, что нам не терпится со всеми познакомиться, и уж мало кто поймет, как южанину с Кубани приятно слышать твердую, звонкую русскую речь.

— А вы потихонечку носите, — предложила мама. — У нас в тридцать третьем году голод был такой же, люди пухли от него, замертво падали, мы их подбирали и откармливали чем можно, хоть водой с валерьянкой, там тоже питание. В аптеке брали для этих случаев.

Ну вот, началась наша «ленинградская жизнь». Я, правда, поначалу искала среди них мальчика, который до войны приезжал к нам с родителями отдыхать. Я добуду любовь! Мне в это время безумно хотелось любить. И уж где-где, как не среди ленинградцев, он ждет меня. Сейчас понимаю, как много разных иллюзий добавляла, создавала эта жажда любить. А я была убеждена, что если можно влюбиться, то только в этих, с челками и благодарными ответами, в рваных, но нездешних маечках, в людей, не ценящих своих достоинств, но умеющих слушать других. Они были так спокойно мудры, что этим самым доводили меня до влюбленности в каждого — будь то девочка, или мальчик, или женщина. Я обезумела от этой любви к ленинградцам. Какое замечательное совпадение — расти в семье, где всегда культивировалась помощь слабому, и в юности получить сразу такой «акропольский театр», где драматургия задана сразу, а исполнение ролей немудреное — помочь людям.

Они потом, когда пришли силы, как-то примолкли, разочаровались в чем-то. «Выздоровление началось», — объяснила мама. Да, первое жгучее осознание отсутствия дома — это верный признак начавшегося выздоровления.

Смотрю, ребята сетку между деревьями натягивают, шапку-ушанку вместо мячика подбрасывают — волейболят. И мы там сидим рядком, смотрим. Мама-царица с бидарки слезает и кидает им настоящий литой мячик. Наверно, в детском садике взяла. А он по размеру как головка новорожденного ребенка. Но это же лучше, чем шапка.

Ой, жизнь пошла! То волейбол, то разнос еды, то первое знакомство. А ведь нам хотелось знакомиться с мальчишками. У них на губах еще сухая корочка от болезней и недоедания, но они же наши, наши кавалеры. И мы будем их любить, пускай только одышка у них кончится…

Приехала мама из района и почему-то запретила волейбол, мячик забрала. «Капитан» команды почесал затылок и сел на землю.

— Ребята! — крикнула я, сдерживая слезы. — Давайте вечером соберемся и сказки будем рассказывать.

— А если сейчас? — спросил «капитан».

— Сейчас еще солнце не село.

— Ну и что? — с любопытством улыбнулся юноша.

— Но при солнце сказки не рассказывают.

Это был он!

Вечером мы уже сидели на краю канавы, тесно прижавшись друг к дружке. Принесены были рваные тряпки для ленинградцев, а сами мы прекрасно уместились на траве-спорыше. Это такая стелющаяся травка, которая растет везде: и под колесами паровоза, и на пешеходных дорожках, и под цистерной керосина.

А где же моя любовь? Так и будет по-маминому — стану выхаживать, дружить, жалеть, кормить… Не-ет, «капитан» отмененного волейбола лежал рядом и глядел на меня. Он, он моя любовь! Всех их загнали по хатам спать, а мы, свои, еще сидели, чтобы никто не подумал, будто бы из-за «капитанов» сидим тут…

Мама к отцу не отправляет и в поле окучивать картошку — тоже. Сидим в станице. Солнце вовсю жарит, и какая-то вокруг пустота. Вечером несу «капитану» гречневую кашу с молоком. Он делится с соседкой, живущей через сенцы. А!.. У них любовь.

На черта я им сдалась?! Разливаю кашу по мискам, как он велел, и со словами «до свиданьица» ухожу.

— Айн момент, — говорит он.

Подумаешь! У нас в школе тоже учили немецкий, мы знаем, что это такое…

— Слушаю вас, — сказала я.

Он вытолкал меня легонько в коридорчик и закрыл за собой едущую на колесике дверь. Мы остались за дверью в тесном

треугольничке коридора и молчали. Банка из-под каши мешала нам, он поставил ее на пол и положил голову на мое плечо.

— Я полюбил тебя.

— И я полюбила, — тороплюсь ответить я, чтоб, не дай бог, кто-то другой не успел захватить его.

Мы молчали. И это молчание было в моей жизни, наверное, самым счастливым. Но кто же мог тогда подумать, что Саша через полгода будет годным к строевой, что заберут его на войну вместе с нашими односельчанами? Да когда ж ты кончишься, проклятая война? У нас тут так тихо и так хорошо.

Уехали ребята, так больше мы никого из них не видели. Праздник был таким коротким.

…И вот спустя тридцать лет я выступаю в зале «Октябрьский» в Ленинграде. За кулисы приходит записка: «Нонночка, мы с женой приглашаем тебя домой вспомнить все. Поужинаем и отвезем тебя в гостиницу». Но я не позвонила по указанному телефону: тогда я была девочкой, а теперь тетка — полустаруха. Нет! Вы с женой вместе старились, вместе и любуйтесь друг другом, а я не покажу вам вблизи ни свое лицо, ни мысли, ни разочарование в чем-то своем, сугубо личном.

Некоторые из ленинградцев остались жить у нас навсегда. Интересно было слышать, как мать на чистом русском языке кричит дочери:

— Галя, Галя! Загоняй цыплят, коршун летит!

А Галя, заигравшись, отзывается издалека:

— Шо?

Дети стали абсолютно точно говорить по-кубански, лишь кое-какие вещицы так и остались им напоминанием о Ленинграде. У кого фибровый чемодан, у кого платье из креп-сатина или сумочка с цепью. Хорошо помню, как однажды мы с подружкой сняли цепь с ходиков и нацепили ее на сумку. Тогда же впервые я увидела муфту. Но главное, что мы взяли у ленинградцев, так это умение вязать кофту или юбку. Носки и варежки вязать мы могли, а вот кофты или юбки — это уже открытие.

Как только появилась первая возможность вернуться в Ленинград, они тут же бежали в свой северный край. Да неужто мы вас не ласкали, не любили?! Но все равно домой, домой, в родной Ленинград…

Дети и горе

Самое жгучее и тревожное чувство вызывали во мне дети до пяти лет, которые каким-то образом были не такие, как все их сверстники.

Были и теперь есть дети пугливые, послушные, застенчивые, голодные, оборванные. Они обычно молчат, общаться не желают, спросишь у такого о чем-нибудь, а он лишь головенку набок — и стоит этаким бычком. Бывало, в войну покажешь ему хлеба, он слюнку проглотит, а не берет. Бери! Молчит. Насильно возьмешь его ладошку, вложишь хлеб или кусочек сахару, пальчиками замкнешь, а он вдруг как разрыдается, да так горько, а угощение не разжимает. «Ухожу, ухожу, не плачь». Ухожу. Потом подгляжу: он повсхлипывает и потащит в рот даденое.

Разговор идет, конечно, о детях, которые растут в бедной семье. Это была моя слабость — дети-старички.

На всю жизнь запомнила выражение лица раненой девочки лет четырех. Летом 1943 года в Солдатской балке полицаи всю ночь расстреливали коммунистов и евреев, вернее, семьи коммунистов и евреев. И вот в ночи девочка, раненная в шею, отползла далеко от балки. Утром чья-то лошадь встала на дыбы, не желая ехать дальше, как ни хлестал ее хозяин. Почуяв неладное, он сошел с телеги и…

— Батюшки-светы!

Подошли несколько человек и видят: сидит на земле девочка-еврейка, склонив голову набок — волосы и платье так слиплись от крови, что сковали ее всю. Ни слезинки, ни звука, только глубокомысленный взгляд: дескать, вот какая я, что хотите, то и делайте. Это было по пути на УЗОС (до сих пор не знаю, что это означает), о котором и писать, и вспоминать страшно. Мы с мамой шли туда выменять какую-то барахлину на стакан муки. Да, много страданий приняли в те времена евреи и семьи коммунистов, но мне, как символ, запомнилась эта маленькая женщинка без капризов, хотя лет-то было ей не более пяти…

И сейчас, когда я вижу в хронике детишек, которых достают из убежищ солдаты, их худые, изможденные личики, познавшие страдания и первую радость вызволения, я вспоминаю взгляд той девочки.

Когда наш колхоз «получил» больных детей, часть их мы лечили сами дома, а умирающих отправляли через кладку в Отрадную. Там установили суточное дежурство от каждой семьи. Настала и моя очередь. Вхожу в палату. Кислый запах, солнце. Лежат они, мои молчуны обреченные. Кое-кто следит за мной, но пищу не принимают: только «пить», «пить» — это было главным желанием. Один мальчик уже умирал и зубками так скрипел, как будто грыз сахар, жевал и хрустел. А глазки закатились, брови домиком, лоб морщинистый, как у старика. Ритмично качал головой вправо, влево, вправо, влево. Все тельце, вытянутое плетью, уже не участвовало в жизни. Чайной ложкой вливала в

рот воды то одному, то другому. Наступила тишина — зубы уже не скрипели. Я оглянулась на умирающего мальчика — он затих навсегда. Немцы в своем лазарете лишь для проформы выделили палату для больных детей: ведь они не дали им ни единой капельки лекарства.

Мой самый младший брат Вася родился в 1945 году. Он был как раз из таких детей-молчунов, рахитиков, землистого цвета. Мама уходила на работу и на добычу еды, дети в школе. А он, совсем маленький, садился на подоконник и ждал, когда ему в форточку на веревочке кто-нибудь чего-нибудь спустит. Вася до самого призыва в армию все никак не мог наесться: нальешь ему тарелку, он съест, вторую не хочет, но по привычке косится: а есть ли еще? Вот такие дети нам душу пронзили, и мы потом своим детям совали все и вся, как тем, некормленым и худым.

Мы всё умели: и работать, и дружить, и песни петь, и делиться последним, и понимать горе людское — все это было при нас, а вот одно — голод и беднота — осталось в памяти тверже всего. Помню я и голод тридцать третьего года.

Бегали мы по лужайкам да лазили по чужим садам, хоть и сорвать было нечего, потому что цвет только что опал, и все искали, что бы съесть. При любых временах и в любых местах обязательно находился домина молчаливый, закрытый, богатый. Жильцы в нем от людей прятались, а с черного хода на крыльцо кухарка время от времени ставила в тазу пищевые отходы нарасхват детям. Маленькие налетали, рылись, девочки, задрав юбочки, накладывали туда еды.

Те ж, кому к семи-десяти годам, не подбегают к такому тазу — неловко. И вот однажды мы играли в лапту, а кастрюля с недоеденным борщом тут как тут на крылечке. Мы остановились, перестали играть. Сочетание острого желания съесть суп и стыда от этого желания было невыносимо. Вдруг от забора отделяется белобрысый мальчик с чуть поднятой гордо головой. Он подходит к кастрюле, открывает крышку, серьезно смотрит на содержимое. Левая рука на талии, в правой — крышка. Не съесть борщ он не мог, тем более ложка внутри уже стояла. Рывком присев, он приладил кастрюлю себе на колени. Ну чего тут особенного! Сначала надо ложкой — вот так, вот так. Брови деловито сдвинуты. Ложкой заканчиваю вот так и еще вот как. Он ел, не наклоняясь к кастрюле, хлебал назидательно: чего, дескать, тут такого? Чего испугались? Теперь вот кость огрызу. Он с треском накрыл кастрюлю крышкой, отер тыльной стороной ладони рот и зашагал к забору. Вот, мол, как надо побеждать трудности! Кто его, кроху, учил человеческой гордости? Не подыхать же с голоду, не быть таким водянистым пузырем, как вон те люди, что

валяются под заборами.

Я еще маленькой была тогда, но помню, как люди вздувались, словно наливались водой. Шли, едва перебирая ногами, в поисках лебеды или крапивы. Глаза — щелки. А бывало, не выдерживали и падали. Помнится мне, как и я упала от голода однажды. «Ой, что это я? Завалилась, что ли? Отвернитесь, не смотрите, я сейчас встану», — думала я, лежа на земле, но сил подняться не было.

Представляю, как некоторые режиссеры могут вполне бесстрастно изобразить такую сцену. Я, к сожалению, не такая. Попав в больницу, стонала, плакала от боли, да так, что надоела, наверное, всем.

Вот, к примеру, Г. Н. Чухрай был десантником и при первом ранении попал в госпиталь. Стонал в ожидании помощи, и вдруг один солдат, уже в летах, говорит:

— Ты чего стонешь?

— Боль-но.

— Нам тут всем больно, — внушительно сказал солдат.

Григорий Наумович прислушался к тишине палаты, переполненной ранеными, и «заткнулся» навсегда. Сколько было потом ранений — никаких капризов!

Вот что он рассказывал нам еще о войне на съемках фильма «Трясина».

— К примеру, приближаешься к немецкому госпиталю, слышишь стоны на все лады, а к русскому — мертвая тишина. Не стонал русский боец, даже и не заведено было… Ну, на операциях были животные крики, где без наркоза, где всего лишь стаканом водки утоляли боль при отпиливании конечностей…

Дети тоже как лакмусовая бумага: если попадают в эту область горя, где нет ни возраста, ни привилегий, ни эгоизма, ни капризов, повторяют нас и в величии, и в падении.

Война и жизнь

Главное — это смирение с временным недоразумением явления чужеземцев. «Ну когда их долой? Когда?» — иначе и не рассуждаешь.

Что меня порой возмущает, так это как показывают в фильмах жизнь людей во время войны. Слишком велика ей, этой войне, честь, чтобы жить ею. Отчетливо помню, как, конечно, страшно было, когда вешали у нас в станице Шуру Князеву, Надю Сильченко. Страшно, когда летит бомба и ты знаешь, что, если она издает шум «хар-хар» — как лопухи от ветра, — значит, взорвется где-то совсем близко, а если просто свистит, то пролетит мимо. Страшно, когда вызывают по повестке кого-то в

немецкую комендатуру…

Остальное — это идет не наша жизнь. А мы одеялами закрываем окна, на стол — лампу, в руки — гитару. Кукурузная каша. Какой-нибудь отставший от своих в неразберихе отступления и скрывающийся от немцев солдатик рядом. Это уже наша — никем не истребимая — жизнь… Где ты теперь, летчик Боря, тот паренек, который, разухарившись, захотел с моими старшими подругами пойти на танцы в церковь? (Немцы во время оккупации устроили там место отдыха для себя и для населения.) Пока эсэсовцев нет — нечего бояться. Немецкие солдаты и соли нам давали, и хлеба. И когда выгоняли на дорогу работать, то говорили: маленькая машинка едет — работайте, там офицер, а если большая — не работайте, отдыхайте.

Губные гармошки их нам казались чем-то несовершенным и куцым, мы их никогда не полюбили бы. Разве можно музыкальное явление переложить на пишущую машинку?! Ну, черт с ними, пускай скрипят. Однако когда, наработавшись, мы садились, стар и млад, песни петь, куда там той немецкой губной!.. Они слушали вежливо, но не восхищаясь. Слов не знали, а потому чужая мелодия была для них, что для нас их «губгармоха».

Нет такой силы, чтоб могла разрушить тягу общения одних людей с другими. Даже если это «хлопчики» из СС. В коричневых кожаных шортах, с толстыми ремнями на голом торсе — жарко. На мотоциклах они налетели, как смерч, приехали к реке искупаться. А мы, девочки и девушки, гуртом сидящие на берегу, замерли: ведь это же СС! Они скинули ремни с оружием, побросали амуницию на мотоциклы — и в воду. Плещутся, охают, наслаждаются. И надо же было мне скосить взгляд на них!.. Зачем, ну зачем?.. Заметила я одного парня, такого красивого, с атлетической фигурой, и залюбовалась им невольно. Он кинулся в речку снова, в улыбке блеснули белые зубы, от капелек воды и от солнца он сузил свои пронзительные голубые глаза. Где ж твоя мама, отец, любимая девушка? Разве тебе надо пугать людей, бить их, вешать, жечь? Вызывать к себе ненависть? Тебя любить надо. Сильно. А хоть бы ты был не эсэсовец, а солдат — все равно нельзя. Чужой — со сватами не придут от тебя.

Мы замерли, боялись пошевелиться. У них, видно, было считаное время, они вмиг оделись и снова затарахтели мотоциклами. А у голубоглазого и ремень свис шикарно от тяжести пистолета — вбок, и спина загорелая, с мускулами и едва видным рядком позвонков на шее…

— Ну, тронули, — со вздохом шепнула старуха с коромыслом, — слава тебе господи, пронесло…

Народ во все века приспосабливался только для жизни, пока

не начнут расстреливать или вешать. И пока пуля не полетела в лоб, человек еще надеется, считает все каким-то недоразумением, и каждая секунда для него — огромное время для чуда: кто-то поймет всю бессмысленность происходящего и прекратит это…

Но вернусь к тому, как сбитый летчик Боря жил у нас два дня и как ужасно хотелось ему пойти с нами на танцы в церковь. Всё нашли: и рубашку, и брюки. А на ноги — нечего. В сапогах нельзя — сразу попадет под подозрение. И вот, помню, взяли мои сандалии, отпороли лямки, задники подмяли, и он влез в них, благо брюки в полоску были длинные и дефект сей скрыли. Я согласилась сопроводить Борю. Он так обрадовался, увидев по скамеечкам девушек постарше меня, что сразу же одну пригласил танцевать. Потом другую. Что за влюбчивый дурной характер был у меня? Чуть что, я уже создаю образ, добавляю к нему, потом ревную, восхищаюсь — и пошло! Возраст, правда, ставит все на свое место.

Я бы уже и ушла, но страшно возвращаться вечером одной. И тут Боря, как будто напившись из долгожданного водопада, направляется ко мне.

— Пойдем, Нонночка, пора…

Я с удовольствием успела «косяка дать» всем девушкам, чтобы поняли: мое, а не ваше. Он сбросил мои сандалии, взял их в руки и сказал:

— Кому расскажешь, не поверят. Я так старался.

— У тебя хорошо получалось.

— Иди ко мне!

Он взял меня на руки и понес. Зачем — не знали мы. Нес себе — и всё.

Когда возле хаты я скользнула по его большому телу и встала на землю, он, пальцем надавив на мой нос, сказал:

— Прощай, собственница. Будешь, может быть, когда-нибудь в Ленинграде, заходи, если останусь жив: канал Грибоедова, дом один, квартира шесть. А сейчас буду двигаться, ночами лучше.

Я опрокинула из котелка вареную кашу, завязала в тряпочку и дала ему на дорогу. Когда он выходил, то уже в проеме дверей будто растворился, силуэт его состоял, казалось, из дыма.

В фильмах о войне демонстрируют только таинственность страха, ожидание смерти. Черта с два! Будет вам человек унижаться в оккупации. Он найдет прибежище и для веселья, и для любви, и для еды, и для свидания с партизанами.

Когда немцы хотели забрать колхозного племенного красавца коня, получившего на сельхозвыставке до войны золотую медаль, конь бесследно исчез. Немцы искали его всюду и не нашли. А конь стоял в хате, между кроватью со вздыбленными подушками

и хрупкими украшениями на комоде, лишь кошка-копилка, мерзкая такая, разбилась. Потом конь вел себя тихо: он тоже не дурак, чуял переплетение волн врагов и своих друзей. Хутор помнит до сих пор, как предатель из полиции донес и сказочного красавца все-таки увели. Он шел нехотя, мотая головой, как будто все отлично понимал, и ржал, чего раньше с ним не было никогда.

Зачем деликатничать? Предателя «окунули» — вставили головой в общественный сортир.

…В бывших концлагерях до блеска стерты стены спинами людей. Здесь они сидели, любуясь закатом, а вот здесь изготавливали всяческие поделки: кто вязал, кто вышивал. Мужчины плели из хвороста, меняли плетенки на кусочек хлеба. Они жили, а главное — боролись, не охали. А ну-ка проохай четыре года! В фильмах наших частенько заранее дергается какая-то жалобная струна. И в этом ошибка. Трагичнее прощаться с теми, кто мужественно жил и боролся всеми силами. Даже если твоя сила заключается только в том, что ты принес от партизан свежие газеты и распространил их среди своих людей. Новости нужны были тогда как воздух, а вернее, не новости, а знание истинного положения на фронтах. В нашем колхозе «Первомайский» тоже были свои молодогвардейцы…

Люди не виноваты в том, что сильные мира сего не поделили чего-то и затеяли войну. И вот уже бомбят, и вот уже первые трупы пограничников, и пожары, и ужас от незнания происходящего. Дальше человеку свойственно осознать свое положение, взять себя в руки и делать дело. Откуда ни возьмись появляются на конях и секретари райкома, и их подчиненные, уже пошли наказы, приказы, мобилизация сил, организация партизанского отряда…

Вспоминаю, как немцы входили в Отрадную. Шли они днем по шоссе — двигались к перевалу Северного Кавказа. Улицы пустынны, все наблюдали за ними в щели домов и заборов. Цок-цок — копытца ишачков. А немец то сядет на ослика, то ногами пойдет, оставаясь верхом. Мы были уверены, что они пройдут через нашу станицу — и всё, больше не будет их. Кто-то что-то должен же сделать, чтобы прогнать немцев. Повернешь голову, посмотришь за село, а там как ни в чем не бывало стадо пасется, солнце садится, все те же трава и небо. Там их нет, они только на шоссе. Если какой немец сворачивает напиться из колодца, то внутренне возмущаешься: «Ну куда ты идешь? Тебе по шоссе, так и иди… А сворачивать нельзя!»

Цокали ишачки целый день. Как село солнце, немцы сразу по хатам и сараям стали на ночь расселяться. «Мама! Млеко, мёди!»

— слышались их приказы. Деловое устройство каждой персоны проявлялось четко. Звякали крышки от кастрюль и чугунков, немцы раздевались, поливали друг друга с головы до ног. Жарко. Рассаживались за столы. Доставали что-то из рюкзаков, что-то с печки брали. Усталые. С местным населением не общаются совсем, как будто это мухи, летающие в жару.

Выпивать стали, есть с аппетитом. Потом поменялись: одни пошли за ворота курить, другие засели за стол… Говор, шум, губные гармошки. Сняли пояса, отдыхают. Видно — идут не один день.

Я уже привыкла к тому, что улица пуста, все сторонятся, прячутся. И на тебе! Дед наш отрадненский, который славился сочинением юморных частушек, подходит вдруг прямо к одному немцу, что сидит на краю канавы.

— Здравствуйте! — говорит дед.

— Гут, гут. Зитцен зи, битте. — Не глядя на деда, немец показал пальцем на противоположную сторону канавы.

— Да нет! Я не затем… Я смотрю, вы вот, черти, откуда перлись к нам за табаком? А его нету — никс! — Хлопнув ладонями по бедрам, дед пошел домой.

Сценку эту он разыграл потому, что не мог жить без того, чтобы чего-нибудь не отчебучить. Он ничего не боялся. Жил одиноко в маленькой хатке на главной улице — Красной, на которой и расположились на отдых оккупанты. Но и ему все же потом пришлось впервые, наверное, за всю жизнь промолчать после одного случая.

Как-то вечером немцы купали лошадей. И одна неосторожно брыкнулась в воде, стукнула немца копытом по голове, и он тут же скончался. Немцы заквохтали в беспокойстве, вытащили убитого и похоронили его тут же, прямо на улице Красной, у дедова забора, а на могилу положили каску. К тому времени уже откуда-то выпрыснули русские «помощники» и перевели населению с немецкого то, что крикнул один вражина в конце похорон: «Если каска пропадет, то расстреляют всех, кто здесь живет». И полицай рукой обвел полукруг.

Тут деду не до шуток, стал он каску стеречь да на ночь прятать ее в доме, а рано утром клал ее обратно на могилу. Многие знали об этом и перешептывались, если перед рассветом каски еще не было на месте…

Как тает жар в костре, оседая и исчезая, так и первый вечер оккупации пожух. Часовые молчали, да и мы затихли, общались шепотом, жестами, мимикой. Кузменчиха пришла с ведром к колодцу и осмелилась зайти к нам. Скучковались человек шесть-семь, все сидели на полу. К нам никого не подселили — хатка

мала, а детей куча. Кузменчиха села на опрокинутое ведро и полезла в карман за вязанием. Свет не зажигали, в полной темноте она продолжала вязать, и я заснула крепким сном под тихое звяканье спиц. К рассвету носки были готовы, она бросила их мне на лицо, чтобы я проснулась и обрадовалась подарку.

И снова ишачки зацокали копытцами. Немцы, оказывается, еще до света собрались и погрузились. В станицу входили уже другие части, опять полилась рекой вражья армия на чудном транспорте.

Вечером видим, как немцы с котелками пошли встречать стадо. Каждая корова привыкла, войдя в станицу, идти без пастуха сразу к себе в калитку. Немцы выбирали «по вкусу» коровье вымя и сопровождали коров. Как хозяйка подоит, они жестом просили налить себе в котелки. К моей подружке Ольге Макаренко корова пришла без немца. Мать скоренько загнала корову за сарай и стала поспешно доить… «Пу-ук», — услышала она, обернулась, а за спиной сидит немец на бревне и смеется: «Генуг, мама, данке шён». Мать продолжала доить. Потом она налила ему в котелок и сказала сердито:

— Ника́ я тебе не мама. Сыны мои воюют в Красной Армии, пердун проклятый! — плюнула в землю и пошла в хату.

— Тетя Маруся! — стуча кнутом по калитке, прокричал наездник. — Всем к церкви, на сходку.

— На схо-одку-у! У памятника, — кричал он дальше, стуча в каждую калитку.

Сердце екнуло. Так вроде бы наладилось: ишачки, котелки для молока, немцы ходят, не замечая тебя. Что это за незнакомое слово «сходка»? И когда это, интересно, Гришка успел таким громким и деловым стать?

— Мам, он же комсомолец…

— Зато отец его и дед бывшие кулаки. Сходите потихоньку, узнайте, что там в парке делается.

Мы с Ольгой и пошли.

Видим такую картину: старики в мятых зипунах с Георгиевскими крестами накинули несколько петель на скульптуру Ленина, которая стояла в самом центре парка. Тянули, тянули и дотянулись. Скульптура упала и разбилась. Тут же были заготовлены доски, и деды с двумя парнями стали городить трибуну. Крутился тут же и командовал ими лысый дядько в форме немецкого офицера: «Вот так… Вот здесь повыше».

— Из наших, — шепчет Ольга.

— Ага, из ваших, — язвит Васька Зубков.

— Ну русский же…

Красив парк при закате солнца. Тем более это даже не парк, а отгороженная и окультуренная часть леса.

— Смелее, смелее, граждане! — крикнул опять лысый. Он уже орал, стоя на трибуне, держась за свежие доски-перила. Лицо у него было желто-синее. Он был чем-то замучен, наверно, долгонько под полом дома просидел.

«Граждане» не сразу исполнили его призыв. И лишь когда к тыльной части трибуны подъехала машина с грозного вида подтянутыми немцами, люди, переступая через белые камни, более-менее организовали митинговую композицию.

— Граждане! — крикнул «наш» еще увереннее, когда с обеих сторон его встали блистательные офицеры в зеленоватой форме. — Мы освободили вас от жидовского большевистского ига! Ваши закрома вновь наполнятся хлебом. Вы свободны и жить будете свободно. Открывайте частные предприятия, артели, лавочки. Мы напишем Ёське Сталину, как вы тут новую жизнь начинаете. Колхозы пока будут, — им невыгодно было распускать колхозы, поскольку брать с общественного места удобнее, — но называться они станут по-другому. К примеру, «Первомайский» — колхоз № 1, «Путь Ильича» — колхоз № 2 и так далее.

Что-то он еще говорил о новой жизни, о ежедневной прессе, об энтузиазме на работе и приступил к самому главному:

— А теперь, граждане, вносите предложения. Предлагайте всё, что вам заблагорассудится, вы теперь вольные люди. Да здравствует свободная Кубань!

Пауза. Долгая, тяжкая. Переглядываются удивленно и несмело.

— Ну же! Смелее!

Вдруг дед наш поднимает свою огромную мозолистую лапу. Все съежились, знают: что-то опять отмочит…

— Товарищ капитан, — начал дед.

— Во-первых, не товарищ, а гражданин, — товарищи сейчас на арбузных корках переплывают Каспий. Во-вторых, не капитан, а комендант.

Дед почесал затылок.

— Во-от… Значит, умею я валенки катать. Можно катать и дальше?

— Ну катайте, кто вам не дает. Граждане, не будьте так легкомысленны!

— Гражданин комендант, — тряхнула игриво копной кудрявых волос женщина лет сорока, — вот я раньше работала в швейпроме, у меня четверо детей, куда мне сейчас деваться?

— В колхоз! Пока, граждане, — в колхоз. Реконструкция

будет идти, но не так быстро.

Он стал нервничать, видя, что офицерам не терпится закончить.

— А теперь, граждане, мы с вами должны выбрать начальника полиции. Это самое главное. Назовите такую кандидатуру, которую бы партизаны боялись как огня. Как огня, поняли?

— Славку Кувшинова! — завизжала одна старуха. — Он при наших в милиции работал, ему это дело знакомое.

Чуть концы не отдала бабка: никогда она так не кричала, да еще такое. Стала красная, как свекла, и, тяжело задышав, со словами «Господи, прости» попятилась задом в людскую гущу.

— Да ты че? — шепнула ей какая-то тетка. — Славка в партизанах…

— Что, трудно? Да, это задача непростая, — сказал комендант. — Зная это, мы привезли вам надежного человека.

Немец дал сигнал, и из машины не спеша вылез здоровенный толстый мужик в советской солдатской одежде. Он, щурясь, как бы закрываясь от происходящего, недовольно произнес:

— Козлихин я, Иван Харлампиевич. Я ваш голова. Находиться я буду з рыбятами у школи. Там и работать будемо. Штаб по построению новой жизни будыть там. Я сказал всё.

Наша семья сразу же перебралась через Уруп в хутор Труболёт. Опять потекла жизнь, никуда не денешься — на работу как штык каждый день. Со скошенной кукурузы надо было отрывать початки и кидать по кучам, потом лущить ее. Женщины поговаривали только на одну тему — когда наши придут и обо всем, что связано с этим.

Якобы какой-то пленный где-то шел и сказал, что наши войска подходят к Невинке (сейчас город Невинномысск). С той стороны и било все время. Иногда так ударит, что улыбки у всех вызывало: «Давайте, ребята, пошибче!» Немцы сюда почти не заглядывали — кладка опасно качается, неремонтированная. Однажды все-таки один немец полез на четвереньках, велосипед на спину привязал. Лез, лез да и упал и разбился насмерть.

Нашей семье было особенно трудно: мама — член партии, отец — инвалид войны, на костылях. Каждый раз надо было прятать его. И какой же он был раздосадованный — нахлебник, заработать не может. Впрочем, и все работали бесплатно.

Мы, девушки, собирались в хате, где не стояли немцы, плели кошелочки из кукурузных листьев. Парубки приходили к нам, некоторые, постарше, лет по шестнадцать, дружбу предлагали, целовались в сенях. Это называлось «пойти на улицу». И хоть зимой это была хата, а не улица, все равно так говорили. Плели

какую-то повитель переглядок, детских ухаживаний. Жарко горела печка, варилась каша, жарились семечки. Подневольность изрядно ощущалась: немцы обозлились после первых двух схваток с партизанами.

И вот однажды приходит к нам в хату бывший председатель колхоза коммунист Мыцик.

— Петровна, немцы скоро начнут отступать, может через месяц, может через два. Надо будет вашей семье перебраться на стан. Вокруг степь, на семь километров ни души. Тут становится опасно и за тебя, и за детей. Дело в том, что полицаи рылись в райкоме, смотрели бумаги и составили список, чтобы расстрелять всех коммунистов. Надо вам туда. Будете там за сторожей. Отца прячьте в случае чего, а тебя с детьми не тронут.

И тут мама впервые заплакала. Как жить в летнем стане, в хатке, не приспособленной для зимовки? На холме, на ветрах… А зимы на Кубани лютые.

— Мы поможем перебраться и с харчами тоже.

На следующий день стали тихонько собираться. В хате сидел одинокий дяденька — молоковоз, который всю свою жизнь возил молоко на сдачу государству в Отрадную. Мудрый был, плел безобидные остроты вроде такой: «Удивительно — Мария Димитровна чай пьет, а пузо холодное…»

Он молча наблюдал, наблюдал — знал, что едем как в ссылку, — не вытерпел и сказал:

— А как же Нонка? Ей же на вулицу надо!

— Успеет еще! — буркнула мама.

Легли мы в бричку, чтоб ветер не обледенял тело. Ездовой, хоть и в овчинном тулупе, тоже бочком сидит, сильно согнувшись.

А кони ничего, идут, в гору, правда, тяжеловато, а на холоде и ветру все же легче двигаться…

Стали мы жить на стане. Спичек не было, и мы варили трут — вату с подсолнечной золой. Потом этот трут хорошо сушили и маленькую щепотку накладывали на краешек прозрачного крепкого камня, похожего на мрамор, и уже по нему били «крысалом» — стальным брусочком. От искр трут начинал тлеть, а уж раздуть, довести дело до огонька нетрудно.

Однажды трут отсырел, огня ни в какую не добыть. Пришлось идти на Рысоконскую дорогу, это семь километров по степи. По той дороге двигались разные люди — немцы и наши. Ничего не стоит перенести комочек жара на любое расстояние, если взять побольше кусок ваты или тряпки и замотать как можно туже. Прибежала я с криком «Скорей!», бросила остаток тлеющей ваты, которую уже стала катать из одной ладони в другую. Как к

гремучей змее, мама подошла к ней, ловко подчерпнула ножом жаринку — и в вату из старого одеяла. Всё! Живой…

Словом, опять прижились. Стали появляться у нас одинокие люди. Зайдут, с жадностью расспрашивают. Мы, правда, научились отличать своего от чужого, то есть дезертира. Забрел к нам как-то и румын с отмороженным ухом — оно уже было как мясо, капающее кровью. Мама оказала румыну помощь, посадила есть. Он ел жадно.

— Румыния, — сказал он, — спасибо. Гитлер — плохо, Сталин — плохо, война — плохо, — и улыбнулся устало.

— Оставайся до утра! — Мама жестом показала на кучу сена и тряпки на ней.

— Но, но! — Он медленно встал и, изобразив автомат, показал, как «пух, пух» всю семью. — Зпасибо! — И ушел в нашей старой ушанке, в которой поместилась повязка.

Топили печь круглосуточно. Когда ветер стихал, я одевалась потеплее и отправлялась за топливом. У нас были бочка на колесах и конь неказистый — запрягали коня, скатывали бочку наземь, получалась повозка, и я ехала срезать стоявшие в снегу черные стебли подсолнухов, сухие-пресухие, которыми и топили. А когда надо, мы с мамой закатывали бочку на повозку и я ехала за водой.

На огромной территории колхоза было девяносто траншей картошки, засыпанных снегом, три амбара с зерном и с семечками. Я была добытчицей и картошки, и топлива, и воды. Однажды под Новый год я собирала подсолнухи… босиком. Запомнила этот день потому, что вдруг ни с того ни с сего теплынь, как летом, участки земли между льдинками стали теплыми, как одеяло. Кубань она и есть Кубань. Она во все века выкидывала номера по части погоды.

Как я вдыхала в тот день небо и землю, так близко к сердцу воспринимались эти запахи! Я чувствовала, хоть еще зима, а уже клубки запахов весны ощущаются. Земля… Крестьянин любит принюхиваться к ней: не наклоняясь, не беря ее в руки, а как-то повернет слегка голову, выберет нужную позицию, «поймает» струю запаха от земли и дышит ею, будто лечится от какой-то болезни. Стоит он, прикрыв глаза, как бабка среди цветущих яблонь. Она чувствует этот прекрасный запах, но не выдает себя. Хорошо! Дышит и молчит. А пока что зима только-только начинает трогаться с места, я лишь ловлю весенние прожилки…

Привожу подсолнухи. Вдруг выходят из хаты двое незнакомых мужчин, один лет сорока, другому еще нет тридцати. В окошке вижу мамино улыбающееся лицо: значит, друзья. Мигом они перетащили мою поклажу в хату. Я стала топить, а они

засели за стол и что-то решают с родителями. Вдруг тот, кто постарше, говорит о чем-то маме тихо, чтоб я не слышала. Интересно, кто они? А этот, молодой, на Щорса похож. Белый полушубок, такая же кубанка. Мама подсаживается ко мне и, глядя на огонь, говорит:

— Доченька, надо в Отрадную сходить и незаметненько пробраться к Ольге Макаренко. Зачем? Просто оглядеться, послушать, что говорят люди.

И я пошла. Люди ходили на базар в нашу станицу менять вещи на соль, на продукты, так что ничего страшного, если я там появлюсь. Только стала спускаться, как передо мной открылась такая красота — войны не видно никакой! Вдали Отрадная, из труб идет дым, на Урупе бабы воду берут, подхватывают на коромысла ведра и вдут домой. Солнце светит ослепительно. Стала я спокойно спускаться — здесь нет никакой опасности, — как вдруг из-за холма выныривает самолет-рама, да так низко, что я вижу лица летчиков. Прислонилась спиной к глиняной стене, а они вокруг меня сделали два игривых круга. Как просто могли они выпустить очередь из пулемета, да, видно, и собирались. А может, мне так показалось. Рама повернула на Отрадную и скрылась.

Вот это да! Меня охватил невероятный страх, а потом я чуть не заплакала оттого, что тот, в белом полушубке, не видел моих мук. Дальше все пошло благополучно. Кладку — бегом: это был особый шик перед сельчанами, когда ты по кладке не идешь, скукожившись, а бежишь.

В станице шумно. И как мы тут могли жить? Но шумно как-то не в меру. Оглядываюсь и вижу, что попала к концу какого-то страшного события. Захожу к Ольге, мать ее недовольно отвечает:

— Шалается где-то, наверное у Нинки Верченко.

Я туда.

— Девочки, в чем дело? — спрашиваю их.

— Ой, чего было, чего было! Партизан вешали. Шурку Князеву и Надьку Сильченко. На голое тело — газовые накидушки, на грудь повесили таблички: «Партизан». Шура, та молчком, а Надька так плакала, так плакала! Иди, если хочешь, посмотри, до завтра будут висеть…

И вообще басни о «хороших» немцах кончились. Это до особого распоряжения Гитлер лояльничал с Кубанью: надеялся на бывших кулаков, думал, они погоду будут делать. Ну и что?!.

— Да, девки некоторые гуляют с немцами, человек шесть в ихнюю армию ушли, но тут партизаны так начали шуровать, что мы уже боимся на базар ходить, — рассказывали мне подружки. — Всё облавы, облавы. Стали ночью многих

арестовывать. В Солдатской балке народу много перестреляли.

— А кто стрелял?

— Кто? Не немцы же! Им надо воевать. Стреляли наши, русские! — чуть не крикнула Ольга. Лицо ее исказилось, она подавилась горькими слезами.

— Предатели, — пояснила Нина Верченко. — У вас там тихо?.. Ну да, они кладки боятся…

— У нас пусто, но не тихо. — И, спохватившись, съев предложенный чурек, сказала: — Пойду домой, надо до ночи дойти.

Шла, шла я себе, а тут уже и туман спустился. Наткнулась на родник с давно потрескавшимися цементными боками. Красной масляной краской там было выведено слово «КИМ». Кто это сделал и когда, я не знала. Вот послышался отдаленный лай Звонка, нашей главной собаки. «Звонок! Звонок!» — кричала я и без труда шла на его лай. Всего собак у нас было штук тридцать, они жили под скирдами, ловили мышей, плодились и строго подчинялись Звонку. Я уже перестала подавать голос, когда черная стая собак кинулась ко мне. Звонок лизнул меня первый. Я пошла с ними как под прикрытием. Этот-то, Щорс, еще у нас? А, все равно! Неужели ушли? Куда там! И дверь открыл, и, накинув крючок, стал греть мне руки.

— Да вы чего? Мне жарко…

Разделась, села.

— Ох, устала!

Щорс суетился насчет каши и чая.

— А вот видишь?

— Что?

— Соль! Здесь полтора килограмма! — сказал он.

— Соль?! Вот это да!

Тот, что постарше, сидел у печки и, подкладывая в огонь шляпки подсолнуха, внимательно слушал мой рассказ. Я чувствовала, что он для них как глоток воздуха. Рассказала все подробно.

— Остынет, ешь, — напомнил Щорс.

— Неужели? — глянула я на него с укором: дай, мол, все выложить, тогда и поем.

Когда замолкла, старший тихо произнес:

— Шура Князева — это моя дочь.

— Товарищ Князев — заместитель начальника партизанского отряда, а товарищ Александров — начальник партизанского отряда взамен убитого Дементьева, — пояснила мне мама.

Мы надолго замолчали.

Была уже глубокая ночь, когда Александров мне предложил:

— Хотите, я вас поучу стрелять из пистолета?

— Ой, хочу, конечно!

Не поймешь этой войны: где люди прячутся разумно, а где в темноте, хоть глаз коли, выходят на волю и начинают вовсю стрелять. Но как знать, кто стреляет в степи и кому это нужно?..

— Мам, можно, возьму твой платок?

— Куда ты? Холодно ведь.

Я все же надела мамин белый шерстяной платок, повязав его вокруг лица, зная, до какой степени прикрыть подбородок.

Вышли. Он в белом полушубке, без шапки. Что-то долго бурчит про то, как я должна действовать. Дал мне пистолет, не отрывая своей руки, которую держал лодочкой под моей.

— Учти, будет большая отдача… Нажимай!

Я легонько отстранила его и, взявшись двумя руками, направила пистолет в небо.

— Курок нашла?

Вместо ответа — выстрел. Отдача действительно была чувствительная, но я удержалась.

— Ну как?

— Это несложно, ведь главное — попадать в цель.

— Правильно. Хочешь еще?

— Хочу.

Я стрельнула еще раз. Тут вышла мама.

— Нехорошо это, Владимир Иванович, Нонка, и ты тоже как дитя.

Мама ушла, и Александров забрал у меня оружие.

— Скажите, сколько вам лет? — вдруг спросил он.

Первый и последний раз в жизни я неправильно назвала свой возраст. Вытянувшись, я стала как будто повыше и посолиднее и вместо своих шестнадцати произнесла:

— Семнадцать…

Мама собрала им что-то в дорогу.

— Пора, — сказал Князев.

И они ушли.

Мой топчан стоял возле окошка. Отсюда я смотрела на степь, на небо… Вот и тогда я смотрела на них, как они быстро пошли, но не по дороге, а сразу куда-то вбок. Вся стая собак ринулась за ними, но тихо, как будто знали, что наших гостей надо тихо провожать. Скоро все кончится… И мы не будем прятаться. Но тут у меня екнуло под ложечкой: а они-то куда? И когда теперь придут?

Проснувшись рано утром, я увидела, что они оба спят на полу рядом с детьми… Мама шепнула: «По всей степи разъезды…»

Я села на топчане, оделась — не до сна.

— Пойду сена насмыкаю корове, — у нас к этому времени по распоряжению Мыцика появилась корова.

Вышла я к копне, только взяла в руки вилы, вижу — разъезд, и солидный, обмундированный как надо. Повернулась к скирде, смыкаю сено, а сама как завою песню: «Чайка смело пролетела над седой волной…» Не тут-то было — скоренько меня окружили, конские морды храпят в нетерпении.

— Слышь, красавица, тут двое не проезжали? Один постарше, а второй — пацан, седой такой. — Седыми у нас называли блондинов.

— Не проходили, а на конях проскакали вон туда.

Они посмотрели на хатку, и один из наездников направился к ней. Я, едва живая, продолжаю дергать сено и петь уже потише, чтобы не было слишком нарочито. Гляжу, он сильно наклонился — лень, наверное, с коня слезать — и долго смотрит внутрь хатки.

— Заходите, — открыла дверь мама.

Наездник выпрямился в седле и поехал прочь. Остальные потянулись за ним. Я набрала сена и отнесла корове. Иду и думаю: куда же спрятала мама троих мужиков? В хате, вижу, только отец из-за печи выходит. Мама глазами показывает на амбар с зерном. Я с ведром туда.

— Успели?

— А как же! Теперь опять темноты жди. В хату не пойдем, здесь легко зарыться в зерно.

Но они надолго застряли у нас. Я носила им еду, порой призадерживалась, чтобы поболтать. Как-то раз попробовала даже зарыться в зерно, это нетрудно, но отряхиваться от зерен пришлось как следует — зерно было везде. Какая пахучая все же эта пыль! Она отдает какой-то свинцовостью хлебной…

Отец ходил сам не свой, истоптал весь пол земляной костылями — он очень боялся за детей.

— Автоматом прочешут для порядка, а то и, пьяные, всех перестрелять могут…

— Да, стан превратился в самое опасное место, а ведь был убежищем, — задумчиво произнесла мама.

— Ты перебарщиваешь со своей деятельностью… Я беспомощный, пятеро детей… Нонку, и ту сцапать могут.

— А какая такая деятельность? Соли люди приносят да спичек…

— А вот какая!

Отец в сердцах сдвинул сундук: под ним и листовки, и газеты, и любимые мамой лозунги. Их, правда, было всего два, но на красной ткани. Разведенную мукой, известкой и молоком

краску мама любовно нанесла на материал, и получились плакаты: «Наши идут!», «Скоро наши придут!». Мама молча собрала все и переложила в поддувало. А отец все ходил и ходил раздраженно…

Чтобы убить время, я стала чаще ездить за водой и подсолнухами, и все с громкими песнями. В степи хорошо поется, тем более когда вся на нерве. Пела я однажды, пела, задрав голову кверху, а потом захлебнулась в слезах. Домой боязно идти: отец трясущимися пальцами все крутит и крутит свои цигарки…

Захожу в амбар с зерном, кашлянула — никто не отозвался. Я в хату. Мама шепчет на ухо: «Подсели в проезжавшую арбу с сеном. Ничего, солнце уже садится».

Так прожили мы несколько дней, и вдруг ночью приходит от них Зайчук, приносит соль, спички, табак, газеты, листовки. Помылся он, намотал на ноги сухие портянки и заговорил:

— Снилась мне, Петровна, церковь. Это, верно, тюрьма.

— И не вздумай дома показаться — вот тебе и тюрьма: сразу в комендатуру, — ответила ему мама.

— Знаю, что нельзя, а зайду. Зайду, Петровна, домой. Сколько месяцев, как собаки, лаемся с немцами. То они нас, то мы их… А получается так на так.

Мне обидно было слышать такие слова, ведь я мучилась: передавать ли записочку, ободряющую, чуть нежную, для моего Щорса — Александрова или не надо?

Попрощался с нами Зайчук и ушел в ночь. Утром меня потянуло в Отрадную. Зашла к Ольге, а она говорит:

— Зайчука поймали. Дома, у жены под бочком.

«Про тех скажет ли чего?» — подумала я. Нет, не говорит.

— А откуда про Зайчука знаешь?

— Мать видела, — отвечает Ольга. — Вон его хата недалеко. За одним таким маленьким Зайчуком… А коней! А полицаев! Как опали листья с деревьев, партизаны стали скрываться группками, поняла? Соберутся — и опять по хатам. Какая-то зараза их явку продала, теперь они где-то в лесу, только далеко, аж под Краснодаром. Кто-то дочиста все документы выкрал из полиции. И как же это? Собачатся день и ночь, не спят, а тут прямо из-под носу… Вам там хорошо, а тут девки замуж выходят за немцев.

— Да ты что?!

— Уже четыре свадьбы сгуляли. Я не выхожу никуда, сижу с Нинкой — стали к девкам лезть. Что ж наши никак не дойдут?

Сходили с Ольгой на базар, потолкались, кое-что обменяли по мелочи. И дома неспокойно, и тут ожидание какого-то извержения. Что-то должно треснуть, принести страх и горе.

— Ну, пошла я, Оля, надо до сумерек дойти…

Не доходя до хаты, вижу привязанного коня возле амбара. Вхожу. Мыцик сидит за столом и ест картошку. Отец, облокотившись локтями на костыли, его внимательно слушает.

— Другого выхода нету, — слышу я.

Как выяснилось, наш комсомолец Сергей Середин собрал ребят для одного важного дела. Немцы стали шустро отступать, и задача колхоза «Первомайский» была в том, чтобы не дать им возможности угнать скот в Германию. И вот всю ночь под руководством Сергея скотину гнали к нам на стан. Телят и лошадей решили охранять в амбарах, остальной скот держать в нескошенной кукурузе.

В амбарах были несметные стаи воробьев. Взмахнешь рукой — и уже две-три птицы в руке. Набирали птиц, резали их малюсенькие голые тельца и получали горький суп. Но потом не стали больше их варить: жалко было соль на них расходовать и энергию свою.

Наша жизнь круто изменилась. Скот надо было во что бы то ни стало сберечь. И вот днем он в кукурузе, а вечером толкаем животных в амбары. Поили раз в день из родника. Приспособили для этого «галерею» — бочка, корыто, таз и одна небольшая поилочка, выдолбленная из бревна. Мы гуськом становились и по конвейеру лили воду в эту посуду. Лошади, коровы, овцы сперва чуть не давили нас — налетали как оглашенные, но мы продолжали лить воду. Потом становилось тише, тише, и вот наконец напиваются все, чуть не лопаются.

Случалось, что блуждающие на конях полицаи интересовались, что это за скот. Тогда Сергей Середин, деловито закуривая и выставляя напоказ повязку «Полицай», которую ему сделала мама сажей на белой тряпке, неторопливо начинал:

— Да вот гоним скот в Германию от станицы Упорной. Заночуем, отдохнем и дальше пойдем.

Иногда, правда, полицаи ничего не спрашивали и хватали сразу баранчика или овечку. Но Сергей ни за что просто так, бывало, не отдаст.

— А ну, ребята!

И ребята наваливались как следует! А то и выстрелят вверх для пущей острастки. Те-то ведь бродяжничали, брошенные немецкой комендатурой, которая, естественно, не оставила им оружия. Девушек, «невест-жен», довезли, говорят, до Керчи, а там расстреляли.

Самой страшной тогда стала Рысоконская дорога. Когда-то по станице Отрадной ехали немцы на ишачках, теперь отступали они на машинах. Мы туда носу не казали — у нас была ответственная задача: сохранить восемьдесят голов крупного и мелкого рогатого

скота и еще коней.

Как-то утром мама сходила к своей подружке-учительнице и вечером, когда все ложились покотом спать в одной комнате, завесив окно, стала вслух читать принесенные книги — «Грач — птица весенняя», «Анна Каренина» и «Кочубей». Вот «Кочубей» ребятам понравился больше всего. И надо же случиться такому совпадению: дочитала мама как раз до того места, где Кочубей наказывает ординарцу телеграфировать, что завтра Невинка будет наша, и вдруг рано утром, на зорьке, у нашей хаты остановился разъезд, человек пятнадцать.

— Наши! — закричал первым Мишка Колбасин.

Наши! Мы выскочили. Кто-то раскрыл амбары, чтобы и скот тоже встречал наших избавителей. Какое счастье увидеть впервые после долгой разлуки красные звездочки на фуражках и пилотках! А отец уже подавал документы главному из разъезда. Крики, объятия, слезы.

— Меняй лошадей! — скомандовал Сергей.

— Да, хлопцы, нам пора, надо спешить.

Мы скорей стали снимать с их худых и израненных лошадей сбруи и хомуты, облачали наших здоровых, застоявшихся коней.

— Спасибо! — крикнули всадники и поскакали.

А мы все кричали им вслед, плакали…

Запрягли бричку, и мы, вся молодежь, понеслись в Отрадную, да не извилистыми, вехами намеченными спусками, а напрямик. У лошадей вот-вот заплетутся копыта, но нас уже не остановить. Труболёт, правда, придержал скорость: надо было организовать людей, чтобы шли за скотом и ставили на место, как полагается. По перекату через речку — и вот станица. Батюшки, что делается! Те, кто выкаблучивался при немцах, тех нету, а целуются и кричат совсем-совсем другие… Тетя Наца, эвакуированная из Днепропетровска, хорошенькая, губки чуть подкрасила, коротенький носик припудрила, чернобурку надела, уже суетится в толпе, и смеется, и плачет. Муж ее, я знала, без вести пропал. Дочь ее Нила была моей подружкой, а мама дружила с тетей Нацей. У многих эвакуированных тогда деньжат не было, и остались они на долгие годы у нас, а кто и насовсем. Но это я к слову.

На другой день были назначены похороны убитых и повешенных коммунистов и партизан. Мы тоже пошли туда. Над огромной толпой повисли стоны и глухие рыдания. Один за другим несут свежесбитые гробы с заколоченными крышками. Пробегаю вдоль гробов, и вдруг меня хватает рука в белом полушубке — это Щорс мой, Володя Александров.

— Нонна!

Левое плечо занято — несет гроб. Я взяла его протянутую руку, поднесла обеими руками к губам. Оба раскраснелись, оба не к месту улыбаемся. Подошли к вырытым ямам. Крышки так и не открыли. Говорили речи партизаны, солдаты стреляли в воздух. Я заметила, что организуется группа «главных» нашей станицы. Увидела там маму и Володю. После похорон они двинулись в райком. Мы, молодежь, составили свой круг и покинули парк, где, конечно же, нельзя было излиться нашей радости от прихода своих.

У нас, по станицам, испокон веку заведено: если всеобщее событие, то в хатах на столах стоит приготовленная еда. Заходи, угощайся — и горилочка, и что хочешь.

Мы с Ольгой Макаренко кормили каких-то подростков борщом, но они не захотели сесть за стол, а поставили тарелки на скамейку.

— Пускай, — махнула Ольга рукой, выглядывая, не идет ли кто еще.

И вдруг я вижу, как она меняется в лице.

— Братуша вернулся… Мам!

Она выскочила за матерью, но не нашла ее.

Мать еще раньше прослышала, что ее сын Василий в полиции служил в соседней станице. Но мать есть мать. Она обняла вернувшегося сына и повела в летник. Накормила, напоила. Спустя какое-то время вернулась и Ольга.

— Слава тебе господи! — И она с гордостью подняла понурую голову: оказывается, ее брат работал в полиции на наших.

Намаялись мы по хатам ходить, да песни орать, да кормить, да посуду мыть. Поплелась я домой, ни на секунду не забывая запаха овчины от Володиного тулупа. Какое счастье, думала я, как я счастлива! Как он осунулся…

Вхожу в хату и что же я вижу? Володя с друзьями и мамой сидят за столом и, оказывается, ждут меня. Дети уже спят. Трудно сдержать свою радость. Поздоровалась со всеми и села за стол.

— Ну вот, дочка, пришли сваты… Замуж тебя просят…

— Кто?! — испугалась я.

— Вот товарищ Александров Владимир, твой Щорс.

Не знаю, как понятнее описать свои чувства в тот момент, только не обрадовалась я такому предложению. Мне казалось, что жениться и замуж выходить — это значит стать дядькой и теткой, а мне нравилось быть девочкой, девушкой и своего Володю видеть парнем, партизанским молодым вожаком, а не каким-то дяденькой. Неужели нельзя предложить дружбу, как предлагают это все ребята девушкам? И конечно же больше всего меня кольнуло то, как быстро согласилась на это мама, как скоро она

отказалась от моей мечты поехать в Москву и стать артисткой…

— Я отвечу завтра, — сказала я, не поднимая головы.

Слезы, как градинки, толкались в колени. Мне была обидна вся упрощенность этой истории. Когда гости ушли, мама обняла меня и громко засмеялась:

— Моя доченька, моя маленькая, я же нарочно сказала при всех — он хотел наедине… Так ясней картина: неготовая ты еще, молодая, да и дело у нас с тобой есть святое, не надо отступать от него.

Я, счастливая, легла с мамой спать — какая она у меня справедливая…

После первого курса института, когда я приехала на каникулы, мама чуть ли не насильно повела меня к Александровым. Володя уже женился. Его молодая беленькая жена в черном сатиновом платье вела хозяйство в большом доме с красивым садом. Володя как-то засмущался, а жена подала руку, как фрейлина: дескать, я вашу историю знаю, но это прошлое, и я не придаю ему значения. Однако женская ревность потом разгорелась, и после третьего курса я узнала, что Александровы уехали жить в Краснодар…

Ах, война…

Погнали немцев из наших мест, и мы спустились семьей в станицу. Мама стала работать председателем колхоза, если можно было назвать колхозом это «заведение», где буквально все было разграблено: большую часть скота угнали в Германию, как, впрочем, и многих людей. Словом, людей, как и скот, угнали…

Дали нам в Отрадной две комнаты какого-то бывшего учреждения. Дом тут же заполнился людьми с разных концов страны. Селились они, правда, ненадолго: подработают на дорогу — и скорее, скорее туда, в разбитые войной города. Мама с подружками ходила по Отрадной и, как увидят людей с узлами, тут же тащат к нам в дом, да еще с каким-нибудь митинговым призывом:

— А вы чего тут под забором расселись? А ну-ка вставайте. Айда за нами!

И люди идут за мамой, оборванные и измученные, но улыбающиеся, с надеждой, что скоро все образуется. Эта добровольная комиссия по приюту переселенцев кричать-то кричала, звать-то звала, но, кроме как на свою жилплощадь, селить людей было некуда. Таким образом, у нас в двух комнатах разместились как-то девять человек: трое из Ленинграда, трое из Сталинграда, трое из Днепропетровска. Спали покотом. Я целыми

днями сидела верхом на искусственной мельничке, установленной на скамье. Крутишь ее, и оттуда медленно течет кукурузная мука. Да, накормить всех было нелегко: вместе с нами получалось шестнадцать человек. Меня, правда, иногда подменяли.

С особым удовольствием лазили по вещам и узлам, как тараканы. Теснота, но — прекрасно! Сколько мы в то тяжкое время смеялись, рассказывая друг другу всякие были и небылицы.

Помню, одна девушка из Ленинграда, Женя, пошла на свидание, а я ей перед тем лепешку дала. Она в темноте возвращается, ложится рядом и недовольно говорит:

— Ну зачем, зачем ты затолкала в меня эту кашу?! Я к кукурузе не привыкла. Стою на свидании, тишина кругом, красиво, луна светит, а у меня в животе бурчит так сильно, что, думаю, больше он ко мне не придет.

Работали все эти люди у мамы в колхозе, но мысленно всегда были в пути — домой. Мама говорила им: «Куда вы спешите? Поработайте». Нет! Домой.

Семья Чернявских из Сталинграда заявляла так: пусть руины, пусть пепел, но только в Сталинград. У Чернявских бабушка была, вредная такая. Ругалась, что мы вечером гулять ходим, и пока все не соберутся, ни за что спать не ляжет. А мне она, помню, связала из катушечных ниток панаму с полями, чтобы я пофорсила в школе.

Да, школа… Хорошо, конечно, что немцев погнали, но в феврале, а это, считай, середина учебного года, открыли школу и решили программу за весь год выполнить, чтоб мы год не теряли. У нас же дома жила учительница математики Лунева, мать Жени. В покинутом клубе на пианино, сохранившемся среди хлама бывшего немецкого продуктового склада, Женя самозабвенно играла, а я часами простаивала рядом. В школу ходить мне, как всегда, не хотелось, вот я и ныряла к Жене. Она не выдавала меня, но ее мама на уроках математики была беспощадной. Мне вроде и стыдновато было, что учительница у нас и стирает, и ест, ведь учительница — это же что-то святое! И вот математичка как прилипла ко мне, так и не отстала, своего все-таки добилась: единственный раздел, который я за всю мою школьную жизнь выучила, это были «Функции и их графики».

— Вот ты когда-нибудь поймешь, — любила повторять она, — что математика — это та же музыка, которую исполняет Женя.

Ну нет уж! Математика, думаю, не музыка, а наказание господне. Не убедила она меня, не успела. Да и когда? Конец блокады. В начале лета они, радостные, уезжали в Ленинград.

И надо же такому случиться: через много лет я поехала в

Чехословакию. И вдруг в военном гарнизоне на концерте выходит аккомпанировать певцу-офицеру Женя Лунева. Но первое, что она сделала, это поклонилась мне. А я едва удержалась, чтобы не крикнуть: «Женя!» — и не броситься к ней на шею. Но я только пальцами пошевелила — дескать, узнаю. На следующий день я была у нее в гостях. Женя оставила меня ночевать, и мы всю ночь проговорили. Утром, когда за мной пришла из гарнизона машина, Женя как угорелая металась по квартире и все кидала в огромный красочный мешок всякие тряпки, вещи для кухни, пляжа, и я никак не могла остановить ее безумия. И плакала она горько, когда расставались.

Катька-морячка

Как хочется всем родителям, чтобы их дети были спокойны, уважительны, примерны, чтоб не водились с так называемыми плохими девочками и мальчиками.

Десятый класс я заканчивала в городе Ейске. Маме дали комнату в коммунальной квартире в бывшем купеческом доме. Два льва с облезлыми мордами сторожили его безалаберный быт. Уезжая в степь, в Старощербиновскую, мать воскресным вечером наказывала мне выполнить главное задание — не ходить к Катьке-морячке. И потом уж говорила об остальных делах.

А я не чаяла, как бы скорее из школы да к Катьке! Меньших брать из яслей есть кому, да и стесняться я стала ходить с младенцем. Помню, несу его на руках, поравняюсь с кем-нибудь и таким фальшивым, елейным голосом обращаюсь к брату или сестре: «А где твоя мама? Сейчас пойдем к маме». Мне почему-то казалось тогда, что люди могут подумать, будто это мой ребенок. Так что эту заботу я с себя снимаю, да и поедят дети сами как миленькие. А я туда, к Катьке-морячке.

Дело в том, что Катя недавно вернулась с войны. Она служила на флоте, ходила еще в форме, только без погон — на штатское денег у нее не было. Вообще, она не из наших краев: где-то разбомбило ее обитель довоенную. После службы определил Катю на жилье к своей матери бывший ее кавалер, который сам еще не демобилизовался. О нем не вспоминали, а поговаривали, что Катя-де нехорошая, так что школьницам не следует водиться с такой. Но с какой же такой?

В четырехметровом чуланчике с маленьким оконцем в школьную тетрадь, где она жила, стояли парта и топчанчик. На стене под газетой висели праздничная форменка и гитара. Парта служила Кате столом и одновременно шкафчиком для продуктов: в углублениях для карандашей лежал мелкий лук, в дырке для

чернильницы — соль, внутри парты — хлеб.

— Есть хочешь? — встречает меня Катя одним и тем же вопросом.

Она никогда не приглашала к себе, но и не выгоняла, была вроде бы в тот момент с тобой, но где-то и в отдалении. Эта ее отчужденность по-своему манила: неведомая жизнь Кати, непростая судьба, возлюбленный — все тянуло меня к ней.

— Хочу.

— Садись.

Она достает буханку хлеба, кладет нож.

— Нарежь сколько надо…

— Ой, Катечка, спасибо!

— …пока дают, — смеется она.

Мы выглядели одногодками: она была старше меня ненамного, на каких-то два-три года, а я из-за своего большого роста выглядела старше. Я влюбилась в нее, такую добрую к людям, еще и потому, что они, не зная ее, болтали черт знает что, а она им все прощала.

Катя работала на маленькой ейской электростанции, которая круглые сутки тукала, как будильник, поставленный на подушку, и все листочки у комнатных цветов дрожали в такт ее ударам. Катя приходила с работы, пекла хлеб в печи, готовила обед, стирала и убирала, а потом начиналось святое — гитара и альбом с песнями. Она меня и играть научила, и многим своим песням. Как-то я в ее форменке — гюйс вылинявший, так считается на флоте шикарнее — пришла в школу на вечер, а юбку свою надела. Как же мне тогда все завидовали!

— Бери, — сказала Катя, отдавая мне флотский воротничок.

Да, с Катей было хорошо, но как объяснить людям и маме, что Катя ангел?!

Однажды я даже устроила дома истерику, доказывая, какая Катя хорошая. «А вы взялись!.. Такая-сякая, а она воевала, жизнь нашу защищала!»

Мама внимательно выслушала и, испугавшись моих слез, внятно произнесла:

— Катю я знаю больше тебя, она у нас в кладовой как бывший фронтовик выписывает муки немного для хлеба, которым, кстати, и ты любишь лакомиться. Катя хорошая, я ничего не могу сказать — комсомолка и к людям добрая. Но Катя постарше, она замужем.

— Замужем? Ты что?!

— Да, дочка, у Кати будет ребенок. А муж ее еще не вернулся. Он молодец — пристроил ее к своим. Просто я думала, что тебе надо со своими школьницами дружить, а у Кати другие заботы.

— Как? Катя живет как все.

С этими словами я ушла в палисадник и села на камень с тоской: значит, Катя уже не моя, она носит ребенка и ждет мужа. Ну и что же? Я все равно буду к ним ходить…

В тот год я уехала в Москву, поступила в Институт кинематографии. Приехала летом на каникулы, покрутилась пару дней, а саму так и тянет сбегать к Кате.

— Мам, я хочу Катю повидать.

— Ну что ж, повидай. У нее Юрочка народился.

Подбегаю к ее дому, а мне незнакомая девушка говорит:

— Бабушка умерла, а муж Кати погиб уже в мирное время.

— А где она сейчас?

— На работе. Беги, там как раз перерыв. Мама моя как раз понесла Юрочку к ней кормить.

Прибегаю на электростанцию, а туда не пускают.

— Пустите, ради бога, — взмолилась я, — я к Кате!

Смотрю, тетенька лет сорока, мать той девочки, кричит вахтеру:

— Пусти! Это же Нонка, не узнал, что ли?

— А-а, Нонка, иди! Гляко-сь, подросла, цицки какие стали, як у тетки.

— Да вы что?! — обняла я груди двумя руками.

— Нонка, иди. Не обращай на него внимания, он ляпнет чего хочешь.

Под сиреневым кустом в тенечке сидела Катя и кормила грудью ребеночка. На ней была спецовка и косынка в мазуте.

— А, Нонка, проходи, вот садись рядом. На Юру моего посмотришь… Он вылитый отец, все так говорят, кто его помнит.

— А как же свадьба? Когда же она была?

— Какая теперь разница? Умник нашелся: без саперной бригады от Таганрога до Ейска отправились. В обшем, на мине подорвались. Погибло-то мало, а вот мой морячок угодил прямым попаданием… Ой, Нонка, сколько бескозырок по морю до сих пор плавает, никак не потонут! Мазутом их пообкрутило, а они нет-нет да и явятся, бескозырочки-то.

Молодая прекрасная мадонна кормила грудью свое дитя и уже была вдовой. «Отомстила» Катя за все наговоры своим вдовством. Неловко стало тем, кто еще недавно ее так принял. Теперь она улыбалась людям с Доски почета.

— На, — дала она мне подержать заснувшего сына.

Но родственница ее тут же унесла ребенка, а Катя, положив мне руку на плечо, предложила пойти в столовую.

— С удовольствием, но у меня нет карточки.

— Вот дурная, в столовке да не извернемся! У меня рабочая

есть.

Посидели недолго, но я за это время успела выпалить многое из нового, что случилось со мной, вплоть до того, как в «Ревизоре» я кричу Добчинскому и Бобчинскому: «Скорей, скорей! Вы тихо идете!» На нас оглядывались, потому что я встала из-за стола и точно так же крикнула, как на репетиции.

— А жених есть?

— Женихов у нас нет ни у кого… Так, иногда целуемся по углам — и всё. Какие женихи?! Надо же учиться.

— Правильно. Дело на безделье не меняй. Ой, Нонка, живая ты какая! Молодец, жизнерадостная…

— Я надолго приехала. Можно, буду бегать к тебе?

— А чего ж, я теперь в большой комнате живу, где раньше была свекровь, а Вера, жена брата моего мужа, в другой со своей дочкой.

— Я ее видела.

— Трактор не то мину, не то бомбу переехал — и на куски! Прямо вот два брата, как по написанному, погибли. Да и пацанов в поле много подрывается. Бегают безразборно, ничего не понимают. Обещали прислать саперов, да их надо много, если по-настоящему браться задело… Так что вдовушка я ни с того ни с сего. На тот год приедешь — наверно, уже не застанешь.

— А ты куда?

— Домой тянет, в село. Там из родни никого нет, а вот место, земля, она осталась. Туда мы и поедем с Верой. Поставим хату-саманку «замесом», садок разведем, в колхоз запишемся.

«Замес» — это когда объявляется на селе кем-нибудь клич-просьба помочь поставить хату. Расплата — вечеринка: хозяева, получившие хату, должны для всех участников «замеса» накрыть на стол. Но люди в селе сердечные — они для этого дела и с собой принесут что есть. Идут все на «замес» с охотой, как на праздник. Сделать «замес» — это значит и саман замесить, и поставить хату, выкопать прудок для рыбы или забор починить.

— Я найду тебя, Катенька! — Поцеловала ее в щеку и провела по ней рукой. Она сделала то же самое: я-то ничего, а она заплакала.

Я понимала, что пока это был этюд, но уже начало моего амплуа — женщины войны и послевоенных лет. Вот это и стало главным в моей душе, в моей работе, когда я стала актрисой, — играть Кать, Марий, Полин, Стеш, Дусек…

Под гребешок война уравняла миллионы женских судеб, особенно жестоко она прошлась по тем, кто не познал в те тяжкие годы ни любви, ни материнства, ни крепкого плеча мужа.

До сих пор видятся мне картины, как рыдают молодые

казачки, как идут они рядом с конем, на котором уезжает муж или жених на фронт, и не могут отпустить стремени. Я видела, как они получали похоронные, и помню, как никто не вернулся с войны. И эти красавицы в недоедании и вечном труде как-то слишком быстро обветрились, ссутулились и, не успев в зеркала взглянуть, состарились да так и по сей день еще живут. Нашли свое забвение в труде да в заботах. Кто велел мне посвятить им свое творчество? Не знаю. Так получилось. Эту «братву» я знаю до мельчайших подробностей и буду всегда отростком того единственного корня, которым питаются и наши любимые труженицы.

Тапочки и часики

Какая раньше была моя родина большая! Нескончаемая… Я и мама, наша хата с садиком — это нерушимое убежище. Помню, расселись мы у чьей-то калитки на лавочке, а старуха вдруг как завоет: «Все будут в котле кипеть, на сковороде раскаленной стоять голыми пятками, птицы будут глаза выклевывать, за ноги подвесят на два дерева и разорвут на части!» Расставив руки, я побежала стремглав к маме, домой на спасение. Захлебываясь от слез и трясясь, с трудом рассказала о бабкиных угрозах. Помню мамино хохочущее лицо и ее поглаживание по голове.

— Ой, ой, ой, доченька, — успокаивала меня ретивая комсомолка, — да не верь ты всяким глупостям. Это же выдумки, сказки, понимаешь? Дура она, эта бабка, дожила до старости, а ума нету,

И как становилось покойно на душе! Ведь никогда потом не было так покойно и радостно, как тогда, в детстве, где мама, хата и великая крепость — жизнь людей. Потом человек покидает родину, едет куда-то в зовущие дальние дали искать свою птицу счастья. А мама, семья, дом так и остаются дежурным пристанищем: надо будет, придешь и обретешь уверенность, тепло, зарядишься энергией и, спокойный, снова пойдешь на добычу намеченного. А вдруг лихая година? Значит, опять туда, к маме, в хату, к своему месту.

Так думали мы, когда были молоды и наивны. И до какого же ужаса мы сейчас дожили, что нет теперь на земле для тебя убежища. Земной шар — вот территория, по которой ты теперь передвигаешься, и земной шар этот круглый, и так четко он доказывает тебе, что некуда притулиться спиной, ни о какой забор не обопрешься: нет нор, убежища, нет тупиков, закрытых от чужих взоров, — все наружу. И на этом шаре все большущие и малые страны, такие сильные и такие вооруженные люди…

Разум твой вырос, и выросла беззащитность, пространство твоего движения увеличилось, а точки непричастности к житейскому коловороту не стало. Что теперь та хатка, которая, быть может, еще стоит и служит людям, что теперь та малая твоя родина, где можно было укрыться в лихолетье? Ты заложник сильных мира сего. И ты, и твоя хатка, и твое родное житье-бытье — все это пыль, не имеющая ни сердца, ни страха потери близких на последней секунде жизни красивого, яркого гриба…

Так почему же рождаются на свет такие люди, для которых главная цель — владеть земным шаром?! Это же не брелок для ключей. Ну, предположим, нашелся такой «гений», наконец-таки

завладел. А перед кем же ему хвастать этим владением? Ведь нету других земель, где позавидовали бы владельцу. Как скучно ему будет жить! И одна-то у него цель — поддерживать свою власть, а дальше что? Снова борьба за власть. Опять свержения, восстания, призывы к справедливости… Так же, как земля не может бороться с засухой, наводнениями, землетрясениями, так же она не может воспротивиться рождению подобных индивидуумов, что, как смерч, возникают, с непобедимой силой преумножают подобных себе и начинают смертоносное наступление на человека нормального, трудящегося, выращивающего хлеб, строящего…

Как-то мы, кинематографисты, в очередной раз отправились в поездку на агитпоезде по всему Уралу. Верхние полки подняты, едем по два человека в купе. И ситчиком, и цветами украсили свое жилище, да и едем выступать в те места, где редко увидишь «живьем» любимых киноактеров, эстрадников, циркачей, певцов. Все хорошо, кругом аншлаги. Ох, если б кто поверил, сколько приглашений домой — поесть пельменей, переночевать! Как же хорошо там, на Урале или в Сибири! Когда заговоришь о местных затруднениях с маслом или колбасой — обида. Во-первых, возражать начинают, во-вторых, не во всех, мол, районах одинаково. А в-третьих, эти великие наши русские улыбки, они, кажется, выше всех рассуждений. В них улавливается скрытое превосходство: а есть ли у вас в Москве такая рыба? А какие у нас овощи, говорят с гордостью, только лентяи не обеспечивают себя! Мы не скрываем, что на наших глазах реформируется деревня, когда-то будем рассказывать своим внукам, как это нелегко — сравнять город с деревней. Да и надо ли это, впрочем, делать…

Едем мы в поезде искусств, радуем всех, а быт тоже берет свое. Администрация хлопочет, чтоб на остановках можно было баньку истопить дня нас. Звонят специально по телефону. Мы выступаем, а сами переговариваемся: сейчас закончим — и в баньку!.. И местным жителям забава — артистов выкупать.

А делаю я подход такой длинный, чтобы рассказать одну историю. Останавливаемся как-то ночью на разъезде: снующие поезда, какие-то погрузки — словом, деловая точка. Где помыться? Но тут человек, перепрыгивая через рельсы, уже спешит к нам.

— Как в тупик станет, так женщины за мной, а мужчины вот с ним, — и показал на мужчину в соломенной шляпе.

Стали в тупик на ночевку, бельишко собрали, мыло там, мочалки — и за дяденькой. Идем, перешагиваем через рельсы, пропускаем товарняки, а он нам на ходу поясняет:

— Здесь баня только для хлебопекарни. И не парилка, а так, скороходное мытье.

Ладно. Какая разница? Баню я люблю, но это долго. Вошла первая в предбанник — сенцы маленькие, а остальные наши остались на траве стоять — смотреть на небо да комаров шлепать. В это время в бане мылись женщины, заступающие на работу — печь хлеб. Сижу одна и вижу десятка три стоящих тапочек, слышу женский визг и стук шаек. Боже мой, как много женщин на Руси с маленькой ножкой, думала, разглядывая тапочки. Как по-разному истоптаны они, с какими разными характерами владелицы этих тапочек, сброшенных легко и как-то по-хозяйски. Разглядывая эту брошенную как-то играючи обувь, я вспомнила гору тапочек и туфелек в немецком концлагере — их не стали уничтожать, оставили как музейные экспонаты. За что? За что тем, погибшим, такая участь?

Играя наших, советских, спасительниц, я теперь жалею о том, что не дано было мне соединить две эпохи — войну и мир — в одну. Но я хотела бы сыграть что-нибудь такое, что говорило бы о моем знании России, ее сущности, нашего народа, хотела бы внести хоть маленький вклад в борьбу с насилием. Но возраст уже не тот. Думаю, что сделают это нынешние двадцатилетние актрисы, молодые режиссеры. Надо снимать еще фильмы и о том, какие же мы на самом деле: одичавшие и культурные, не способные к агрессии и насильники, как мы любим детей и дома наши, природу и мирную работу. Почему же до сих пор нас уверяют на все лады, что как солнце всходит и заходит, так и, оказывается, среди американцев есть тоже хорошие люди? Как же это некрасиво! Признайте же наконец, что простой народ везде одинаков. Различны только люди, рвущиеся к власти, которые, получив ее, вершат мировые дела.

…Немцы ушли — и жизнь потопила моментально, как камень в нефти, пережитое. Люди приступили к освоению следующей жизненной программы, то есть без немцев, с потерями, но по-прежнему, по-нашему, со своими.

Пахать! Сеять! Нагоняй давать за невыход на работу. Замуж выходить, жениться, на собрания ходить, отчеты писать — всё как прежде.

Приходит раз мама с работы и заявляет:

— Поедешь, дочка, в Армавир, на толкучке купишь часы, ручные, конечно.

— Как?!

— С дядей Павой.

— Мамочка! — кидаюсь я к ней в объятия.

Никак не ожидала, что так скоро исполнится желание.

Я как-то рассказала ей, какую красоту видела у Маруси Даниленко.

Рука чистая, вымытая, а на ней — цок-цок — живут часики с гаечкой, чтоб заводить их. Мне бы дорого стоило, чтобы суметь объяснить читателю суть обогащения простого человека, когда он приобретает давно желанную вещь.

К примеру, шифоньерка вполне восполнила собой поэзию нашего «шереметевского дворца» на долгие годы. Мы были обладателями шифоньерки, а это факел понимания красоты и вкуса, предмет уюта и гордости. Когда маме дали комнату в Ейске, она, перед тем как ехать, достала несколько метров марли. Помню, завезла нас мама в Ейск, попадали все от усталости, улеглись спать. Но я не сплю: манит новый, неизвестный город! Занавески мама сшила вечером да в два часа ночи тоже свалилась. «И почему шила сейчас же?» — думала я. Еще узлы не развязаны и лошади храпят во дворе перед тем как возвращаться им назад. А сама, пока все спали, и повесила занавески на окна. Это было так шикарно!

— Доченька! — подняла голову мама. — Ты уже не спишь?

И видит: висят занавески — и так в комнате красиво, так дымно и мягко.

На рассвете мама принесла горшок с китайской розой с базара: чем «ночней», тем дешевле там цены. Розу поставили в угол, где она, как девушка, вздрагивала от вечного постукивания работающей рядом электростанции.

Словом, началась для нас устроенная и, как нам казалось, счастливая жизнь.

Утром рано по понедельникам мама уезжала в Старощербиновскую выполнять свои обязанности председателя, а в воскресенье, уже к вечеру, возвращалась домой.

К маминому приезду я обычно искупаю детей, уложу на кровать, укрою общим одеялом, выстираю их бельишко, прополощу, повешу во дворе сушиться — и на танцы с морячками в кинотеатр «Звездочка».

Но бывали «трагические» дни, когда только развезу лужи по полу, как заходят знакомые моряки, зовут на танцы. Мне неудобно им отказывать, потому что у них увольнение. Кладу в танце руку на плечо партнеру, а сама слепну от страха и предчувствия: приедет мама, и ее радость встречи с нами будет омрачена — дети не мыты, полы грязные. Слава богу, каша кукурузная, по моим расчетам, допрела. Танец не в танец. Иду домой, плетется морячок рядом. И какой бы он ни был, я не хочу с ним стоять при луне. Мама приехала уставшая, а тут сиротский дом.

— Мама, — тихо говорю я, хотя пахнущий глаженым матросик не желает отпускать. Он хоть и сам не знает, что ему

нужно, но увольнение-то не «дорасходовано».

— Кто там? — ехидно спрашивает мама.

— Я.

— А, ты! По химии двойка, а ты с морячками гуляешь. Иди туда, где была.

Но я слышу, что засов открывается. Никаких поцелуев, никаких обещаний о встрече в следующее увольнение. Морячок стучит кожаными каблуками, а я вхожу в дом, как несчастная Козетта, потеряв самое главное — любовь мамы.

Я и теперь встречаю таких мам, порою не очень образованных, что называется от сохи, но от природы унаследовавших дар воспитания, дар влюбить в себя, вечно осчастливливать своим присутствием своих детей.

Наша мама ухитрилась посветить нам и людям, как солнышко, побегать по полям, научить всех играть на гитаре и петь, выступить как надо на любом собрании и ушла из жизни в пятьдесят лет от такой мучительной болезни, как рак. Сделала столько добра и своим детям, и вообще людям и так рано умерла.

Три с половиной месяца сидели мы возле нее. Плакать было нельзя: мы, что греха таить, обманывали ее. Я наделала самодельных порошков штук сто — сахарная пудра, сода, лимонная кислота… И она точно по часам пила это «лекарство» три раза в день. Потом так же микстуру — пузырек за пузырьком.

Однажды после очередного обезболивающего укола она успокоилась, испарина покрыла ее изможденное лицо.

— Нонна, сшей мне тапочки, — с улыбкой сказала она.

— Ты что, мама?

— Сшей, доченька, я их должна увидеть.

— И не подумаю! — И зарыдала.

А когда мама начала терять сознание, впадать в забытье, я наклонилась и осторожно надела сшитую мной тапочку на ее ногу. Вдруг она открыла глаза и, слабо улыбаясь, проговорила:

— Вот, доченька, маме на смерть ты и сшила.

Долго потом она была в забытьи, к вечеру стала хрипеть, но все же успела выдохнуть: «Не плачьте…»

Думали — конец. Внезапно мама подняла веки и так повелительно посмотрела на меня. Я все поняла: мама приказала мне быть за старшую. Я выполнила ее наказ. Мы с братом выполнили то, что она хотела: «Доведите всех до ума». О себе не стану говорить, но все мои братья и сестры — настоящие трудяги, кто в каком деле, всюду только на «отлично» работают. Это мамино наследие…

Так вот, возвращаюсь к часикам. Этим в то время венчалось полное обеспечение молодой, начинающей ходить на танцы

девушки. А то, что тапочки перед каждым походом на танцы зашивались собственноручно проволокой, что кофточки брались друг у друга взаймы, — это не главное. Вот часики на руку…

Грузим мы мешок пшеницы на арбу и мешок овса (это дяди Павино добро) и отправляемся на толкучку. Мама пустила слезу, как полагается, а я не могу заплакать.

Быки, презрев людские понукания, глубоко наплевав на них, мотают рогами и переступают копытами так, как им нужно. До Армавира от станицы Отрадной шестьдесят километров, а они идут в день пятнадцать. Значит, ночевок много по пути — четыре. Надо знать где, и искать, да и расплачиваться надо.

Махали, махали бычьи головы в первый день, пока не настала ночь. Вижу, дядя Пава останавливает быков у какого-то двора.

— Мару-у-ся! Открывай!

Маруся, вроде бы недовольная, ворота все же открывает. Мы ставим быков на покой, снимаем ярмо и суем им под морды соломки. Под грушей керосиновая лампа, бутылка, закуска. Ужинаем и ложимся спать. Мне постелено на земляном полу. Падаю и крепко засыпаю. Среди ночи собачка деликатно ложится у меня в ногах.

Утром царский завтрак: штук тридцать вареных яиц и хлеб. Сейчас говорят: яйца вредно есть, а мы с дядей Павой тогда по шесть штук съели и поехали. Маруся закрывала ворота уже довольная.

Дядя Пава быками правит, а я опять разглядываю наши небогатые кубанские степи. Перед вечером увидали колодец, такой шикарный, с обработанными цементом краями. Напоили быков — и снова в путь.

Ночь. Опять быки уверенно, как у собственного дома, останавливаются у чьих-то ворот.

— Ты, Павел?

— Я.

— Сказала ж тебе, чтоб не ездил больше!

— Открывай, открывай…

Дядя Пава улыбнулся и подмигнул мне. Мы въехали во двор. Распрягли быков, смотрю, а стол под деревом пустой. Хозяйка, тряхнув головой, скрылась в доме. Дядя Пава сел за стол, положил коробочку с махоркой, стал крутить цигарку.

— Неси, Нонна, наши харчи.

Приношу. Вдруг выходит разъяренная хозяйка, берет ведро и в него ссыпает все наше.

— Не бойтесь, ведро чистое. Заберете все потом обратно. — И стелет белую скатерть.

— Уж раз с молодкой катаешься, надо все как следовает быть.

Красивая казачка бегала туда-сюда, стол ставя, а я все вникала в смысл ее упреков. Дело в том, что дядя Пава когда-то обещал ей бросить жену и переехать жить к ней.

— Видишь, Нонна, как они все замуж хотят?

Неожиданно хозяйка влепила дяде Паве пощечину и ушла.

Тот провел рукой по лицу. Хозяйка больше не вышла. Мы поели, дядя Пава определил меня в гамак, а сам лег в подводу, принеся из хаты разного барахла.

Еще одна ночь. Ночевать негде. Ставим подводу под чей-то сарай. Стена саманная, прогретая солнцем за день, отдает нам свое тепло. Мы кладем какое-то тряпье и ложимся с дядей Павой рядом. Он лежит на спине, смотрит на звезды и уже сквозь сон едва проговаривает:

— Не бойся… Не бойся жить. Люди есть и плохие.

— Я не боюсь, — успокаиваю его. — Лишь бы рядом люди были хорошие.

— О! Они ж не всегда будут с тобою рядом…

Въезжаем в Армавир. Как все подвижно! Один базар чего стоит. Много вещей, оставшихся от немцев, продается: и с блестками, и с перьями. И фрау полно, убежать со своими немчиками не успевших: торгуют себе — и никто им ничего. Дядя Пава подрулил к какому-то дядьке, зерно ссыпал мое и свое и, блаженно улыбнувшись, обнял меня за плечи:

— Ну, теперь пошли.

— А быки?

— Он все сделает, я ему дам на бутылку.

И мы, такие счастливые, держим в потных руках гроши и идем сначала в часовой ряд. Глаза у нас растопырились, и тут дядя Пава дал слабака:

— Нонка, не понимаю я в них. Накажи меня Господь, если посоветую не то…

Я удивилась такой «темноте»: да вот же они, часики, красивые какие! Бери какие хочешь. И я схватила первые — понравилась форма. Поднесла к уху и сказала:

— Давайте!

Дядя Пава хотел как-то образумить меня, чтоб не торопилась. Куда там! Я уже надевала часики на руку, счастливая вдвойне: еще оставались деньги. Потом пошли в ряд теплых стеганых одеял. Дядя Пава купил одно, не знаю, жене или матери. Мне показалось, что матери.

— Пойдем к моей жене, пообедаем, — предложил он.

Приезжаем на нашей телеге: дома никого нет. Он ловко под крылечком нашел ключ и открыл дом. Только вошли, как вдруг из-за печки выскочила овчарка — и на нас.

— Ой! — крикнула я.

— Пшел вон! — Дядя Пава пинком отшвырнул пса в сенцы.

Тот почему-то послушался его, хотя приобретен, видать, был без него. Скоро пришла хозяйка.

— О, о! — расставляя продукты, заокала она. — Я вижу: быки… Есть будете?

— Еще как!

Поужинали и легли спать. И быки наши заснули. А жена, чувствую, недовольна, что я легла на диване, а дядя Пава на полу в той же комнате.

В ночь мы выехали назад, бодрые, веселые. Отдыхали днем в тени: и нам хорошо, и быкам. Только на последней точке опять открыла нам ворота Мария, в крепдешиновом платье и с шалью на плечах. Я с собачкой снова в сенцах, а они в хате…

Пускай! У меня ведь теперь был новый друг — швейцарские часики, живые, чистенькие, блескучие да еще бурчат: тик-так, тик-так…

Есть еще один эпизод, связанный с войной, который поведал мне родной брат.

Демобилизованные всё ехали и ехали в паршивеньких, старых вагонах, а вместе с ними и штатские по своим делам. Мечется народ, лучшего места ищет, своих ищет, домой возвращается. И вот едут люди в одном купе, притерлись уже за долгую дорогу. И харчами делятся, и тары-бары общие ведут. А тут один, с выпученными глазами, вещает так, аж слюна брызжет, вены вздулись на висках. И оттого, что молча слушают его, он еще больше распаляется. А дело в том, что на руке у него были американские часы. Он снял их и стал и так и эдак вертеть перед лицами сидящих.

— О! Видели? Машина! А-ме-ри-ка! От смотрите: сейчас брошу об пол — и ничего. Как тикали, так и будут тикать.

Он бросил часы на пол, поднял и стал обносить людей, как святыню, каждому к уху прикладывая часы.

— Ну?! Идут?

— Идут, — с улыбкой, несмело отвечали пассажиры.

— Потому что аме-ри-канские! Америка — это сила. А что наша матушка Россия? Ничто! За что хоть воевали, знаете?

Люди в купе стали робко подниматься, не умея поначалу постоять за себя. А из уст обалдуя уже чистоганом лились оскорбления всему настрадавшемуся народу.

И вдруг с виду нерешительный солдат лет сорока расстегивает в сердцах карман, достает оттуда мужские часы довоенного производства, отечественные.

— А вот это видал?! — Он поднес часы к роже пропагандиста

американских часов и, размахнувшись, шмякнул ими об пол.

Какая-то сила помогла солдату: когда он поднес их к уху провокатора и спросил: «Идут?» Тот ответил изумленно: «Идут».

— Идут? — спросил он еще у двоих, поднеся и к ним часы.

— Идут!

— Идут!

Потом солдат поднес часы к своему уху и изменился в лице: часы, видно, молчали.

— Во-от! — сказал он как ни в чем не бывало. — И нечего тебе тут орать. Ишь разошелся, антихрист! Ты сам-то кто: американец или русский?! — Он гордо и деловито застегнулся на все пуговицы. — Ишь умник нашелся! — все больше волнуясь, проговорил он.

— Ну-ка, ну-ка, дай послушать еще, — попросил возмутитель спокойствия.

— А это в другой раз, покурить охота.

Солдат вышел в тамбур, долго курил там и, как только поезд остановился, был таков. Рюкзак его с нехитрыми пожитками и харчишками так и остался на сиденье — уж как он до дому добрался, неизвестно.

Как я стала актрисой

Еще учась в школе, заразилась мечтой пойти туда, где делают волшебные произведения — кинофильмы.

Просмотры фильмов происходили у нас в скромных условиях: хатка под камышовой крышей, проекционный аппарат стоит тут же, среди зрителей. Не надо еще забывать главного человека этих киносеансов — деда с бородой, который химичил с движком. «Пу-пу-пу-пу-у», — на высоких тонах разносилось от движка на всю станицу. Бывали случаи, когда на экране движения актеров становились сомнамбулическими, женский голос мужским, и в конце концов жизнь на экране полностью замирала, он становился просто саваном, и пацанва высыпала наружу, обступая колесо движка, где дед с бородой на пучочек серой ваты лил керосин. Дальше технология его починки была для нас путаной и недоступной, мы мигом неслись на свои места, чтобы с появлением треска «пу-пу-пу-пу-у» позабавиться над тем, как замершие на экране актрисы с мужскими голосами сперва начинают шевелиться, потом голоса их повышаются до женских и движения становятся естественными. Пошло.

После просмотра каждой части пацаны, сверкая ребрами, вручную крутили пленку назад, на экране все мелькало с невероятной скоростью, уходило опять к началу, будто фильм

всасывался в огромную дыру, мы закрывали ладонями глаза, чтобы не видеть этого безобразия, и с трепетом ждали, когда же опять застучит движок.

Невзирая на такие несовершенные просмотры, люди буквально впитывали фильм, будто и не было никаких помех. И вот в свои двенадцать-тринадцать лет я была не только заворожена происходящим на экране, но еще и удосуживалась по-хозяйски прикинуть возможности воздействия кино на сидящих в зале, понять силу гипноза экрана и нужность его для того, чтобы быть поводырем к осязаемой цели взрослых — построению новой жизни.

Это все и было зафиксировано мной в первый день занятий по актерскому мастерству, когда Борис Владимирович Бибиков раздал нам бумагу и карандаши с тем, чтоб мы письменно пояснили, почему хотим быть киноактрисами. В восемнадцать лет я описала суть действия кино у нас, в Советском Союзе. Это было потом не раз опубликовано.

Но вернусь в то далекое время моего детства. Как-то, стоя за билетами в кино, я увидела листок-афишу, анонс следующего фильма — «Богдан Хмельницкий». Вижу, главного героя играет Николай Мордвинов. Вечером я уже сидела под керосиновой лампой и писала ему письмо-запрос. Ответ пришел быстро: «Собрался ответить Вам, Нонна, хотя очень занят. — Не верю, не верю своим глазам, листок, вижу, вырван из старинной книги (где были такие, будто ненужные, совершенно чистые, толстенькие, шелковистые, чуть пожелтевшие страницы)… — Вы спрашиваете меня, как стать киноактрисой?» Дальше шел рассказ о ВГИКе, для которого нужно закончить десять классов. Письмо это, к сожалению, мною утеряно, поэтому пишу почти дословно только то, что хорошо запомнилось… «Иначе неполное образование отразится на всей Вашей жизни. Примите мой искренний совет. Я Вам добра желаю. Н. Мордвинов». С повышенной готовностью я зачитывала это письмо всем, кому хотелось, но особенно выразительно пускала волны в сторону мамы. И однажды во время экзаменов в десятом классе я, оставшись с мамой наедине за накрытым клеенкой столом, загундосила:

— Ну, мам, ну чего ты помалкиваешь? Мне ж ехать надо…

— В Москву?

— Та нуда ж…

— Поедешь, поедешь, доченька, — вздохнув и вставая с табуретки, ответила мама, — одним местом по печке…

— Ну, мам!

— Ни грошей нема, ни одежи. Москва! — в сердцах крикнула она и вышла из дому.

Я-то знала маму. Ей, конечно, хотелось, чтобы я посвятила себя этому делу, у нее самой были отличные актерские данные — их замечали все, кто знакомился с нею, когда она потом приезжала в гости в Москву. Но не было у нее за душою ничего, чтобы учить меня, — только что кончилась война. И я решила избавить маму от этих мук и не терять учебный год. «Уеду, мамочка, еще и письмо пришлю, порадую тебя».

Подгадала момент, когда мама в Старощербиновскую уехала на рабочем поезде. Братья и сестры с охотой приняли мою игру в сборы и проводы. На горище (чердаке) брат нашел самодельный деревянный чемодан с переводными картинками на крышке, завернули на дорогу кукурузных лепешек. В старом чайнике в беспорядке хранились деньги, весь семейный капитал. Взяла шестнадцать рублей, подкрасила немного губы типографской краской (мать одной девочки работала в газете «Ейская правда» и на газетном клочке приносила красную и черную краску себе и подругам, а мы ее потом разводили постным маслом). Пришли на станцию, топчемся, «ориентируемся». Пассажирский на Ростов уже ушел, а что еще ждать?

— Дядя, шо, на Ростов уже пошел?

— Пошел. — Подперев стенку, на корточках сидел дядько в железнодорожной фуражке.

— Больше поездов нема?

— Як нема? Полная станция! — Он кивнул на рельсы, где стояло много товарняков.

Я тут же поняла свою судьбу. Разузнала, какой двинется раньше всех, и вскоре махала рукой моим младшим сестричкам и брату. Они тоже с удовольствием играли в мои проводы: махали, подпрыгивали, пока не скрылись за поворотом. Так что действительно не так страшен черт, как его малюют. На соломе рядом мостились еще какие-то люди, довольные, что колеса крутятся, поезд идет.

Ехали до столицы долго — четыре дня. В Москве влетело в уши слово «Люберцы». Мне почему-то сразу оно понравилось, и не знала я тогда, что Люберцы станут моей второй родиной. Но об этом позже.

И вот, никому не кланяясь, я и мои попутчики, такие же ловцы счастья, заночевали на вокзале. О, что это было — послевоенный вокзал! Ночной сон назойлив, требователен и жаден. Пригнездились, уснули в море людей, узлов, сапог, детских ножек. Ночь-то берет свое…

Утром умылись газировкой, привели себя в порядок и по «своим» институтам, кто какой выбрал, разбрелись. Поехала и я.

Боже, как трудно было мне найти этот ВГИК! Помню, на

трамвае № 39 дозвякала, дальше немного пешочком. А вот и они, эти столбы с арками и колосками. Правильно: слева — ВДНХ, справа — ВГИК. Подхожу. Засохший фонтан. Да, институт-то вот он, но что меня, бедолагу, там ждет? Ведь я не имела тогда ни малейшего представления о том, что там делается.

У нас в колхозе ходили всякие предположения. Бабка одна говорила: «Да езжай, чего там! Небось нервы будуть испытывать… Водой холодной обольють — не испугаешься, значит, будешь артисткой». И вот институт передо мной. Каково же было мое удивление, когда, переступив порог, я увидела коридоры, переполненные такими же «умными» людьми, как и я. Будь вы неладны, откуда ж вы все взялись? А я-то думала, что самая первая героиня. Куда там! Они уже, как саранча, слетелись, снуют, шепчутся, суетятся…

Ничего себе толпа! Что ж мне делать? Словом, скисла, села в сторонку и сижу скукожившись. Одна девушка запомнилась мне на всю жизнь — туфли у нее были на высоких стеклянных каблуках. Смотрю на нее и думаю: «Вот это да! Вот эта действительно похожа на артистку!» Я же свои ноги спрятала под стул. Мы и сейчас на традиционных вечерах-встречах вспоминаем, какой «пышкой одетой» явилась я тогда «брать Москву»: платье ситцевое старое, фасон «татьянка», и мальчуковые галошки.

Сижу я, сама себе не нравлюсь, и так стало жалко себя! Думаю, правду мама говорила: куда тебя черти несут? Вижу, вызывают по одному человеку в какую-то таинственную комнату, и потом этот человек оттуда выскакивает красный, разгоряченный. Что ж они там делают? Не то поют, не то танцуют… А спросить боюсь. Уже и перенервничала, и проголодалась — харчи мои остались на вокзале в самодельном чемодане из фанеры с амбарным замком. И, кстати, когда я поздно вечером вернулась в свой «готель» на ночевку, он там так же и стоял: никто на него не позарился…

Ну что ж, наступила и моя очередь встрепенуться, когда услыхала свою фамилию. Захожу — ни жива ни мертва. В аудитории человек пятнадцать сидят.

— Здравствуйте, — говорю.

Они, как будто с зубной болью, кисло говорят:

— Здравствуйте, девушка.

И тут я им не позавидовала: с девяти утра до десяти вечера сидят, бедные, и все слушают, слушают… А поступающие только и знают письмо Татьяны к Онегину или «Я волком бы выгрыз бюрократизм». И так из года в год, с утра до ночи. Да еще «На ель ворона взгромоздясь…». А я явилась вообще без всего, «в чем мать

родила».

— Что вы будете читать? — с зевотой спрашивает меня одна преподавательница.

— Как это? Я ничего не буду читать, — отвечаю. «С газеты, что ли, им тут надо читать?» — думаю.

Смотрю, эта тетенька повеселела, бровки приподняла и удивляется:

— Разве вы не знаете, что нужно читать стихотворение, басню и отрывок из прозы?

— О-о-ой, нет! Это… я нет.

Ну, у них оживление: проснулись, кажется, все.

«Чего там читать?! — думаю. — Давайте фильм снимем какой-нибудь или роль сыграем. Такие дальние дали преодолела, столько мук перенесла, а тут читать. Паразиты! А ведь они небось и не понимают и не любят кино так, как я его понимаю и люблю». Думы такие думаю и не замечаю, как слезы горючие забрызгали на паркет. Комиссия совсем ожила, а я маму жалею за то, что ее дочка так позорно влипла со своей мечтой. Но вросла в пол, как гвоздь. Уйти — не уйду! И что дальше делать, не знаю.

— Ты чего ревешь, кума?! А ну перестань! — громко потребовал седой, красивый дядько. — Ты куда приехала? Поступать в высшее учебное заведение! И не подготовилась.

— Девушка, — активно пришла на помощь та же самая преподавательница, — вот вы приехали издалека и не подготовились. А как же нам выяснить, есть ли у вас актерские способности или нет? Вы лучше не плачьте, посидите, успокойтесь. — Она указала на табуретку. — Успокойтесь и подумайте, может быть, вы просто расскажете какой-нибудь случай из вашей жизни, смешной или грустный, что-нибудь интересное, замеченное вами когда-нибудь.

Я села как потерянная, в безнадежности, пустая. Следом входит здоровенный малый и как заорет: «Любить иль проклинать?» Пальцы переплел — и руки вперед, голову повыше задрал.

— Достаточно, — вежливо и сухо говорит женщина.

Но парень продолжает. Я смотрю: ну ведь хорошо же говорит, «по-артистически». Седой педагог встал и поднял ладонь. Парень стукнул каблуками туфель и резко поклонился.

— Достаточно, — хмуро сказал седой. — Я же вас не допустил к третьему туру.

— Я был несобран, — отчеканил парень.

— Идите…

Парень вышел.

— Я спою романс, — с мольбой влетела девушка.

— Не надо, — попросил ее седой дяденька.

— Тогда из «Радуги»…

— Из «Радуги» мы уже слышали.

И вот этих трех минут передышки мне хватило, чтобы перейти из одного состояния в другое. Молотки застучали в голове, в ушах, в душе, и будто горячим паром обдало все лицо, и комок теста ушел — наступило озарение в полном смысле этого слова. Я уже не слышала, как отбрыкивалась та девушка, во мне зажил дядя Пава, дед с улицы Красной, другие, Кубань… Ой, как там много было людей! Какие они мне все родные, как нужны сейчас! Не знаю, какая высшая сила убедила меня в том, чтобы я увидела спасение в людях, в случаях из своей жизни, в своей Кубани… Тут уж я знала: не пропаду.

Я же из них, из тех, где побасенка на побасенке сидит и побасенкой погоняет. У нас с этим делом хорошо обстоит: где чего присочинить, прибрехнуть — пожалуйста, «фольклор» идет вовсю, под орех разделают любого. Да что далеко ходить! Помню, как в начале войны упала первая бомба под Ейском, и уже утром одна тетка ходила по хаткам и сообщала:

— А я ище вчера знала, шо он бонбу кинить…

— Как это?

— Я вчера, як билье на лимане полоскала, глядь, он летит. Я на него посмотрела, и он на меня посмотрел… Ото он и кинул…

Такие случаи можно вспоминать до утра, чем мы, кстати, и занимаемся, когда собираемся своим кругом. Я тоже была заражена этим вирусом всякого сочинительства и фантазерства. И когда мне московские профессора предложили рассказать случай из жизни, так я кинулась рассказывать, что было и чего не было, в такой раж вошла, что аж «тырса полетела». Они уже все покотом покатились, платочками слезы вытирают от смеха, а я наяриваю еще больше: чувствую, на золотую жилу напала. Седой, красивый дяденька стал красный как рак, не то смеется, не то плачет:

— Достаточно, девушка, достаточно!

— Нет! — крикнула я. — Я еще петь буду…

— Петь не надо! — взвизгнул седой.

Но куда там! Разве меня остановишь? Я уже как танк пошла на них. Думаю, пускай хоть полопаются, буду выступать столько, сколько сочту нужным. И, заложив руки за спину, стала с душою, со слезою петь украинские песни о любви — то из оперы «Наталка-Полтавка» (когда-то по радио чего-то ухватила), то кубанские. И чем больше я вдохновляюсь и «выдаю вокал», задрав голову, тем сильнее они смеются. И вот, напевшись досыта, навыступавшись как следует, я в полубессознательном состоянии вывалилась в коридор.

А поздно вечером повесили список принятых на конкурс, где среди этих счастливчиков сверкнула и моя фамилия. Меня потом подозвали и велели выучить какую-нибудь басню.

Явилась я ночевать на вокзал. Общий ужин, рассказы разные. А я свернулась клубком, зажала ладони коленями и стала лихорадочно думать о том, как воспользуюсь утром одним адресом и билетиком на метро, который мне дал парень в поезде. Было воскресенье. Но зачем этот билетик? Мне сейчас не до картин: я тогда думала, что метро — это для просмотра каких-то портретов, а не средство передвижения. Сосредоточилась и вспомнила: войдешь в метро, доедешь до остановки «Арбат», и там рукой подать — Николо-Песковский переулок, дом пять, квартира пять, Володя Мордвинов… Как нарочно, опять Мордвинов.

Прихожу к ним. Мать как-то назвала отца, не помню, и громко восхищается:

— Ты посмотри, какая загорелая девушка! Проходите. Володя сейчас придет.

Я вошла: ничего особенного в доме. Появился Володя, сели обедать. И басню дал, и в сумерках повел меня по бульвару к метро, намекая молча, что отношение его ко мне особенное. А я и так вытягивала в себе чувства к нему, и эдак — не вышло.

— Я вот сейчас у родственников перепишу и завтра принесу книгу.

— Если только из-за книги, то не обязательно, можешь взять ее себе.

— Принесу…

Какое счастье — двери сомкнулись, и я опять на свободе. Переписала басню да и решила рано утром отнести. Володя упросил меня остаться, посидеть в пустой комнате и выучить басню. Родители его ушли на работу, он — на консультацию в институт. Я согласилась. Учила я, учила, хлеба без спросу отрезала, съела, потом сушеные яблоки. Ну никак не приглянулся мне этот «Волк на псарне»… Положила ключик, куда велели, и была такова.

Через много лет после выступления в МИДе ко мне подошел Володя. Я его узнала, несмотря на то, каким «респектебл мэн» он стал. Все у него нормально: семья, квартира, машина, как и должно быть. Но это так, к слову.

И вот прихожу восьмого сентября на конкурс. Толпа гуще прежнего. Когда подошла моя очередь, я не узнала комиссию: тех-то я уговорила, а где они теперь? Блестит лысина С. А. Герасимова, палка костяная стоит возле какой-то серьезной дамы с пучком. О-о, начинается… Насмешки… Шепчутся…

Радуются… Какие те были хорошие, а эти…

— Ну, что будем читать? — блеснул зубами Герасимов.

— «Волк на псарне», — сказала я.

А где ж тот седой красавец? А, вот и он…

— Ну-с, давайте «Волк на псарне», — как ребенок, чему-то обрадовался Герасимов.

Я глянула в окно с каким-то отвращением: читать басню не было никакого желания. Потом все же поволокла.

— «Волк ночью, думая залезть в овчарню, попал на псарню…»

Посмотрела опять в окно.

— Стоп! — крикнул Герасимов. — Не надо басню. Расскажите лучше про ботинки дяди.

«А он откуда знает?» — мелькнуло у меня. Я не рассказала, а пересказала вчерашнее. Получилось вяло и скучно — не было того прекрасного сочинения на ходу, нерва, счастья…

Пауза.

Герасимов призадумался и пригласил девушку из коридора.

— Представьте себе, что вы едете в поезде и вам надо познакомиться.

Что-что? Как это? Ой, как интересно!.. Интересно…

За этюд поставили пять с плюсом: я перевоплотилась в пассажирку как надо. Мне опять было хорошо, жарко, сердце тарахтело в ушах… И-и… покатила я в загородное общежитие на станции Лосиноостровская. Все думала: «Недаром меня в детстве называли артисткой и подруги, и родственники».

Правда, мои актерские наклонности прибавляли хлопот моим бедным учителям, потому что класс рассмешить или с уроков всех сагитировать уйти — тут уж я была на первом месте. Что же касается математики, физики, химии, то это для меня было лишь обозначением урока, и больше ничем. В этой же школе учились мои братья и сестры, и им всегда за малейшую провинность учителя, назидательно грозя пальцем, говорили: «Ты что, хочешь быть как твоя старшая сестра?»

Аттестат зрелости я все-таки получила. Но как?! Всегда в трудную минуту добрые люди найдутся, живой обмен — великая сила для школы. Ольга Пастухова все за меня решила, а я ей сочинение написала на пятерку… Получила я, значит, аттестат — и все, уехала. Забыли обо мне. И вдруг проходит четыре года, на экране «Молодая гвардия», и злополучная старшая сестра исполняет в ней роль Ульяны Громовой. К тому времени пошла в школу моя самая младшая сестричка, и ей, точно так же грозя пальцем, учителя стали говорить: «Бери пример с твоей старшей сестры!» Потом мою фотографию повесили среди лучших людей школы, а следом я там и в отличниках повисела. Но вот в

Институте кинематографии я уже была натуральной отличницей. Уж как я старалась, как мне нравились все специальные занятия! Я горела вся. Был, правда, инцидент один, грозились исключить за неуспеваемость по общеобразовательным предметам, но, правда, обошлось. Однако об этом позже…

На каждом худсовете хвалили по спецпредметам, и до меня доходили результаты педсоветов: «Такая девушка талантливая, приехала с Кубани, правда, еще не отесанная какая-то… Вот она поучится, наберется культуры, образования, из нее может получиться хорошая актриса». А я стараюсь еще пуще.

Вообще время учебы можно было бы вспоминать как сказку, если б не одно «но». Это наше, будь оно неладно, «материальное благосостояние». Как-то так получилось, что тех девочек на стеклянных каблуках не приняли. Каблуки да туалеты заграничные были, а вот чего-то другого за душой не оказалось. И набрали нас полный институт одних голодранцев. Одежда у нас была «веселая»: у кого пальто из солдатской шинели, у кого телогреечка. И вообще много аксессуаров военного обмундирования: планшеты кирзовые вместо портфелей, шапки-ушанки с вмятиной от звездочки, котелки, ботинки солдатские. Все это приобретали по толкучкам.

У меня было пальто из морской шинели, мама сама сшила, а вот на подкладку «духу» не хватило. Так я и ходила, мерзла, пока Татьяна Лиознова не пригласила к себе в гости. Я уже собралась от них на электричку, когда ее мама протянула мне телогрейку, мы с Татьяной с трудом впихнули ее в мое пальто, и я, хоть тогда молодая и худая была, все же едва влезла в это сооружение. Застегнули пуговицы, умяли все как надо, и я поехала в общежитие. Как барыня ехала — тепло, непродуваемо. Так я и ходила в институт. Правда, руки немного не опускались и не сгибались, как у тряпичной куклы, — так все было утрамбовано, зато тепло. Некоторое время, честно признаюсь, избегала встреч с подругой: насовсем дали телогрейку, думала я, или на один вечер? Татьяна потом хохотала от души, узнав о моих опасениях.

А тут еще голод… Есть хотелось все время, и сильно.

Бывало, и во сне еда снилась, просто хлеб, а глаза откроешь — кроме инея на стенах (общежитие не отапливалось), ничего. И все же молодость может многое выдержать. Да и заложено в нас, видать, было немало. Помню, как до войны люди стали жить хорошо. Были же и оладушки со сметаной, и овощи, и фрукты. Вот это набранное в детстве и юности мы и расходовали, всё согласны были перенести ради волшебных слов «мастерство киноактера»…

Перешли мы на второй курс, и вдруг институт буквально

охватила паника: будет сниматься фильм «Молодая гвардия», и не просто сниматься, а все роли там будут исполнять студенты. Как тревожно и ревниво забились наши сердца! Как нам всем хотелось попасть в этот фильм, ведь мы же сами были дети войны.

Затаились, ждем: кому же выпадет такое счастье? И вот когда С. А. Герасимов, режиссер фильма, и А. А. Фадеев стали выбирать студентов на роли молодогвардейцев, то решили не игнорировать внешнее сходство с героями. Я тогда, говорят, была очень похожа на Ульяну Громову, и меня взяли.

С тех пор прошло много лет. Было много картин, ролей, но «Молодая гвардия» осталась самой дорогой, как родная сестра, — это была наша путевка в творческую жизнь. Конечно, артисты мы были еще «зеленые», профессионализма у нас было маловато, но живая история войны, увиденная собственными глазами, атмосфера Краснодона, куда мы приехали на четыре месяца и где нас приняли со всей душой, — все это создало вокруг нас такую обстановку, которая исключала всякую фальшь.

Краснодон

Да, приласкал нас Краснодон, который все еще был городом обшарпанным, разбитым, как и многие села и города в то время.

Шуму, шуму-то! Слишком торжественно получилось с нашим приездом. Все — и пионеры с горнами, и жители, и родители погибших молодогвардейцев — были несказанно рады нашему появлению, как будто можно было чем-то помочь их горю.

А может, потому нас так встречали, что человеку вообще свойственно отвлекаться от тяжелых дум и дел и направлять свой интерес к происходящему, к тому, что наступает новый день.

Расселились в школе, которая с начала лета уже не работала, на общежитский манер. Детвора местная тащила нам все, что под руку попадется — кто тазик, кто рукомойник. Часто потом вспоминала о таком усердии: что это? Почему детвора так яростно помогает и служит? Услужливость ли, угодничество или просто широта души?

— Вот бы лавочку у ворот… — размечтался кто-то.

— Сейчас! — кричит какой-нибудь пацан.

Нет, это не лакейство. Интересно ведь: кино будут снимать! Артисты приехали!

На следующий день Герасимов решил устроить чай, пригласив на него и родителей погибших молодогвардейцев. Выбрали самую большую комнату, разложили на столе бублики, карамельки. Ждем-поджидаем. Все родители в сборе, нет лишь

матери Сергея Тюленина. Наконец вкатывается этакий краснощекий шарик, старушка пухленькая лет шестидесяти пяти. Ямочки на щеках — ну, кажется, сама доброта! Но не тут-то было! Не поздоровавшись, она подошла к столу, хлопнула по нему маленькой, но сильной ладошкой и, обведя взглядом всех сидящих, с ликованием заявила Герасимову:

— Ну вот что, дорогие наши гости, и вы, их главный начальник, я дойду до Молотова, до Сталина, и эту всю вашу лавочку прикроют!

— ?!!

— Этот, понимаете, приехал и черт-те чего написал! В нем еще надо разобраться.

Бедные земляки мяли платочки в руках, сгорая от стыда за свою «подружку».

— Извольте, извольте, — говорит Герасимов, — создавать фильм мы будем вместе…

— Да не «извольте»! Врать не надо! Ну что это такое? Приехал и накорябал что хотел. К примеру, Сережка любил Вальку Борц. Да на черта они нам сдались, эти Борцы!

— Ну, знаете, — возразил Герасимов, — родители ведь многого не знают о своих детях. А вы присаживайтесь.

Она деловито села, налила себе чаю и, прихлебывая из чашки, стала оглядывать всех: какова же реакция? Но все спокойно пьют чай. Старушка же распалилась еще больше:

— Пишет, что Сережка босый бегал. Да у него боты были! Босый! Так можно написать чего хочешь. Что ж, я такая неаккуратная тюхтя, что с чугунами вожусь? Да у меня и кастрюль полно!

— Разберемся, разберемся, — пытался унять ее Герасимов. — Что-то будем менять и добавлять на месте.

— А что Кошевого взяли и сделали главным, когда Сережка-то главный? Значит, вспомнили ему, как коммунхоз его ругал, что кошек развел целый чердак! А Ленка Кошевая сама сдала дом немцам, понимаете, сама! Какая умная, в сарай перебралась! Нате-ка, дорогие немчушки, живите в нашем доме.

— Позвольте, — Сергей Аполлинариевич поднял палец, — в этом ваше незнание. Это не подлежит обсуждению.

Она затихла, допила чай и, уходя, низко поклонилась, все же бросив на прощание:

— Небось у нас на шанхайчиках немцы не жили, им наши мазанки не подходили. Прощевайте!

Дверь закрылась, и все с облегчением вздохнули. Пошел вежливый, невеселый разговор о том, что все родители должны нам по возможности помочь с деталями, упущенными писателем,

а упущения эти есть, поскольку Фадеев не сразу после отхода немцев появился в этих краях, а приехал позже по рекомендации ЦК комсомола.

На другой день надо было идти в дома тех родителей, детей которых нам предстояло играть. И я поутру побежала в хутор Первомайский к реке Каменке, где мне указали домик Громовых. Постучала и вошла. Вытянувшись, как перед смертью, мать Ульяны лежала, слившись с кроватью, и, видно, не поднималась она уже давно. «Вот, вот она, — подумала я. — Это Уля, только в возрасте и больная». Какое иконописное лицо, длинная шея и большие черные шары-зрачки. Уля, конечно, взяла у нее более смягченный вариант.

Отец засуетился, стал угощать сорванными с грядки огурцами с пупырышками. Он ладонями протер огурцы, еще затуманенные утренней росой, и подал мне:

— На, Ульяша наша, ешь!

Отец был высокий, стройный, с пшеничными усами и зеленовато-серыми глазами.

— Борщику налей, что ты студентам огурцы, — слабо улыбнулась мать.

Пока они готовили на стол, я попросила разрешения войти в Улину комнату. С первого взгляда она показалась мне нежилой: уж так все сложено и прибрано, как при живом человеке не бывает. Руками боязно дотрагиваться — ведь это комнатка-музей. Глаза схватывают вышивку, книги, все, чем она жила.

— А цветы, видишь, это их еще Ульяша сажала… Многолетние, — пояснил отец.

Я подошла к окошку и увидела в палисаднике беспорядочно растущие «панычи», «чернобривчики», «ротики» (львиный зев). Что-то заставило екнуть мое сердце.

Сели обедать. Мать еще раз улыбнулась какой-то, мне показалось, снисходительной улыбкой.

— Тебя, девушка, хорошо подобрали на роль Ульяши, только ты очень смуглая, а Ульяша была белотелая. Скажи там, чтоб тебя подгримировали.

— Конечно, скажу…

Отец исчез куда-то, мы с мамой Ули сидели, говорили, вскоре он появился в дверях и отдал честь:

— Готово!

— Зеленцы положи разной.

— Все сделано для людей! — важно ответил отец.

— Ну, до свидания!

— Забегай!

— Забегу. Куда я денусь? Возле вашей же хаты будем

снимать.

Я вышла, остановилась у палисадника Ульяны и попросила нарвать цветов, маленький букетик. Отец Ульяны наклонился и своей громадной лапищей рабочего человека неуклюже вырвал цветы вместе с землей на корешках.

— На, на тумбочку поставишь, вспоминать будешь.

Мы пошли. Солнце уже садилось. Терриконы шахт были особенно черны и напоминали мне место гибели молодогвардейцев. Сразу вспомнилась шахта 5-бис, куда их бросили.

— А ты больно сурьезную ее не делай, как в романе, — сказал отец Ули. — Ульяша больше на меня походила натурой. Как она любила скакать, хлебом не корми. Значит, с сундука на комод, с комода на стол и так далее. Любила петь, стишки читать, в хате убирать, а главное — всё книги, книги. Мать злилась на нас: как сядем обедать, так я дочке моргну, и… понеслась, смеется до коликов, а мать вроде бы недовольна. «О, смалился!» А сама рада, что семья в сборе. «Испугались мы ее, мамку нашу!» — переглядываемся мы с Ульяшей… Я, Нонка, знаешь какой в молодости был? Маманя Ульяши гордая — не свернешь, а я тоже ей медного пятака никогда не дал, когда еще ухаживал. Она — павой, а я тоже гвардейский солдат. Поняла?

— Поняла, — отвечаю.

— Вот и ваши. Уже где-то надыбали футбольную сетку.

— Это волейбол, — поправила я.

— А, волейбол! Ну, нехай будет так. — Он поставил на землю кошелку с гостинцами и стал смотреть волейбол. — А ты уж тут, красавица, — сказал, увидав Тюлениху.

— Как видишь!

Кто-то уже задыхался от смеха, предвкушая зрелище, — судя по всему, они не раз пререкались.

— Чего ты тут разоряешься, старуха?

— Никакая я тебе не старуха! — Она подняла кулачок в небо и крикнула: — Я вот одиннадцать человек родила, девять выходила, и шесть живых. Да я еще баба фьи-ить! — И топнула ногой.

Кто-то громко засмеялся.

— Что «ха-ха», что «ха-ха»? Да если б я училась, я б давно Крупская была!

Я попрощалась с отцом Ульяны и, подхватив кошелочку, пошла угощать своих товарок гостинцами и рассказами.

Сергей Гурзо, исполнявший роль Сергея Тюленина, остался жить в семье Тюлениных. Я частенько видела согнутую фигуру Тюленина-шахтера и Сергея Гурзо, когда они вместе

сумерничали. Отец Сергея Тюленина был сильно покалеченный — на него упала вагонетка с углем.

— Ты, сынок, не слухай своего начальника — обязательно на ноги какую-нибудь обувку надень. Ну, как это в кино босым?.. Ты лучше помой полы при их. Сережа любил, то есть не любил, но помогал мыть полы. А Кошевой, детка, белоручка — всё книжки да тетрадки. Отличник, одним словом, передовик. Но это ж не значит, что мой Сережка не отличник. Зато дрался с немцами на «отлично», понял? — говорил он.

Рынок был нашим любимым пятачком. Помню, как Бондарчук «Казбек» свой продает, вместо него «Беломор» покупает, а за остаток — хлеба. А мы, бывало, свой хлеб продавали, а покупали ряженку или мед.

Однажды пошли гулять по парку. Гулька Мгеладзе, исполнявший роль Жоры Арутюняна, нечаянно толкнул одного молодого шахтера. А тот парень и так давно мечтал, как и все местные, «познакомиться» с нашими, чтоб те девчат краснодонских не отбивали. Их, конечно же, никто не отбивал, но на всякий случай шахтер при всех ухватил Гульку за ухо и стал его крутить.

— Ой-ой-ой! — приседая, взмолился Гулька. — Не отрывай, как же я завтра буду сниматься?

— То-то же, — сказал шахтер и отпустил ухо.

— Спасибо, милый человек! — Гулька был с юмором.

А теперь о моей Ульяне. Я старалась услышать о ней как можно больше. И уже знала: это была девушка, которая, начитавшись книг и стихов, была неподдельным романтиком. Это ее главная черта.

Запомнилась такая история.

Как-то один полицай, обедая дома, рассказал жене, а та потом всем соседушкам разнесла, как Уля вела себя на допросах. «И что ей, этой Ульке, надо: как начинают ее бить, сразу становится как царица — руки назад, голову кверху. Выпендривается… Такие муки, а ей все поза».

Любимой ее книгой был «Овод», знала наизусть много стихов А. С. Пушкина.

В романе хорошо описан образ Ульяны Громовой. Но, к моему творческому удовлетворению, А. А. Фадеев, присутствовавший на одном из просмотров, обращаясь к Герасимову, громко при всех сказал:

— Сережа, если б ты меня раньше познакомил с Мордюковой, я бы лучше написал этот образ.

Да, уж как я старалась! Я делала Ульяну романтической натурой, начиная с первой сцены с лилией у реки и кончая

гибелью, когда ее, как и всех, сбросили в шахту.

Когда наши войска вошли в Краснодон, первым делом кинулись вытаскивать молодогвардейцев. Но Ульяны Громовой и Сергея Тюленина среди них не оказалось.

Родители вздохнули с надеждой, но потом тела их детей нашли в стороне. Значит, они были еще какое-то время живы и, помогая друг другу, отползли от центра шурфа.

Когда заговорили о том, что там, на глубине, в шахте образовался смертельный газ и что человеку туда спускаться опасно, одна из матерей решительно заявила: «Газу я никакого не боюсь! Помру — так за детей наших. Я полезу!» Ее обвязали веревками и, спуская вниз, все кричали ей: «Вер!» — «Ай!» или «Ой!» — отвечала та бодро, и на самом дне вдруг замолчала. «Вера!» — а Вера не от газа, а оттого, что стоит на груде тел, поперхнулась. Газа не оказалось: видно, где-то хорошо сквозило. Потом она по одному, поддерживая под мышками, стала вытаскивать тела погибших. Два дня вытаскивали. Узнать никого было нельзя, только по остаткам одежды угадывали своего…

Сейчас в Краснодоне стоит величественный памятник погибшим молодогвардейцам. Думаю, и фильм наш — тоже памятник, и не только героям Краснодона, но и всей молодежи, героически сражавшейся и погибшей во время войны…

Вместе с С. А. Герасимовым мы обошли в Краснодоне и его окрестностях все памятные места. Вот балка, где расстреливали коммунистов, вот школа имени Горького, где учились молодогвардейцы, вот их музей. Кстати, и тут Тюлениха «воеводила». Встанет на зорьке у входа, зная, что скоро пойдут потоком в музей пионеры, курсанты военных училищ, студенты. Она им в пояс поклонится и говорит:

— Вот вы пришли в музей. А какой тут музей? Володька Осьмухин вырастил огурец в бутылке — что тут такого?! В бутылке что хочешь вырастить можно. А Кошевая Ленка, как с мужем разошлась, так сделалась общественницей — куда тебе! Кошевого сделали главным, а главный-то Сережка, поняли?

Но ее «номера» давно уже не звучали, потому что еще при входе или въезде в Краснодон о ней говорили заранее как об одной из «достопримечательностей» города.

Как-то раз поехали на «Любкино» место. Это не шутейное место: бывшую шахту за ненадобностью залили водой — направили туда речушку, которая и затопила ее. Один берег получился нормальный, пляжный, а другой — обрыв высотой примерно с дом. Уж такой маленькой казалась Инна Макарова, когда забралась туда, — она решила прыгнуть с обрыва, как когда-то любила это делать Любка Шевцова. Первое время мы

сочувствовали ей: ведь на самом деле страшно, — но потом нам надоело ждать, когда же она прыгнет. Во мне взыграло тщеславие, и я решила переплюнуть подругу. Когда Инна наконец прыгнула, я быстренько поднялась на этот великан-обрыв и, едва дойдя до края, тут же бросилась вниз. Подумаешь, ее сорок минут ждали, пока прыгнет! Вот как надо! Я чуть не потеряла сознание от страха, прыгнув, как и Инна, солдатиком. С такой высоты «солдатик» глубоко врезался в воду, очень глубоко: едва дыхания хватило, чтоб выплыть на поверхность…

Наверно, и Тюлениху обуяло чувство первенства, потому она теперь, как родительница, и пыталась сделаться главней всех. Она ходила на все просмотры отснятого материала, который мы обычно смотрели после вечернего сеанса в кинотеатре.

Сидим, ждем, пока механик зарядит пленку. Вдруг шепоток: «Тюлениха идет, Тюлениха».

— Гек-хе-е! — кашляет она и, сложив на животе маленькие руки, садится в первый ряд, где хуже всего видно. И на тебе: на экране во дворе умывается по пояс голый Сергей Гурзо, а на дальнем плане Герасимов для оживления кадра поставил девочку, чтобы та кормила кур. Мы ее не разглядели, а Тюлениха, развернувшись боком, строго обращается к Герасимову:

— Ну вот, Сергей Аполлинариевич, опять же брехня! Галки ж тогда не было. Вырвать Галку с экрана!

Но если бы не было вот такой Тюленихи, наверно, не было бы и того впечатления о жителях Краснодона, которое сложилось у нас. Когда мы уезжали оттуда, рыдали все — и мы, и они, и даже Тюлениха. Экспедиция длилась долго, и мать Сергея Тюленина в конце концов перешла на сторону тех, кто помогал картине. А помощников было много: в это время, например, были в Краснодоне и Валя Борц, и Жора Арутюнянц, и Радик Юркин — оставшиеся в живых молодогвардейцы.

Актерская профессия

Набрали нас, значит, в Институт кинематографии на разные факультеты, много народу, а на актерский больше всех: первый семестр испытательный, и неминуемо должен быть отсев, который даже как бы и запланирован. Но я почему-то и в ус не дула, ни на секунду не задумываясь о своей персоне как временной в этих стенах. Нет, я-то навсегда поступила сюда, это другие пусть как хотят. И мертвой хваткой вцепилась в мастерство киноактера, танец, акробатику, пантомиму, пение и художественное слово. А вот общеобразовательные предметы — история театра, кино, политэкономия, история литературы,

история искусств — мне были абсолютно не по вкусу, в итоге нахватала двоек да еще и Ольге Ивановне Пыжовой сказала: «Я марксизм не люблю». — «Сначала надо его знать, а потом уже любить или не любить!» — верно заметила она. Шесть двоек, ставится вопрос об исключении из института. Тут я не на шутку струхнула. Набрала в библиотеке мешок книг, поставила возле кровати стул, на него керосиновую лампу (общежитие без электричества). Но только две-три строчки прочитаю, как намертво вырубаюсь и сплю до восхода солнца. Что делать? Не могу заниматься вечерами, а их, этих книг, тома!..

Решили мне девчонки помочь, дали свои конспекты, чтобы я зубрила материал на лекциях. Тут собирают общефакультетское собрание о моем исключении. Полный зал студентов и преподавателей набился.

— Сыграла, видите ли, Катюшу Маслову, правда, хорошо. В самостоятельных отрывках — и всё! Богиня! Кинозвезда, знаменитость!

— Видели мы на своем веку много таких знаменитостей, которые надеялись на свой природный материал и, посвистывая, ходили тут. Где они? Только труд, беспокойство, знания, образование могут на основе природных данных сделать актера!

Я чуть не умерла на том собрании, но спать все-таки спала как убитая и утром сдала зачет по истории театра. Кое-что взяла из конспектов, что-то из шпаргалок, но многое ответил за меня сам педагог, который меня любил и жалел за то, что я без карточек живу. А как же? Карточки на хлеб давали только тем, кто учился без двоек. Ох, и перебивалась же я первый семестр! Но маме ни слова. И вот с горем пополам сдаю во втором семестре все общеобразовательные на три, а тут подползает время сдачи основного предмета — мастерство киноактера. Сдаю на пятерки специальные предметы. Борис Владимирович Бибиков, наш профессор, спрашивает на каждом уроке по мастерству:

— Мордюкова, когда же ты покажешь свой самостоятельный отрывок?

— Мы еще не готовы, — бурчу я.

— Что? Не готовы?! А как это вы до сих пор не готовы? Ну-ка марш на площадку, надевай костюм Катерины.

У нас с Юрой Рудаковым был отрывок из «Грозы» А. Н. Островского. Я репетировала Катерину, он — Бориса.

Трясущимися руками надеваю на себя платье, набрасываю шаль на плечи и вижу белого, как мел, уже переодетого Юрку. Исполнялась сцена прощания Катерины с Борисом.

Как только я вышла на площадку и поискала глазами своего Бориса, он подскочил и обнял меня: «Катя!» И тут я разрыдалась

горячо, страстно, словно от настоящей обиды, с этими рыданиями стала произносить все слова из Островского. Потом отстранилась от моего партнера и побрела от него как безумная. Стала теребить штепсель, стараясь говорить спокойно и внятно, а слезы вселились и брызгали на подоконник. Кончиком платка пыталась вытирать их до сухоты. Я почувствовала соучастие сидящих в аудитории людей и стала «сокращать» слезы, бороться с ними. Достаточно, решила я, теперь надо переходить к «игре». И, пожалев Юрку за то, что такой бледный, и за то, что ему тоже тяжело, проникновенно, сухими липкими губами пожелала ему всего хорошего, с наслаждением произнесла оставшийся текст прощания. Потом, оставшись одна, докончила сцену: «Куда теперь? Домой? Нет, лучше в могилу, чем домой!» Это я спросила прямо сидящих передо мной людей и им же объяснила, что в могиле лучше, чем дома. К концу монолога мне опять вспомнился унижающий окрик Ольги Ивановны, и я опять залилась горючими слезами…

Раздались аплодисменты, чего не разрешалось делать на занятиях. Я — скорее за ширму раздеваться, чтоб успеть со всеми на электричку. В электричке все галдели кто о чем, молчала только я. Смотрела в пол и думала: «Как я их лихо обдурила, что ж они за профессора такие?! Я же плакала не от имени Катерины, а от обиды, оттого что Ольга Ивановна унизила меня: “Поезжайка ты, матушка, в колхоз. Из тебя выйдет хороший председатель”. Ну разве не обидно было это слышать? Разве могла я вернуться в колхоз выгнанной? Вот отчего я рыдала, а не от их обучений и репетиций».

Мне поставили жирнущую пятерку, но ведь это был всего лишь зачет. А экзамен? Экзамен — это когда завкафедрой актерского мастерства приходит, все педагоги по спецпредметам, студенты старших курсов, когда все обставляется более помпезно.

Нам, как в награду, оставили отрывок из «Грозы», его же выставили и на экзамен.

Лысина С. А. Герасимова пугала всех — и талантливых, и неталантливых. В общем, набилось народу уйма, и все солидные. Где-то в середине экзамена Борис Владимирович объявляет: «“Гроза”, Катерина — Мордюкова, Борис — Рудаков. Начали!»

Выхожу с шалью на голове и произношу: «Где же, где же? Никого нет…» Надо бы уточнить текст пьесы — я все забыла. Внутри какая-то предательская пустота образовалась. И я, буркнув первую фразу, нырк за ширму. Выхожу второй раз. Тот же текст — и снова за ширму.

— В чем дело?! — спрашивает громко Борис Владимирович.

— Я еще не собралась, — отвечаю из-за ширмы.

И вдруг Борис Владимирович как закричит:

— Матушка! Собираются в баню, а ты находишься на экзаменах в высшем учебном заведении! Здесь сидят взрослые люди, теряют время, а она, видите ли, не собралась!

И тут, откуда это взялось, мне так стало жаль себя, что я взмолилась в душе: да что ж это за учеба! Они же ненавидят меня, не-на-ви-дят. Зачем я им?

Выхожу. Стою молча, не тороплюсь, потому что слышу — подкатывают тяжкие рыдания. Гляжу на Герасимова, на них на всех: ну и выгоняйте, без вас обойдусь! И… пошло! Произношу текст Островского: «Где же?.. Никого нет», а сама думаю: ничего, вы еще пожалеете и вспомните обо мне. И с каким же азартом и трепетом мы исполнили эту сцену! Юрка тоже заразился и тоже жалел меня, как близкий, дорогой человек. Когда он ушел со сцены, я прямо к ним с вопросами: «Куда теперь? Домой? Или в могилу?..» и т. д. Добавлялся сарказм, ноты прощания и горькие-прегорькие слезы.

— Ах! — ахнула я не по тексту: мне хотелось еще что-то сказать, но я ушла за ширму.

— Мо-лод-чина! — как-то по-барски произнес Борис Владимирович.

«Молодчина?» — думала я, расстегивая сотню пуговичек на старинном костюме.

Опять было все то же, только я не побежала на электричку: умывшись холодной водой, еще всхлипывая, осталась за ширмой и стала в щелочку наблюдать, как другие играли. Был уговор остаться всем и дождаться конца заседания художественного совета.

— Тебе, Мордюкова, конечно, пять, — сказал кто-то.

А я почувствовала желание сыграть весь спектакль — так была зацеплена трагедией Катерины. Но, может, тут было и другое: наверное, не хотела согласиться с тем, что еще больше маститых практиков и теоретиков обмануто мною, — я же плакала опять не как Катерина, а как Нонна Мордюкова, жалеючи себя.

Что касается одной из красок в нашем поведении на сцене и на съемочной площадке — истинно плакать, истинно страдать, биологически быть невменяемой, — вот это и есть педагогический ход: любыми путями указать на то место, где должно быть больно и обидно. Пусть будешь сначала плакать не по поводу сцены, но доведи себя до рева, до драмы, до истинной трагедии, а там уж и научишься на это разгоревшееся место накладывать нужный текст. Нетрудно это состояние переместить в действие, а там уж и вера в то, что делаешь, и реакция публики,

и знание материала — все распалит предложенную тебе драматическую ситуацию.

Вспоминается, что в «Воскресении», где я играла Катюшу Маслову, ну никак не шла сцена истерического смеха и опьянения во втором свидании Катюши с Нехлюдовым. Однако Б. В. Бибиков и О. И. Пыжова, не видя ни разу добротности в нашей игре, все же пустили нас на госэкзамен. Чуть ниже я скажу, зачем они это сделали. Ну, первое свидание попроще: она, Катюша, забыла барина, потом вспомнила. И — никаких страданий. Лишь по богатой одежде Нехлюдова поняла, что может выудить у него десять рублей на водку. И таки получила свое, не вникая в его планы об адвокате. Она вся уже мысленно была там, у своих товарок. Но вот вторая сцена, пьяная, разгульная…

Нехлюдова играл совсем не подходящий для этой роли актер — парень, только что вернувшийся с фронта. Носить тогда было нечего, потому вид у него был довольно потрепанный: свитер с дыркой, галифе, сапоги (костюма для Нехлюдова не нашлось). Испуганные глаза, сухие губы, острый кадык, который на его молодой шее ходил туда-сюда. Я подняла голову (он стоял, а я сидела) и стала внимательно разглядывать его всего: кирзовые сапоги, дырка, сколотая английской булавкой, и… как заржала! До истерики дошла от несоответствия его вида и происхождения с образом того, толстовского Нехлюдова. И вот через слезы и хохот я говорила все, что положено. Партнер испугался моего вида — он меня никогда такой не видел. И я еще сильнее расхохоталась при мысли, что он ждет, что нас вот-вот остановят, прекратят отрывок. Я вконец расхорошилась и без задуманного ранее плана вышла, попрощавшись, заорав под конец пьяным голосом какую-то песню.

А вот если б был настоящий Нехлюдов да при костюме должном, может быть, и не нашла бы, за что зацепиться…

Наутро, конечно, выискались люди, которые сочинили басню о том, что я выпила водки и так натурально сыграла пьяную.

Как мне много напортили некоторые. У меня ведь был золотой характер. Я была трудолюбивая, компанейская, хлебосольная. Да и закон у нас в станице был один неписаный: хорошо работаешь — значит, молодец, значит, наш! А в искусстве… извините! Хорошо сыграешь — от этого не очень хорошо другим. Стала я огрызаться, обижаться, резать правду-матку по принципу: сам дурак.

И все же я беззаветно люблю свою профессию. Я знаю, кому она служит и зачем. И те, кому я неугодна со своим трудолюбием, фантазией, сочинительством, умением даже переписывать и дописывать эпизоды, лишь доставляют мне удовольствие понять,

что их очень мало. А понимающих меня — миллионы! Я уже опытная и не могу счесть такое заявление нескромным…

Через много лет Швейцер запустил фильм «Воскресение». Звонит мне Софья Швейцер и просит сыграть на пробе Катюшу Маслову.

— Мы никому не покажем, а вот актрисам бы, претенденткам на роль, посмотреть, как надо играть, не помешало бы.

Я знала, что годы мои уже прошли, но с вечера загорелась, всю ночь не спала, все думала, как буду играть. А утром что-то больно стало на сердце — играть такую роль инкогнито? Да и сыграю ли, если это нужно лишь для доказательства моей возможности сыграть? Конечно, нет. Я позвонила Швейцерам и с огорчением отказалась от такой кинопробы.

Я не всеядна. Плохо это или хорошо, но это так.

Вот, к примеру, живет корень дерева. А что такое лист? Это посыльный корня для сбора света, дождя, углекислого газа и т. д. Листья выросли из корня. Когда же осенью корень укрепился для дальнейшей жизни, он листья сбрасывает, чтоб они не были его нахлебниками, а ему надо перезимовать, накопив силы.

Как ни хотелось бы сознавать собственную узость, но я сильная только там, где я посыльная от земли, от родины, от болей и радостей сегодняшней жизни, от людей, но людей не всех, а тех, которых люблю, притягательных для меня, к которым суждено мне быть привязанной. Я лист от корня, которому служу всей душой.

Пусть я отлечу когда-то, меня сменят по весне другие листья из моей породы.

Не берусь утверждать, что это правильно, но у меня есть моя тема. Играть люблю только те ситуации, где я когда-то вздрогнула, испугалась, исстрадалась, влюбилась.

Юмор — один из самых значительных инструментов в моей мастерской. Конечно, внешние данные — это очень важно для актрисы. И все же я не рвусь в другие амплуа, чтобы не быть не принятой зрителями. Я уже как-то говорила по телевидению, что не представляю себя загоревшейся от роли Екатерины II или Марии Стюарт. Эти личности для меня сугубо документальные, как картотека или справочник о тех жизнях и страстях. Но опять же я не уверена, что этот мой взгляд верный. Может быть, просто четко понимаю свои возможности, глядя на себя со стороны.

Ведь вы знаете, сколько земли живописец излазает, пока не выишет свой типаж — горн времени или событий. Долго ищет… А посмотрите, как принимают детей в балетную школу, как каждый суставчик прощупывают, даже маму разглядывают внимательно, выискивая в ней будущую фигуру девочки. Какие

конкурсы! Какие просмотры! А в кино и в театре стали небрежнее относиться к этому и довели актеров до некой усредненки. Посмотрите, как подлажены типажи в «Тихом Доне». Не надо бояться этого слова — это великое слово, «типажность». Вспомните «Машеньку» Ю. Я. Райзмана или его же «Коммуниста». Разве это не типажи, но типажи, еще и наполненные богатым нутром.

Я за то, чтобы в искусстве все было укрупнено, приподнято, чуть оторвано от земли для зова к лучшему. Не дело хвастаться натурализмом, который, по-моему, несет в себе неподвижность, застой, скуку. Поэтому самый ответственный момент в начале работы над фильмом — это найти верный камертон, найти поводыря — актера, несущего в себе жанровые особенности фильма.

Москва, Москва… Вспоминаю нашу непостижимую бытовую жизнь. Я уже говорила, что есть хотелось круглосуточно. Снилось, что ты дома, что-то жуешь, с жадностью набираешь каких-то пышек, а просыпаешься — пусто. Видишь только, как спят твои коллеги в одежде, в обуви, сверху накрытые матрацами. Пар изо рта такой, как будто курят. Общежитие топили стихийно — крашеными, оторванными от забора досками. Все собирались у огня в коридоре.

Да, первые послевоенные годы были ужасно тяжелые. Нам давали рабочую хлебную карточку. Хлеб весь мы тут же, в магазине, съедали до крошечки, а то и наперед брали. Вечно забирали хлеб на десять дней вперед. В программе было много так называемых движенческих предметов: акробатика, танец, ритмика, физкультура. Какая уж тут акробатика, когда одна кожа да кости! Педагоги гоняли нас в аптеку за гематогеном, но для этого тоже деньги были нужны. Стипендии хватало ровно на четыре дня, потому что, получив деньги, бежали на рынок и покупали у частников хлеб. Так вот несколько дней пируем — и хлеб, и картошка, — потом опять жди. И, как ни трудно было москвичам, все же им приходилось легче: мать извернется и что-нибудь даст своему дитяти. Помню счастливчиков москвичей, которые на переменке ели тушеную капусту из пол-литровых банок или пшенную кашу. Как тяжко было нам делать вид, что ничего особенного не происходит: едят, и пусть себе едят. Иногородним давали «стахановские», то есть талончик для покупки каши в столовой. Мама там, на Кубани, с пятью детьми перебивалась с хлеба на квас и изредка присылала кукурузной крупы.

Однажды ночью я проснулась и вскочила с постели, услышав,

что кто-то жует. Стоит у стола Светка Коновалова, смотрится в зеркало и жует.

— Что, что жуешь? — выпаливаю я. — Дай мне!

— Клейстер.

— Дай! — Я хватаю баночку из-под консервов, в ней сваренный крахмал для приклеивания фотографий — его делали ребята на операторском факультете. Светлана взяла у них, чтоб заклеить конверт, да вот увлеклась. В баночке торчала шепочка, виднелись капли чернил, ржавчины. Но мы съели весь клейстер.

А этот случай произошел однажды весной, когда все кругом цвело и благоухало. Общежитие наше находилось вблизи города Бабушкина. И вот, освободившись раненько, плетусь домой. Поднимаюсь на второй этаж в свою комнату и… что же я вижу: на окне лежит французская булка! Народу никого. Мне стало дурно, и я чуть не потеряла сознание. Рванулась к ней — только понюхать, глубоко вдохнуть запах белой муки и всего того, что используют при изготовлении такого сказочного продукта. Я же действительно хотела только понюхать, а сама стала быстро, безостановочно есть. Через минуту булки уже не было, а я, давясь икотой, побежала вниз, где стоял бак с водой. Напившись, вдруг почувствовала, как сама себе омерзительна. Сыта и противна… Что делать? Поднялась в комнату, укрылась с головой и заснула. Просыпаюсь и слышу трагический гомон, визг хозяйки булки. Снимаю одеяло с головы и говорю:

— Булку съела я…

Что тут было! Кончилось тем, что решили это дело на комсомольском собрании разбирать. И, как нарочно, в эту ночь пришла милиция и забрала хозяйку булки, которая, оказывается, была связана с действовавшей тогда в Москве воровской шайкой под названием «Черная кошка». Когда ее увели с вещами, была полночь. Все сразу забыли про мой поступок и стали с жадностью искать, не забыла ли она чего. Забыла. Хорошенький дамский кожаный портфель. В нем оказалась, наверно десятилетней давности, ржавая селедка с толстой спинкой. Вмиг мы ее поделили и съели без хлеба. Легли спать.

И вот тут мне снится ужасный сон, будто вся вода в водопроводе кончилась. Я бегу в деканат, вспомнив, что там еще стоит графин с водой, а декан говорит мне: «Нет, теперь воды никогда не будет!» — «Но в туалетах…» Вбегаю, а там вместо кранов пустые стены. Просыпаюсь, вскакиваю и мчусь вниз, к ведру, к баку — сухо. Тогда открываю первую попавшуюся комнату (внизу жили мальчики), надеваю чье-то пальто и в чулках бегу на улицу к водопроводу. Давлю всей силой на рычаг… и забила вода сильной, толстой струей, ударилась о

донышко ведра. Вода льется, а я в нетерпении черпаю ее ладонями и пью, пью. Заношу ведро прямо к нам и ставлю посреди комнаты. Ох, какой тут начался водопой!..

В одно из воскресений, когда общежитие заметно опустело, мы лежали с подружкой вдвоем и размышляли вслух, где бы раздобыть что-нибудь съестное. Полезли на чердак, нашли подушку, залитую керосином, стеклянный абажурчик, примитивный такой, конторский. Взяли ее грелку, мое праздничное платье — и на Тишинский рынок. Продали добро не сразу, но продали. Деньги — в портфель. Идем к чайной, знаем, что денег хватит только на один обед: мерзлая капуста, голубцы и чай, заваренный неизвестно чем. Но мы летим к своему знакомому счастью, туда, где нам будет тепло. И внезапно навстречу нам попадается дядька, который, показывая на портфель, говорит:

— Девки, портфель продаете?

Мы переглянулись и разом ответили: — Продаем.

— Сколько?

— Двадцать пять, — отвечаю я.

— Вот вам двадцать — и всё.

Он нахально двинул портфель под мышку и дал нам двадцать рублей. Мы обрадовались: ведь в итоге у нас сорок четыре рубля, а это уже обед и хлеб на ужин.

Садимся за свободный столик, заказали по деньгам, как надо. Вдруг к нам обращаются два демобилизованных военных:

— Можно, девушки, к вам?

— Можно, отчего ж нельзя.

Присаживаясь, один из них нарочно откинул полу шинели, чтобы был виден карман, туго набитый деньгами. Они стали заказывать и себе, и нам.

— Выпьете?

— Мы не пьем.

— Ну, сухонького.

На голодный желудок с жадностью выпили, как квас, по полстакана сухого. А это не квас… Подружка, смотрю, красная сидит, да и я вся таять начала от разливавшегося по телу тепла. Стали лялякать о том о сем, обедаем, и тут я вспоминаю, что те двадцать четыре рубля мы продали вместе с портфелем. «Тюрьма!» — пронеслось у меня в голове. Чем расплачиваться будем? Подружка моя разошлась, пытаюсь ей тихо сказать о деньгах, но она не слышит меня. Тогда с силой жму ее ногу. Подруга изумленно смотрит на меня, и я ей шепотом сообщаю о случившемся. Она вмиг стала бледной, рассеянной.

— Что с вами, девушки?

— Понимаете, — начинаю я, — у нас сегодня репетиция у педагога дома, а она охмелела.

— Когда репетиция? — Мы, конечно, в разговоре похвастались своей будущей профессией.

— В шестнадцать часов.

— Ну, успеете, сейчас еще половина третьего… Девушки, не могли бы вы нам показать какой-нибудь кинотеатр? До поезда еще далеко, мы бы в кино с приятелем сходили.

— Конечно, конечно. — Но паника наша не уменьшилась.

Наши кавалеры подозвали официантку, заплатили за весь стол, и мы повезли их к кинотеатру «Москва», где шла картина «Зигмунд Колосовский». Попрощались и поехали на электричке в Бабушкин…

Однажды я получаю посылку кукурузной крупы, и мы мечтаем о каше. Но кукуруза варится несколько часов. Берем взаймы керосинку, котелок у ребят и оставляем одну подругу дома, чтоб она к нашему возвращению сварила кашу. Не слышала я, о чем говорили педагоги, кульбиты на акробатике крутила лучше прежнего — мы все, вся наша комната, жили возвращением в общежитие. Сижу на второй лекции и… входит «повариха».

— Можно войти?

— Садитесь скорее, — отвечает педагог по истории искусств.

— Ты понимаешь, — шепчет она со слезами, оказавшись возле меня, — донышко котелка отпаялось, и вся каша упала в огонь. Я и выбирать ее не стала, она сырая и пахнет керосином.

Я закрыла лицо руками — на слезы сил уже не хватило. Счастье не состоялось…

Наконец после первого семестра зимой я наладилась в отпуск. Домой, к своим. Без билета, конечно: какие там билеты! Трясешься, как заяц, а двигаешь дело любое. Нашла состав на Ростов и кружу по станции, поджидаю, когда к главному перрону подадут.

— Не скоро, — метет платформу какой-то дядька. — Аж в три часа,

— Ну, в три часа — это скоро… Пошатаюсь.

Попутчик нашелся, уже веселей. Но состав подали в сумерки, в пять вечера. Мы сиротливо жались, завидовали тем, кто садится. И вот все сели, и мы оказались лицом к лицу с проводницей.

— Отходите, скоро трогать будем.

— Да мы постоим, сейчас нам должны передачу принести.

Она смерила нас с ног до головы и дала понять, что видит нас насквозь. Наконец поезд тронулся, мы еще какое-то время бежали следом, вскочили на ступеньки, но проводница, прежде

чем захлопнуть дверь, схватила с парня шапку и бросила на перрон. Он, естественно, соскочил. Я же, неизвестно на что надеясь, продолжала ехать на ступеньке старого вагона. Вагоны соединялись находящими друг на друга металлическими лопатками, перильца с каждой стороны были размером меньше полуметра.

Еду я так, еду, но что-то мне стало сильно холодно. Поезд набрал полную скорость, и я решила перелезть на те лопатки между вагонами. Перелезла, чемоданчик в ноги, а сама держусь за эти перильца, тупо уставившись в рельсы. И сейчас слышу тот запах из-под колес: и пыль, и керосин, и солома, а главное — запах холодного металла. Долго поезд так шел, наверное, часа полтора. И тут мне стало смертельно страшно: я же не выдержу двое суток, замерзну, потеряю силы и упаду под колеса. И так руки прилипают к перильцам, чуть возьмешься за них.

— Откройте! Спасите! — стала стучать, но в ответ ни гугу.

На мое счастье — почему? судьба, конечно, — поезд сбавляет ход и в конце концов останавливается и затихает в безжизненном темном пространстве. Слезаю на землю и прыгаю, прыгаю, чтобы размяться. Постучала в дверь.

— Я тебе открою! Много вас тут таких…

Я занудно и горько завыла, как собака. Плачу: остаться здесь — ни зги не видно, ехать же прежним манером страшно. Откуда-то из темноты выросла фигура мужчины, добротно, по-рабочему одетого.

— Вам до Ростова?

— Да, — горько заплакала я.

— Идите со мной.

И мы долго шли вдоль поезда. Я видела кусочки дорожной жизни в окнах, но меня настораживало то, что мужчина шел вплотную сзади.

— Ой, дядя! — поворачиваюсь я и откровенно говорю: — Я вас боюсь… Идите лучше вы впереди.

— Пожалуйста! А вдруг я вас забоюсь? Ехать на ступеньке в такой холод, значит, меньше страшно?

Я промолчала.

Доходим до конца состава, где стоит прицепленный товарняк. Мужчина медленно открывает черный зев вагона и говорит:

— Становитесь ко мне на руки.

— Опять боюсь…

— Эй! — крикнул он. — Откликнитесь там кто-нибудь!

Зажигается спичка, и я вижу бабку, девушку, двух парней в морской форме.

— Не бойтесь, мы тоже такие же «зайцы».

Кинула чемоданчик в темноту, а потом и сама залезла с помощью того мужика. Обняли меня люди, утрамбовались, тепло стало. Здесь солома, там какие-то ящики, много ящиков. «Экспедитор это, — шепчет мне на ухо девушка, — подбирает, не за так, конечно».

— А у меня ничегошеньки нету.

— Студентка?

— Да.

Получилось так, что поезд простоял до самого утра. Мы проснулись и увидели в щелях свет. Потом все же тронулись. Ехали долго, все байки переговорили, всю еду поделили между собой. У меня же, кроме небольшого кусочка хлеба (повариха в столовой, что симпатизировала мне, дала на дорогу), ничего не было. Телеграмму маме все-таки отбила, и ходила она, бедная, к поезду каждый день, пока я не появилась.

— Ой, доченька, какая ты желтая да худая.

— А что ты думаешь, мама? Учиться трудно, да еще надголодь…

— Пойдем, доченька, на базарчик.

— Зачем?

— Пойдем, пойдем…

Маленький базарчик. На капустном месте продают домашнее сливочное масло, пышки горячие, молоко.

— Давай, давай нам… — Мама подала мне пышку с маслом и кружку с горячим молоком. — Ешь, доченька, ешь. — И со скорбью смотрит на меня.

Я уплела все за милую душу, и мы пошли домой.

— Ничего, ничего, отдохнешь, отъешься.

А что у них там — хлеб цвета асфальта? В нем, я знаю, и макуха, и очистки картофельные, и капустные листы, но вкусно. Ели все-таки суп, молоко с хлебом, тюльку во всех видах. И, как ни странно, я очень посвежела. Мама купила мне на базаре в Ейске синюю в мелкую клетку кофточку, юбку шерстяную и немецкие туфли со шнурками на венском толстом каблуке.

Подсоскучилась я по институту и уже по билету, на законном основании, отправилась в Москву. Вечером стала снимать туфли в вагоне, чтоб полюбоваться ими и лечь спать, а они, проклятые, оказались с картонной подошвой. Никогда я маме об этом не говорила, но в институте с недельку пощеголяла в них. Все вернулись сытые, откормленные, какое-то время могли терпеть. Но вскоре стали худеть, голодать — еще только кончался 1946 год. Как раз в это время заколготел институт о романе «Молодая гвардия» — и в том числе ученики С. А. Герасимова, который являлся и завкафедрой актерского факультета, и педагогом

четвертого курса. Он затеял снимать фильм силами своего курса. А пока был где-то в отъезде, велел самостоятельно подготовить несколько сцен к его приезду. Аудитория курса была главной точкой притяжения. Весь институт, и в особенности актерский факультет, крутился возле студентов четвертого курса и хоть через дверь пытался послушать их звонкие голоса, изображающие молодогвардейцев. Какая томительная ревность вселилась в мою душу! Мне казалось, что только я одна на всем белом свете могу рассказать о том времени войны… Как я ревновала их к этому материалу! Больше всего страдала по роли Ульяны Громовой. Сыграть бы и умереть — вот до какой степени полюбился мне этот роман. Для меня это было равносильно тому, как один связист, зная тяжкую ситуацию боя, искал неисправность связи. Ему так хотелось ликвидировать разрыв, он так остро переживал за своих товарищей, что, когда нашел неисправность и понял, что обрубленные осколком концы провода он не может соединить, он с ожесточением схватил оба конца в рот и погиб, но связь была налажена.

Вот с такой силой рвалась моя душа в этот фильм. Мне казалось, что они без меня не обойдутся, это неестественно для меня и для фильма. Я выносливая для этой работы и сильная пережитым. Они репетируют, а я горючими слезами обливаюсь, и студентка, репетирующая Ульяну Громову, мне казалось, не подходит для этой роли. Она высокая, красивая, вальяжная и в чем-то слишком изнеженная (Клара Лучко). Голос скорее бы сгодился для какой-то другой роли, а не для этой. Остальные роли тоже репетировали не совсем впопад.

Приехал Герасимов, и вот курсовой показ. Обычно мы все вольно ходили друг к другу на курс, на экзамены, а тут — запрет. Герасимов хотел посмотреть сначала сам, без сидящих за спиной болельщиков, но некоторых из желающих выбрали, и они прошли в аудиторию. Выбрали и меня. Я села сзади и нервно впилась взглядом в студентов. Наработали они много, горячо, молодцы, но все же Герасимов после паузы сказал: «Не исключена возможность, что нам не обойтись своими силами. Будем привлекать весь актерский факультет. Режиссерам-практикантам надо поработать и с другими кандидатурами, как, например, вот Нонна Мордюкова. Ты, Татьяна Лиознова, займись с ней ролью Ульяны Громовой. Сергей Гурзо небезынтересен для роли Тюленина». И стал перечислять — все больше студентов с нашего курса. Боже ж ты мой! На следующий же день мы начали работать с Лиозновой. Уж с каким усердием я взялась, и описать не могу. Репетировали сцену с Валей Филатовой. Ее пробно играла Тамара Носова. Репетировали, репетировали, а потом — показ.

Переволновались, но были утверждены художественным советом на роли молодогвардейцев.

Скорей письмо маме с сообщением о том, что утверждена и что летние каникулы пойдут на съемки, а пока делаем спектакль на малой сцене в Театре-студии киноактера. Денег не давали, все никак не могли решить, как платить, — студенты ведь, практика, у кого-то диплом. Голодные ходили. И вдруг привозят первую зарплату прямо на спектакль. Черт нас дернул, накинулись на пирожные. Инна Макарова съела штук шесть и отравилась. И не только она, а и многие. Спектакль идет, а «скорая помощь» кому надо желудки промывает. Нет бы хлеба купить. Пирожное кто-то вообще впервые «откушал».

С аншлагами шел спектакль, а днем для нашего курса занятия в институте. У тех, у кого диплом, других занятий нет, а нам бегай, поспевай. Купила гостинцев домой, тут подвернулась знакомая из наших мест. Но она, гадина, так и не отдала посылочку маме. Век не прощу, чтоб ей пусто было. Я стала понемножку помогать маме. Уж как она гордилась мной, как радовалась: Нонна главную роль играет!

Наша задача была показать не внешнее сходство с молодогвардейцами, а их молодую патриотическую сущность, чем мы и занимались на съемках. Я уже говорила, как дружно мы жили с краснодонцами. Они и подкармливали нас. Трудное время еще свистело вовсю, карточную систему еще не отменили. Из соседних совхозов директор доставал для нас то рыбы соленой, то муки темной. С овощами и фруктами было попроще. Некоторые немки, приехавшие во время войны к своим мужьям, да так и застрявшие в Краснодоне, хорошо шили, мы к ним наладились в получку шить то кофточку, то юбку, но дурные были — шили все одинаковое. В общем, жизнь бытовая повеселей стала, а работали мы, конечно, с полной отдачей. Этот период был счастливый, веселый, творческий.

Потом снова Москва, учеба. На следующие каникулы я приехала к маме уже с маленьким сыночком, сказав только по приезде, что вышла замуж. Приехала одна — муж, Вячеслав Тихонов, мой однокурсник, был в киноэкспедиции. Но мама меня отпускала на танцы. Я станцую два танца и бегу домой. Летом все вместе спали на полу. Приду и ищу свое дитя в темноте. А сынок от жары с постельки откатится аж до швейной машинки. Обниму его, холодненького и такого родного, — и спать.

Вернулась опять в Москву, последний курс, конец учебе. Мужа пригласили сниматься в кинофильме «В мирные дни», и он уехал, а мы с сыном остались одни, не знали, куда деваться.

Я каждый вечер придумывала, у кого бы переночевать: после

защиты диплома в общежитии уже нельзя было оставаться. Жилья в Москве совсем не строили, трудно себе даже представить, как тяжело тогда было с этим. Придешь к кому-нибудь в гости, а они тебе белоснежную постель стелят. Укутаю ножки сына потуже, чтоб санитарные дела были только в этой зоне подстеленной клееночки, и засыпаю как убитая. Ночью разосплюсь, намотавшись за день, и не замечу, как дитя раскинется и фонтанчик мимо меня направит прямо на белоснежную простынку. Ой, чего только не было! Замучилась.

И вот пошли мыс Галей Волчек в Госкино. Ей тогда было всего четырнадцать лет. Стоит она, в матроске и в пионерском галстуке, держит моего сына на руках внизу, в коридоре, а я сижу наверху, в кабинете. Повезло. Умный такой дядька попался, Н. И. Шиткин, дал направление в барак. Дорогой мой барак! Самое счастливое время в моей жизни. Потому я обязательно отведу тебе особое место в описании начального периода моей жизни в Москве.

Да, я явилась в город большой, локтястый, жадно пыхтящий мне в спину. И дал он мне крепкий указ — учись, учись прилежно, если хочешь туда, в тот мир, где существует таинство твоей долгожданной мечты, где живет искусство. Я сомкнула ладони на груди и вскинула очи кверху, туда, где перст города назидал, приказывал, увлекал. И так сильно и счастливо вобрала в себя это повеление всевышнего города, я так училась, так старалась…

Какое же у меня было тогда огромное, доброе сердце, как же мама околдовала меня собой! Она работала, не успевая накормить отца — инвалида войны и шестерых детей. Мы видели все ее старания и, едва только поднявшись на ножки, работали в поле и со светлой радостью добытчиков зарабатывали по одному трудодню в день.

Как-то нечего было есть, и мама с улыбкой стала готовить фокус.

— Сейчас съедите лук с постным маслом и потом посмотрите, что будет, — сказала она.

Мы, поверив ей, стали азартно есть лук с маслом, глядя на смеющуюся маму. Оказывается, после этого нельзя было заснуть: съеденный на ночь лук не давал закрываться векам — тут же появлялась резь в глазах. Наши макушки торчали там и сям, и мы с болтовней ждали, когда же кончится действие лука.

Но какие же мы были тогда счастливые! Однажды мама решила застраховаться. И вдруг, когда рубила дрова, одно полено отскочило и ударило ее по губам, два нижних зуба зашатались, и

надо было идти лечиться, бесплатно притом. А мама, получив деньги за страховку, пошла в магазин и купила три килограмма халвы. Когда я, уже не замечая от голода школьной доски, не слыша сути происходящего на уроке, побежала домой, к маме, которая, знала, извернется, но чем-то накормит детей, то увидела там всех, чинно сидящих за столом. Отец с костылями на притолоку облокотился и улыбается. Глядь, возле каждого стоит глубокая тарелка, полная халвы. Не сон ли это?

— Садись, дочка, за зубы получила, наедитесь, чтоб запомнилось на всю жизнь.

Мама потом до самой смерти при еде оберегала шатающиеся два нижних зуба.

Судьба уготовила мне быть старшей — маминой подручной. Все им, все им, младшим, сама уж как-нибудь. А что там особенного — им? Но, что бы ни было, главное — они, меньшенькие. И в школе это сказывалось. Где кого через лужу перенести во время грозы — я, полы в школе перемыть — я первая, выступать за школу в кроссе тоже приходилось мне. Хоть и не умею, но, закусив губу до крови (шрам так и остался с внутренней стороны на нижней губе), бежала. Какой-то тип сформировался во мне, не знаю, хороший ли. Я — это вечный посыльный на труд, на исполнение, на добычу. На работе — до самого дна! Что ни роль, то все с вегетативной бурей — до истощения нервной системы. Что ни семейные дела, все я, я, я… И близких-то потом сбила с толку, внушив, что я рабочая лошадь.

Мама нас поздравляла с днем рождения как-то неаккуратно.

— Тьфу ты, во, мать, забыла! — вдруг спохватывалась она, покупала стакан семечек — и всё.

Не приучила она нас поздравлять, и мы потом тоже привыкли дни рождений не замечать, как пролетевшую муху под потолком. Однако, я считаю, это неправильно — с днем рождения поздравлять надо. А когда я это поняла, то муж уже отвык от этого после моего «Да ладно!». Бывало, и слезу пустишь: не поздравил… Уже и солнце садится, день на исходе. Ну это ничего. Это не главное. А где же главное? Я широкоплечая, у меня туфли тридцать девятого размера, руки могут выдержать по двадцать килограммов каждая. Еще в институте мое пылкое старание, мои незабываемые до сих пор успехи по мастерству были чуть-чуть крупнее, чем надо. Многовато, громковато, слишком сильно! Я и сама знаю, что меня много, много по размерам и по проявлениям. Не хочу, чтобы меня жалели, но, может быть, и спросил бы кто: «Не устала ли? Сыта ли?»

Впервые где-то на банкете сижу, ем яблоко, огрызок не знаю куда деть. Поискала глазами, и вот тебе — пожалуйста. Тянется

ко мне чья-то мужская ладонь, чтоб забрать огрызок. О боже! Кто это? Это была первая в моей взрослой жизни забота обо мне.

Как сын родился, тут я совсем с ума спятила.

Решила восполнить не сбывшуюся когда-то мою мечту научиться играть на фортепьяно и возложила эту задачу на сына. С каким трудом наскребли денег на пианино, уже не помню, осталось лишь то, как радостно бренчала я по клавишам и терпеливо сидела за спиной сына, когда он готовил уроки по музыке. Дошло до того, что я стала играть его вещи лучше него — он играл плохо, неохотно. Однажды не выдержала и шлепнула его по спине за это. Когда-то в юности я на газете, помню, расчертила клавиши в натуральную величину и разучивала домашние задания по музыке, примазавшись к подружке из состоятельной семьи. Я даже выучила что-то из «Времен года» Чайковского. А сын, вместо того чтоб заниматься, бурчит: «Я уже пятнадцать минут играю!» Пятнадцать минут!

Все им, им, ему, ему! Я и сейчас не могу взять лучший кусок: он даже не будет для меня вкусен, — или занять в транспорте более удобное место. Мне спокойнее, душе моей, если сяду на неудобное…

Шли годы. Уже в Доме кино актрисы сбрасывали с плеч меховые манто, блистали на фестивалях разных стран, а я вечно была к этому не готова. Ну ничего, не в этом дело. Главное — играть, играть хорошо. Я и играла… и братьям и сестрам помогала. Нас было четыре сестры и два брата. Одиннадцать лет жили в проходной комнате: я, муж, ребенок, нянька и кто-нибудь из братьев или сестер, смотря чья очередь подошла поступать в институт или в училище. Сестры и братья уже давно работают, хорошие получились люди. А я вот не удержалась, чтобы не написать «автопортрет». Здесь все чистосердечно.

Станция Железнодорожная

Застолья на Кубани называют «сабантуями». Женщины исправно работают и за столом: незаметно меняют тарелки, подкладывают кому надо еду, разносят кружки с компотом или киселем, и точно так же подается и такое «блюдо», как песня. Сначала вроде бы нехотя, безотносительно к чему-либо одна заводит, вторая подпевает, еще несколько женщин к ним подключаются, а то и мужичок — и начинается чудо: красивое, просто невероятно красивое пение. Поют легко, как будто просто воздух выпускают при дыхании. А если заведутся, то и не остановишь. Вот так же и я в московских компаниях, сперва на наших студенческих вечеринках, начинала петь без просьбы: у меня, как у моих земляков, было убеждение, что пение — это твой подарок из уважения к сидящим. Потом-то я отвыкла лезть со своим непрошеным пением.

Помню, как-то приезжает ко мне мама. Я тогда «крутила романчик» с одним пареньком. Ну такой он был красивый, такой красивый — невозможно! Я иногда пользовалась его лекциями. Мне, признаться, боязно было брать в руки его тетрадки — белоснежные страницы, чертежики, маленькие такие, аккуратненькие, как куклята, а почерк — прочесть невозможно: мелко-премелко писал, каллиграфически, расстояние между строчками почти отсутствовало. Ногти у него полированные, белье пахнет мылом — он каждый день стирал в общежитии.

Из дома, с подмосковной станции Железнодорожная, он привозил баночки, завязанные бантиком, с квашеной капустой, медом. Еще чемоданчик картошки, свеклы, морковки. Вечерами в коридоре на керосинке готовил себе еду.

— Нонна! Ты неправильно живешь, оттого у тебя нет денег, — наставлял он меня.

— У меня же только стипендия!

— Ты ешь булки с пирожными. А надо купить картошки, муки, пшена.

— Подумаешь: так мне хватит на десять дней, а булок с мороженым — на четыре. Хоть четыре дня, но мои!

Пусть говорит. Он пионерчик из пионерского лагеря. И в этом его прелесть. А какой красавец, какой отличник! По всем предметам. Правда, по мастерству четверка, но ведь он же старается и верит в слова педагогов: «Труд делает чудеса».

Лягу, бывало, спать и думаю: вот бы сшить ему из черного вельвета куртку на «молнии» — как бы ему пошло! Купила я ему все-таки отрез этого черного вельвета, и мы пошли к одной тетке-

портнихе. Она, правда, упиралась: мужикам не шью. Но я ее убеждала, умоляла — и уговорила. И фасон сама нарисовала.

Приходит мой Петенька, а именно так его звали, как-то в понедельник в вельветовой куртке — все ахнули. Щеки розовые, лицо белое, глаза синие и крутой кудрявый чуб. Ангел! Красавец! Неужели мы с ним встречаемся?! Туалет портила лишь авоська с книжками и тетрадками да аккуратным кубиком — бутербродом, завернутым в белоснежную бумагу. Чай почему-то он пил всегда один, никого не приглашал. Или он думал, что мы, иногородние, довольны столовой?

Встречались мы с ним к приезду мамы уже с полгода. Со слезами на глазах я рассказала ей о нем как о ком-то недоступном. И Петя пригласил мою маму к себе домой, на станцию Железнодорожная.

Всю дорогу мама говорила в электричке чуть громче, чем надо, но Петя не слушал, как-то весь съежившись от громовых раскатов ее голоса. Про меня кто-то из писателей тоже однажды сказал: «У тебя, Нонна, прикричанный степной голос».

Приехали. Подходим к двухэтажному деревянному дому. Петя сильно постучал по доске-стояку — они жили на втором этаже. Наконец открывается форточка, и оттуда бочком, по форме форточки, высовывается голова.

— Это ты, Петя? — почему-то шепотом спросила женщина.

«Воров, что ли, боятся?» — подумала я. Поднимаемся на второй этаж, по ходу открываются много замков и следом же закрываются.

— Познакомься, мама. Это Нонна, мой товарищ и друг.

— Анна Федоровна, — негромко говорит женщина лет сорока с небольшим.

— Ирина Петровна, — протянув руку, представилась и мама.

— Проходите, — еще тише, с испуганными глазами предложила мать Пети.

— Петя — вылитый вы, — сказала мама.

— Что вы! Он на отца похож. Проходите.

Мама подзадержалась в сенях: сняла строченые, как телогрейка, бурки, на них положила фуфайку, а кашемировый платок накинула на плечи.

Обнажив все тридцать два зуба, мама тут же приступила к характеристике дома.

— Вот это да! Дерево, — чуть не криком начала она, — бревна! Ведь это так полезно! А у нас саман. Знаете, что это такое? Нет, откуда вам — крутом столько леса. Кра-со-та! И пахнет. — Она кулачком постучала по бревну. — На сотни лет!

Как заправский экскурсовод, она все объясняла,

рассказывала, упростив тем самым знакомство.

Когда сели, мать Пети сделалась красная, как рак, склонила голову набок и, не поднимая глаз, сказала в сторону:

— Да, везде по-другому.

Внешне она была ничем не примечательна: как белая булочка, с шестимесячной завивкой, в маркизетовом платье, рукава фонариком. Молодая, лицо немного побито оспой. Видно, она была недовольна шумом, который подняли. Петя щипнул меня и вывел в сени.

— Почему твоя мама так громко разговаривает?

— Мыс Кубани, у нас в степи люди все так кричат.

— Так и нижние могут все услышать, — хрустя пальцами, с тревогой сказал Петя.

— А кто там внизу?

— Родственники.

— Родственники?!

— Пойдем, тут еще слышнее, а ты тоже кричишь.

А вот и сонный, с газетой в руках выплывает худой высокий человек — отец Пети.

— Что за шум, а драки нет? — шепчет он.

— Вот, Петя приехал со своей девушкой и ее мамой.

— Ты пока, Анюта, на стол сообрази, а я покажу им свое хозяйство, — проскрипел он.

Мы спустились вниз, вышли с тыльной стороны дома, и он стал показывать яблони, аккуратно трогая набухшие почки. Потом подвел к кроликам. Мы иногда с мамой переглядывались, один раз она мне даже подмигнула. Наконец слышим шепот из маленького окошечка сеней, выходящего в сад:

— Шура, Шура!

Он повернулся к окошку.

— Шура! — зашипела жена. — Идите!

Мы пошли. Мама, как фокусник, опять сбросила в сенях бурки, телогрейку и, стуча пятками (я подумала — нарочно), кивнула на стол.

— Видала, дочка, кацапский стол? Винегрет, грибы, лахветники… Знаете, — продолжала она, садясь, — я тут в Зарайском районе практику проходила, так научилась вашим обычаям.

— Но это же село, — подняв одно плечо, буркнула Петина мать, — а у нас город.

— Ну, со свиданьицем! — Мама первая взяла граненую стопочку с водкой, хлебнула половину, по-мужицки крякнула и стала есть винегрет.

— Эх, Расея-матушка! Как же у вас все так бедно! Вся

Московская область ни черта не умеет делать, и самая она бедная.

И нам на лекциях, помню, говорили, что хуже Московской области нет — картошка да капуста.

— Но ведь недавно только кончилась война, — сказал робко отец Пети.

— Все теперь на войну давайте валить! А где же ваши палисаднички, цветочки? Вот в доме-то у вас, конечно…

Дом середняков-интеллигентов. Мама Пети, видно, окончила гимназию, папа — директор ремесленного училища. Утварь и мебель старые и, чувствуется, давно переходят из поколения в поколение.

— Эх, давайте за тех, кто умеет работать! — подняла мама рюмочку и «доконала» ее.

Мама Пети в испуге глотнула из своей, а папа с удовольствием осушил вторую. Перекусили, перекинулись еще какими-то фразами, и тут мы наконец поняли, почему так испугана Петина мать: какая же голытьба прибыла с ее сыном! Мама, вытерев рот платочком, коленкой дотронулась легонько до моей: дескать, давай угостим и мы их. «Черные очи», — шепнула мне. Она подала тональность, и мы запели. Да так, как надо, как у себя дома. Мамочка моя божественным альтом вела вторую партию.

Петя кусал ногти, его отец, красный и потный, приставив кулак к губам, с интересом слушал, а мать, втянув голову в плечи, с нетерпением ожидала конца пения. Мы допели, мать внесла суп и стала разливать по тарелкам. Я уже не могла сидеть и выскочила в сени. Подошла к маленькому оконцу. Как раз садилось солнце, и его лучи, как горящие сабли, торчали из-за тучи, похожей на мартовский сугроб.

— Мамочка, моя дорогая, на черта они нам сдались! — обернулась я, заслышав ее шаги.

— Да, поедем, поедем отсюда…

— Уезжаете? — просияла мать Пети. — А сын говорил — с ночевкой.

— Нет, у нас же знакомые в Москве, — весело отвечает мама.

За калиткой Петя, какой-то покрасневший то ли от еды, то ли от обиды, в накинутом на плечи старинном дедовом черном зипуне выговаривал мне напоследок:

— Ты всегда так! Все скомкала, и всегда ты так, во всем.

Но попрощались по-хорошему.

В электричке мы сидели и смотрели на мелькающий за окном лес.

— На черта они нам сдались, дочка!

— А еще больше мы им!

— Ты вышла в сени, я ей говорю: у меня еще пятеро моложе Нонны, мужа уже нету. От это я им выдала! — сквозь смех говорила мама. — Они же думают, что мы всем колхозом в ихнем доме поселимся, как цыгане.

Да, тут я поняла, что Петя — это не тот человек, которого я придумала, а самовлюбленный отличник по всем предметам, кроме мастерства актера. Мама была у меня умная — она сразу отметила полную несовместимость нашего мира с Петиным. Она еще не знала, что я уже нарядила Петю в вельветовую курточку. На курсовых фотографиях отчетливо видно, что воротник той курточки сшит на женский манер.

Барак

Каждый день надо было ходить в Театр киноактера на репетицию пьесы А. Н. Островского «Бедность не порок», которую ставил Алексей Денисович Дикий. Что делать: в правой руке узелок с пеленками, в левой — сумка с деньгами, косметикой, но основное — он, сыночек мой дорогой. Получить тогда место в яслях — все равно что пятикомнатную квартиру. Пеленала сына на лавочках в парках, на прилавках газетных киосков, в чужих коридорах, а то и в театр приносила. Там его все пере-нянчат, пока я на сцене пою соло:

Ты родимая моя матушка,
День-деньской моя печальница,
Погляди в мои очи ясны
Во последний раз…

Все восхищались: у меня тембр голоса вроде неплохой, слух хороший. Но тут мне, как всегда, ситуация жизненная больше всего «помогала».

Прихожу однажды в театр, и мне говорят, что есть путевка в лучшие ясли Москвы — имени 8-го Марта на улице «Правды».

— Это тебе Борис Федорович Андреев достал, — сказала мне секретарь.

Бегу на улицу «Правды», вхожу в ясли. Боже, какой запах, какое богатство — пальмы, ковры, халаты слепят белизной. Самая главная тетя развернула моего толстяка, подняла к лицу и говорит: «Какая прелесть, вылитый папа! Ах, папка вылитый, особенно вот в “Двух бойцах”. А “Большая жизнь”!» Я каменею, но не сопротивляюсь, боясь, что путаницу распознают и отдадут

ребенка обратно, а мне на репетицию надо.

Похвалили еще какую-то картину, где играл Борис Федорович, и оставили ребенка. Еду в театр, а сама не пойму что-то насчет отцовства — ведь отец моего мальчика на съемках, на юге… И, как нарочно, идет навстречу Борис Федорович Андреев и говорит:

— Слышь, старуха, я тебя забыл предупредить. Сама знаешь, путевку в ясли никак не получишь. Вот я в районе и сказал, что это мой незаконный сын. Дескать, случился грех, хочу помочь молодой матери.

Иду, руки пустые, как-то непривычно. Ну ничего, вечером ведь забирать надо ребенка. А куда?

Вот тут-то — нарочно не придумаешь! — получаю телеграмму о приезде брата и сестры. Мама решила разгрузиться: мне ж теперь тут хорошо!.. Эту ночь пошла ночевать в общежитие. Наша комната была полна поступающих в институт девушек. Кормлю ребенка грудью, прикрыв его простынкой. Абитуриентки, я уже сквозь сон слышала, удивлялись, почему я заснула с ними в одной комнате с ребенком под боком: «Она же лауреат Сталинской премии, Ульяну Громову играла…» — «Ну и что, глупенькие, — отвечала я им мысленно. — Негде, ну негде жить».

Мама с детьми нашла обмен своей двухкомнатной квартиры в Ейске на Москву. Согласна была на любой метраж. Я пошла посмотреть вариант обмена на какую-то из Тверских-Ямских. Вхожу — коридорная система та еще! Тоннель коридора забит вещами, идти надо на ощупь. И вдруг хозяйка шлепает ладонью по двери, та открывается, и я вижу, что от входа до кровати ровно столько, сколько нужно, чтоб дверь открывалась, то есть входишь — и сразу на кровать. Слева тумбочка с табуреточкой, над ней полка со скатеркой и узкое окно-дыра. Хозяйка стала громко говорить о преимуществах жилья: «Вот вошел — на кровать, голова в окне, на свежем воздухе». Я ничего не слышала, только видела красные кружочки на ее щеках и неумело подбритые брови.

— Спасибо, я еще зайду.

Бедная моя мамочка! Значит, сами никуда, как-нибудь; лишь бы мне за Москву зацепиться. И на что менять, на бывший туалет!

«Так, сын устроен на день, двое-трое суток будут ехать брат и сестра, времени мало», — лихорадочно думала я. Вот тут мы с Галей Волчек и очутились в Госкино: ее соседка была моей подружкой, и кинооператор Волчек, отец Гали, посоветовал обратиться туда.

— Бери направление в барак. Напротив метро «Аэропорт» строится КИНАП, и там уже есть барак для рабочих.

О том, как получила направление, я писала.

Уже смеркалось, когда мы, Галя, моя однокурсница и я, подходили к бараку. Долго перепрыгивали через какие-то ямки и доски, котлованы с водой, пока не нашли заведующего общежитием. Добродушный, незапоминающийся, он взял направление и повел нас в какую-то дальнюю комнату.

Заходим: батарея вырвана, в комнату с порывами ветра влетают брызги дождя. По колено опилок, посередине стоят ко́злы, света нет.

«Крыша, крыша моя, наша! Адрес… Кому-куда».

— Через пару дней приходите, кое-что текущим сделаем, — сказал комендант.

— Каким? — не соображаю я.

— Текущий ремонтик, небольшой.

В эту ночь я опять пошла в институтское общежитие. А там — ничего не понимаю! — сидят мои брат и сестра. Да боже ты мой, как же теперь выпутаться, чтобы всех разместить? Не оставишь же брата у девчонок!

— К испанцам! — тут же предложила одна.

Этажом выше была действительно комната испанских студентов. И вскоре один испанец уже надевал рубаху и пиджак, чтоб уйти ночевать к знакомым, а брат мой был определен на его кровать.

Мы вместе поужинали. Сын ладошками бил по столу, стремясь разогнать арбузные косточки, но я замечала другое — как брат и сестра удивлялись, что я в таком мытарском положении, а тут еще и они на мою голову. Но ничего не попишешь: он решил ловить шпионов, а она — учиться в седьмом классе. Табель, вижу, подтерт — пятерки по всем предметам.

Утром поехали в мой барак.

— Дурак здоровый, — бурчу я брату, — ты хоть знаешь, куда обращаться?

— Не-ет…

— А я откуда могу знать, где их ловят, этих шпионов?..

Комната уже была приведена в божеский вид, но пустая. Комендант общежития показал, где под навесом лежат кровати. Мы с братом растягивали гармошкой сложенные ржавые конструкции. Да, больше двух не поместится. И вдруг — не успели расставить кровати, как повалил стихийный поток людей — каждый что-то нес. Нас выгнали, и началось устройство по-настоящему: появились матрацы, подушки, одеяла, тумбочки, стол. Одна приятная такая толстушка с челочкой, Шурочка (как потом оказалось, шофер), подмигнула мне: «А как же, общежитие есть общежитие».

Какая красота! И клееночку почти новую несет пожилой мужчина, ставит на нее электроплитку.

— Пускай погорит, чтоб помещение ваше согрелось. Ребенок ведь. А готовить в коридоре есть где.

Думала, все уже, нет — пол каменный, и незнакомая женщина стелет старенькое шерстяное одеяло.

— Вот, привыкайте. А люди у нас неплохие.

Вечером Светка Коновалова принесла полный набор книг для шестого класса: сестра сходила днем в школу напротив, да там дураков не оказалось. Увидели ее «пятерки» и посадили в шестой класс. Формы школьной тоже не было. Еще одна приятельница принесла свое синее платьице, похожее на форму.

Эх, кто знал, что и приехавшая в этот барак мама, и любимая подружка Ёлочка умрут от одной и той же болезни, только в разное время.

Помню, мама ей гадала на картах, любит ее избранник или нет. Мамино гадание, конечно, нехитрое, но в былое время, в оккупации, когда надо было знакомиться с женщинами в хуторе и узнавать их настроение, гадание было самым удобным средством. Бедная Ёлочка откроет рот и смотрит то на маму, то на карты, а мама знала, что кавалер-то ее бросил, и говорит:

— Да на черта он тебе нужен! Вот карта говорит: будет у тебя еще и получше этого…

Ёлочка была из обеспеченной семьи, и мне нравился запах ее одежды, желтой, как яичный желток, шубки, небрежно брошенной на детскую коляску. Она бегала к нам часто, с удовольствием и всегда чего-нибудь притащит: то эстамп, то кастрюльку, то берет сестре… А маму мою она любила, кажется, больше всех. Кстати, я заметила: сытых и устроенных мам дети зачастую любят мало, а вот многодетных, отдающих себя детям, не успевающих порою и поесть, и в зеркало взглянуть, — таких любят щемящей, сильной любовью.

Мама моя, к примеру, давно мечтала о валенках с галошами. И на курорт съездить, и книги начать читать по-настоящему. «Я лежу, читаю, а вы, дети, все делаете да к обеду меня зовете: «Ну, мам, ну иди…» Правильно?» — смеялась она.

Мама сама сшила себе на машинке бурки, похожие на телогрейку, а сверху — галоши, до валенок дело так и не дошло, да и не только у нее, а и у тысяч других, таких, как она, в эти трудные, скудные для страны годы. Но — удивительно! — оптимизм, кажется, был пропорционален нужде. Веселые люди были какие-то, довольные. Да, как ни странно, довольные. А уж песен сколько! Сейчас техника их убрала, тогда же пели и ценили хороший голос и умение спеть или станцевать.

По всему коридору нашего барака было населено веселье и радость молодости. И хоть жили мы трудно — продукт один и тот же у всех, картошка, постное масло, лук, а кто селедочки достал, то всем по кусочку раздаст, — жизнь не казалась нам мраком. По вечерам собирались в самой большой комнате, угловой, чай питье конфетами-подушечками. Руки у меня отдыхают, сын пошел гулять по чужим коленям. Смеемся, я разыгрываю разные сценки из наших спектаклей, а то пою под гитару. Когда приближалась к бараку вечером после спектакля, никто не спал, только и слышалось: «Нонна пришла».

Если у кого сломается что-нибудь, чинят всей коммуной. Если надо ребенка посторожить, больного, посидят те, кто идет во вторую смену.

А с Шурочки-шофера я перенесла жизнь на экран в фильме «Журавушка». Хоть и маститым писателем был написан сценарий, любил он все же главную героиню и выписал тонко и интересно ее, Глафиру же лишь обозначил в сценарии, пришлось мне ее «оживлять». В «Известиях», помню, похвалили мою работу в «Журавушке», и Шурочка позвонила мне: «Ты читала? Про нас с тобой написали».

Не все, конечно, были такие обаятельные и родные в коммуналке — без паршивой овцы стада не бывает. Каким-то образом — наверное, как и я, ни с того ни с сего — в том бараке проживала одинокая нестарая женщина. Кастрюльки у нее были маленькие, пищу она готовила разную и такую вкусную — закачаешься. Но характер у нее был брюзги — все осуждала. К примеру, купит кто-то туфли и на кухню вынесет на общее обсуждение. Человек и рад, и запыхался, и порозовел от возбуждения, а она: «Такие уже до войны были немодны». Или сообщают: «Поженились все-таки Олег и Клава». — «Расписались?» — «Нет, сейчас он в армию, потом». — «Ну, это не считается…» И вот, помню, получила я роль в фильме «Бриллиантовая рука». Думала, думала, как «оживить» ее, да и перенесла на экран, как говорится, тепленькую «примадонну» из нашей коммуналки.

Не поймут, наверно, меня многие, да и сама я не пойму: то рвались в отдельные квартиры, то с грустью вспоминаем дорогую коммуналку. Но когда у меня спрашивают, чего бы я хотела, я всегда отвечаю: чтобы был вестибюль и много, много дверей, ведущих в квартиры моих друзей.

…Не знаю, не помню, честное слово, как мы с братом попали к какому-то генералу в кабинет на Кузнецком мосту. Сижу не дышу, брат стоит перед письменным столом.

— Что ж ты, милый мой, хочешь шпионов ловить, а приехал

так поздно? — говорит генерал. — Чуть бы пораньше.

— Я колоски собирал.

— Что?

Генерал не знал эту сторону нашей жизни: когда задумаешь что-то купить или куда поехать, собери колосков, в поле их много. Потом отбей чем-нибудь, отвей на ветру и по пол-литровой баночке неси на базар. Мы так всегда делали — не у родителей же брать деньги. Иногда, правда, объездчик отнимет, но чаще отсидишься в лесополосе, а как стемнеет — домой с оклунками.

— Да… Это тоже дело ва-ажное, — листая бумаги, сказал генерал. — Ну что ж, для начала пошлем тебя в Алма-Атинское кавалерийское пограничное училище. В понедельник отправление… А там все будет зависеть от тебя.

Казанский вокзал. Одежда штатская, но какая-то жалкая, как у беспризорников: понимаю, худшую надевают, все равно потом бросают ее после получения военной формы. Мечусь с сыном и с передачей по перрону и думаю, как бы еще сфотографироваться.

— Уйди, кобыла! — шипит брат. — Уйди по-хорошему.

Конечно, он стесняется, что его опекают, но узелок с едой взял. Потом выпросила и второе: «Да вот же, в четырех шагах фото, ну я тебя умоляю!» Он с пресной ухмылкой последовал за мной. Ребенок орал на ящике, а мы сидели, замерев, пока не щелкнул фотоаппарат…

Зажили мы в тепле с хорошими людьми, как вдруг приезжает Тихонов. Он представлял себе под словом «квартира» и по моим восторженным интонациям при описании нашей жизни совсем-совсем другое жилье… Обвинил меня в том, что я согласилась взять такую комнату, довел до слез. А уж чтобы мне выйти к соседям, то это только тайно. Откуда у него, думала я, такого молодого, можно сказать пацана, столько строгости?!

Труд

Работать, конечно, трудно. Бывает, что очень трудно. Но мне посчастливилось: как только стали мои глаза видеть и ощущать жизнь, так уже кто-то вложил мне в руку хворостинку и послал в огород выгонять оттуда кур. Мы подрастали, и дел прибавлялось. Помню, умоешься утром, оденешься, а к тебе уже каким-то образом задание «тянется»: полить из лейки огурцы, пополоть картошку, убрать в доме. И вот, переглядываясь с подружкой через плетень, кричишь: «Ты уже сколько прополола?» — «Я две». — «А я уже три».

И уж как нам не хотелось полоть! Опять вызываем друг друга:

«Ну, ты скоро?» А та, потная: «Ну че ты гавкаешь — не даешь работать». — «А я — уже!» — «Ну и радуйся». — «К тебе бегу — помогать». В обеих семьях задания выполнены, и — аллюр три креста — на речку.

А как тень до почтового ящика, висящего на столбе, дойдет, хватит жировать, надо в бочку воды натаскать корове. Не беда: артезианские колодцы почти на каждой улице, а то и по два. Вода далеко-далеко, кружочек ее блестит глубоко. Крикнешь, а там где-то внутри как будто толчок из звука. Ты слово говоришь, а там «вав» — и всё. Вниз летит ведро долго, за ним веревка бежит, и ручка от вертушки крутится так, что и не видно ее. Тикай, а то ударит и убить может. Слышишь — ведро «дуль!», и нет его — истопилось. Начинай крутить. Долго, пока не вылезет ведро. Закряхнешь немного ведро левой рукой, потом быстро правой — и на край колодца, отцепил и пошел к бочке. И так надо раз десять, чтоб корова попила с вечера и утром.

Но продали корову, чтоб одежду всем купить, и, слава тебе господи, купили козу Герку. Она меня так жалела, так мало требовала. Один раз, правда, заблудилась, отбилась от стада. И вот пастух стучит кнутом по калитке: «Нонка, иди ищи свою Герку».

«Герка! Герка!» — кричу я, а уже сумерки, и боязно среди папоротников валандаться одной. «Герка, Герка!» Вдруг хвать меня за плечи парень большой. Хотела вырваться, а он не дает.

— Смотрите, ребята, девица интересная.

А, курортники. Какая я им девица?

У них были с собой какие-то плоские деревянные чемоданчики с лямкой через плечо.

— Девочка, можно мы тебя нарисуем?

— Можно. А когда? Сегодня?

— Да нет, сегодня уже темнеет. Давай завтра, с утра, часиков в десять-одиннадцать.

Я не знала, как это понять, — часов у нас не было, и я спрашиваю:

— Как тень от Петушка где будет?

А Петушок — это высоченная скала на реке Псекупе. Мы в то время жили в Горячем Ключе.

— Вот как до середины реки дойдет, так и приходи.

— В обед, значит.

— Придешь?

— Приду.

Пока мы говорили, Герка стояла себе на перекате и пила воду.

— Герочка, миленькая, пойдем домой.

Я героем иду: Герку нашла, портрет завтра принесу… Но мама не обратила внимания на мои достижения, недовольная тем, что я стекло на лампе не протерла от сажи. Это было мое последнее задание.

Утром встали, как обычно, рано. Смотрю, Петушок весь в тумане, почти не видать. А если туман, значит, будет хороший день. Слушаю мамины поручения и сразу после завтрака кидаюсь их выполнять. Герка уже в стаде. Полить огурцы, помидоры, двор подмести и до обеда — ку-ку!

Что-то у меня все так быстро получилось: только макушка Петушка осветилась, а у меня уже все сделано.

— Нинка, — кричу соседке, — ты чего делаешь?

— Двор мету.

— А я уже все сделала. С меня портрет будут рисовать, дак я мигом. Сейчас еще и воды в бочку!

— Ой, а меня возьми с собой!

— Возьму, если поможешь с водой.

Нинка быстро дометает двор и бегом ко мне. Я пока ведро донесу до бочки, она уже вытаскивает новое из колодца. Да по пять ведер — делов-то! Вытащили лишнее ведро и ледяной водой обдали друг друга из корячка (ковшика).

Сели. Смотрю, тень на том берегу реки и до воды еще далеко.

— Что б еще сделать? Давай потрусим матрацы и свежей соломы набьем.

Повытаскивали матрацы, вывернули в сарай старую солому и давай свежей, пахучей наполнять. Натоптали. Постелили — койки и топчаны дыбом. Ну это пока человек не ляжет: бывает, что и скатится сразу на пол. Ничего, все равно рад свежей постели.

Гляжу, тень дошла до начала того берега.

— Пошли, — говорю, — ну их к чертям! Так от дел и задушимся.

Пришли мы, а они уже там.

— А, девчушки, пришли… Садитесь.

Мы садимся, а они рисуют себе Петушок, и так до тех пор, пока тень на этот берег не пришла.

— Может, мы пойдем? — робко спросила я.

— Махорки принесли?

— Нет.

— Почему?

— Вы не говорили.

— Говорил, ты не запомнила… Все свою Герку искала. Садись вот сюда, ноги согни в коленях, левой рукой обопрись, а в правой держи пучок ромашек и смотри на них. Поняла? А ты, девочка, беги за махоркой.

Нинка опрометью побежала, а я сделала все, как мне велели. Парни сели вокруг меня и давай шуршать карандашами по полотну.

— Я больше не хочу, — лопнуло наконец мое терпение.

— Не хочешь? Ну пойди побегай и проверь, куда пропала твоя подружка.

Я побежала к дому и увидела там зареванную Нину.

— Ты чего плачешь?

— Батько ударил. Увидел, что я из кисета в жменю махорки взяла.

— А откуда ж он в такое время?

— А и не знаю. Напоил лошадь и поехал опять.

Тут выходит бабка старая с палкой и, не поднимая головы, сиплым голосом говорит:

— А шо цэ за крали на лавочке сидять, чи им дела ниякого нема?

— Нема, бабушка, нема! — ответила я.

Горе наше улетучилось, да его и не было. Ну что ж, что портрета не будет, и не надо…

Мы подрастали, и менялись наши задания. И лошадь запряжешь, и камыша привезешь. А распряжешь и поставишь ее, не забудь напоить и сенца дать. Потом печь истопить надо и приготовить еды на целый день, борщ, кашу, компот, а то и вареники, сырники. И хлеб испечешь — да стараешься так, чтоб на смех не подняли. До сих пор помню, как задевает самолюбие, как падает твой авторитет в глазах людей, если с хлебом что-то напортачишь. Про таких, кто не умел хлеб печь, люди говорили: «Да она хлеб як испикет — зверху топором, а в середине ложкой». Это значило, что корка до угля, а внутри тесто сырое…

И вот уже выход в поле. Как же там жарко! Как же трудно… Такое ядовитое солнце перед закатом — оно стоит на месте, пронизывает всех насквозь, аж под ложечкой становится удушливо. И как они, эти тетки, так быстро могут? Я не могу… Слезы давят… Деваться некуда, а до конца работы далеко. Солнце такое пыльное, неясное, как будто и само устало мучить людей… Но вот разогнулись, собрали инвентарь в кучу — и куда девалась усталость? Наверное, сознание избавления с такой силой охватывает тебя, что в каждую клетку вливается блаженная «смазка». А как к подводам пошли, немного и притворишься: на бричку-то сигануть — это уже игрушки.

Нет, устала, конечно, сильно нажарилась на проклятом пекле, но не это главное. Главное, что ты, как зубок в расческе, со всеми в одном ряду, в ряду, где тебя уважают, незаметно, но уважают.

Вот так мое поколение было втянуто в сознательный

беспрекословный труд. Человек не человек, а полчеловека, если он не трудится. Это колдун, или блаженный какой, или не уважаемый никем тип, «сволота», как таких у нас называли. Так и шла наша жизнь, моих братьев и сестер, подруг и родителей, — все трудились.

Когда разъезжали по стране, видели труд молодежи и вникали в ее «ретивость». Почему так рвалась молодежь на ответственные и трудные стройки? Как блицтурнир в шахматах, так и здесь — кратчайший путь к осознанию себя личностью с именем, с гордостью, с собственной нужностью людям. Уж не говоря о дружбе, о веселье, об умении крепиться в трудную минуту. Хорошие ребята и девчата, по-моему, и сейчас трудятся везде.

К сожалению, так же, как одни люди неукоснительно научены жить трудясь, так существуют и другие индивидуумы, у которых начисто отсутствует тяга к труду. Как это — жить на зарплату? Зарабатывать деньги? Нет. Это надо много дуться, а денег все равно мало. Да вы что, смеетесь, это сколько же я жизней должен прожить, чтоб на все то, чего хочу, заработать? Нетушки! Я лучше буду химичить. Это, конечно, рискованно, но ведь деньга немедля течет в кейс — и вот уж не закроешь его…

Однако праздная жизнь, как сказал Макаренко, не может быть честной. Да, жизнь наша коротка, и надо, чтобы было в ней хорошо — и на душе, и дома, и на работе. Порой кажется, что такое невозможно, но к этому надо стремиться. Батюшки, ведь я бывала на банкетах, где снимался весь ресторан и еда накладывалась в четыре слоя, тарелка на тарелку, блюдо на блюдо, черная и красная икра оставалась нетронутой. И все — зажравшиеся, заетые, пузатые, с вросшими в пальцы кольцами любой цены. Не ется мне там и не пьется. Приду домой, разогрею борщ — и тарелочку с «бугром». Вот это еда! А ряженка? А кукуруза вареная, а овощи…

Вот я дружу с одними людьми, не из нашего мира искусства, фабричные они, из Подмосковья. До чего же светится радугой их дом в праздник, когда собираются друзья, родственники, дети лазят под столом. Винегрет вкусный, честный, родной. Лафитнички граненые, как же они для водочки подходят. Жаркое, капустка в разном виде, свекла с чесночком, моченые яблоки, компот свойский, и все-то такое народное, полезное для печени и почек, и ожирения не дает никакого. Как-то незаметно освежается стол, меняются блюда, чаек на подходе, песни — словом, отдых.

Тут как-то заболел неизлечимо хозяин, дядя Ваня, проработавший на фабрике всю свою жизнь. В молодости писаным красавцем был, работягой что надо — любимый всеми

человек. Лежал он четыре месяца, не поднимаясь, жена сидела рядом. Тихо в доме. Умирающему под семьдесят, еще мог бы пожить. Приходят с фабрики, посидят, шепотком поговорят, принесут чего-то, а он улыбнется горькой улыбкой: дескать, зачем — пища не проходит…

Подруга получила телеграмму, звонит мне, мы первой электричкой туда. Заходим: дядя Ваня вытянулся и как будто заснул. Смерть не исказила лица, так и осталось оно красивое. Стал подходить народ, у стен ютятся, слезы вытирают, посматривают на дядю Ваню. Тихо.

Входит женщина его возраста с голосом мягким и добрым, запричитала:

— Отмучился, красавец ты наш, отмучился, дорогой ты наш! Сейчас мы тебя искупнем, беленькую рубашечку с черными брючками наденем. Как ты любил за столом сидеть: рубашечка беленькая, а брючки черные. Положим твою красивую головку на мягкую подушечку.

Все это женщина говорила довольно громко, и было как-то торжественно и гордо за дядю Ваню, за его фабрику, где он был рядовым техником.

— Идите пока в столовую, там посидите, а мы с Шурой будем купать его. Ребята! Двое мужичков, ну-ка сюда, мы одни не поднимем.

Процедура была недолгой, с добрыми приговорами фабричной подруги.

— У вас там готово?

— Так точно, — тихо ответил мужчина.

— Ну и хорошо, ну и понесли милого нашего, дорогого на подушечку, волосики причешем, ручки сложим как надо. Отработали ручки мозолистые, пусть отдыхают теперь.

Послышался гудок.

— Слышишь, Ванечка? Это гудит гудок твоей фабрики…

Похоронили. Поминки решили сделать в маленьком кафе.

Я немного забеспокоилась: денег-то сколько надо! Но не такой рабочий класс наш недогадливый, как-то так тихо скинулись, никто и не заметил.

Вся фабрика, меняясь, побывала и на похоронах, и на поминках. После кафе в доме собрались самые близкие, и я сижу. Как все свято, просто, недорого приготовлено! И вспомнила я то ресторанное стадо кабанов с животами и толстыми подбородками и четырехэтажный стол. Пишевики, вроде и не поймешь, откуда они, эти спекулянты… А мои — эти вот, где я сейчас сижу.

Такое настроение у меня бывает всегда, когда приглашают меня как знатока сельской жизни на встречу с колхозниками. На

этих встречах никому не надо объяснять, что происходит в сельском хозяйстве. Но я, честно говоря, никогда бы не разделяла артистов, кого куда посылать выступать — к колхозникам или к рабочим. У них только место работы разное, у этих людей, а судьбы и души абсолютно одинаковые. Трудящиеся люди, они всегда мне дороги и трудом, и характерами, и чувством локтя.

Мама

Есть люди, сами собой выделенные. Есть смирные, боязливые, усердно выполняющие свою работу, но всё молчком. А есть боевые, как мама. Меня все время понукали: почему про мать свою не напишешь? Пускай вся округа знает, какие мы. Напиши про мать. Убедили. Я рано стала пером по бумаге водить, свои впечатления записывать. В Москву даже приехала с какими-то «наработками». Маленький рассказ «Квартирант» был опубликован в газете «Пионерская правда».

В деревне, в гурте, все про всех знают. К примеру, надо печку сложить — ясно, кто сможет. А кто — сделать резные наличники. Кто платки вышивает, а кто песню заводит… Мало ли разных умельцев! Меня вот в сочинители зачислили. А села писать про маму — не получается. Про других — пожалуйста. С детства за всю жизнь я столько нацарапала, насочиняла, что до сих пор шебуршу в мешке, перебираю листочки, перекладываю свои записки. Нет-нет да и найду что-то к нужной теме. Сейчас вот вытаскиваю все о маме.

Она девочкой работала в поле на помещика. Вечером пела в церкви на клиросе. Детей в семье всего было четырнадцать человек. Хата ее под камышовой крышей в станице Старощербиновской. Жили бедно. Вышла замуж. И тоже детей было много. «Оте-то уже лишние», — говорила мамина сестра, бездетная. Она справедливо выводила: «Чем меньше детей, тем больше хлеба останется…»

А что поделаешь — в станице в основном дети, взрослых даже меньше. А эти, как саранча, — туда-сюда, туда-сюда. «Ма-амк! Исть есть? Давай!»

Тетю Елю в счет не брали, не слушали ее советов.

Работали люди, как кони, с утра до вечера, едва переводя дыхание с заката до рассвета. Колесо так и крутилось. Еще успевали посмеяться до упаду и песню завести, все больше, больше воздуху в легкие набирая, чтоб петь как надо.

Мама была небольшого роста, в работе не отставала от других, потому что то было время всенародного энтузиазма, время боевого труда. На собрании народ сидел тихо, муха

пролетит — слышно. Замерев, впитывали ушами задания на завтра.

Слыла мама певицей, заводилой. И пела она не для того, чтобы выделиться, и не ради похвал, а чтобы поделиться хорошим. «Пение — это добро», — считали люди. И как нарочно, муж ей попался не любящий музыку, пение, наоборот, стыдился мамы, когда она, откинув голову, глаза обратя к небу, запевала красивым низким голосом.

— Не пой, Ира, — молил ее отец, когда они шли в гости.

— Погляжу! Я бригадир, и решать буду я — петь мне или нет.

Главнее бригадирства и работы тогда ничего и не было, ведь так верили, что строят прекрасную, светлую жизнь!

Еще у мамы был, всем на удивление, дар красноречия, дар, так сказать, сельского красноречия. Мазюкают, мазюкают на собрании, что-то буровят, бубнят, а скучно и ничего не понятно. А как Петровна прыгнёт к столу, накрытому красной скатертью, так зал расшевелится, загудит одобрением. Чем больше распалялась, тем лучше у нее получалось. Так складно, легко, понятно, увесисто текла ее речь. И шутку учудит, и гримасу состроит, и все в точку. На важных собраниях маму часто просили выступить по какому-нибудь вопросу. Речь ей никто не писал, говорила всегда свободно. Не было случая, чтоб она не нашла слова или выражения, не могла бы залихватски закончить речь. Вроде шутит, озорничает, а послушаешь — дело сказано, да еще как. Уж что-что, а ораторские способности ей даны были от природы. Если на каком-нибудь слете или пленуме не было маминого выступления, то мероприятие как бы не имело завершения. Ищут ее, оглядываются: «Неужто, Петровна, не скажешь ничего?» Переставала мама ходить на собрания, только когда была в положении.

— А где же ваш Плевако? — спросил какой-то начальник, прощаясь с председателем райсовета.

— Прибавления ждет.

А потом пошло: только один ребенок из пеленок выберется, на ножки встанет, она уже другого чувствует в себе…

Председателем колхоза маму выбрали первый раз в Щербиновской — на родине. Думаю, что не последнюю роль здесь сыграли сельские трудяги. Тут бы и порадоваться всем: человек нашелся путевый, известный, с подходом к людям, вся жизнь ее на виду. Ее всегда все любили, и она словно овевала всех своей любовью, колхоз при ней был как одна семья. Так бы дальше и растить, на радость всей стране, лучший колхоз. Но нет! Умели высокие начальники похвалить, сунуть грамоту, премию — одеколон — и патетически сообщить: «Будем посылать тебя,

Петровна, на отстающие колхозы! Кто, как не ты, управится?»

Мама слушала, едва дыша от волнения: она верила, что надо распространять свой метод работы, надо вытаскивать бедноту, искоренять пьянство, лень, неумение трудиться, и выбрали для этого не кого-нибудь, а ее!

Помню, доведет мама отсталый колхоз до передового, люди полюбят ее, привыкнут, а нас вместе с подушками и чугунами вновь грузят на телегу — в путь-дорогу, в другой колхоз.

Помню исказившиеся от рыдания лица женщин, они всегда долго шли за нашей телегой, пока мама сквозь слезы не крикнет: «Хватит! Вертайтесь до дому! Вы что, хороните меня? Или не знаете, где колхоз «Мировой Октябрь»? За сто километров уезжаю, чи шо?» Колхозницы замолкали, переставали плакать и останавливались.

Мама была для людей радостью и надеждой — любили ее, я уж говорила, все без исключения, только и слышишь: «Петровна, Петровна».

В страду и школьников, и горожан, и студентов мобилизовывали к нам в колхоз на помощь. Помню, с грохотом по неровной дороге тащится телега. На ней котел, посуда, буханки хлеба, старенькая гитара. Повариха тетя Вера заделает тот еще кандер. Это кукурузная крупа, вымоченная за ночь, лук, зелень всякая — вкуснотища! Котел громадный — уплетают все за милую душу. Потом компот из абрикосов. Мамину гитару возят всегда: а вдруг случится чудо и она споет. Любо-дорого было ее слушать. Приезжие раззявят рты и не могут оторвать глаз от нее. Все с нетерпением ждали, когда солнце сядет за горизонт — конец работы. А оно, казалось, стоит на месте — так душно, жарко, «силов нема». Наконец повариха как даст бруском по висячему рельсу — всё, отработали.

— Обед, обед! Налетай! — Довольные работнички подтягиваются к котлу.

Раскидываются по траве алюминиевые миски и ложки. Неторопливо сходятся и наши, и студенты. Большим черпаком тетя Вера накладывает во все миски: «Смотри, горячее!» Вижу, один из студентов отошел в сторонку, платочком обтирает мамину гитару, садится возле своей миски, кладет гитару рядом. Я заметила: он всегда норовит сесть с мамой. Ей нравится быть среди людей, в гурте — обед, общие разговоры. А тут она припоздала, ищет глазами, куда сесть.

— Ирина Петровна! — зовет студент.

— А вон она, моя красавица!.. Я сейчас из бочки ополоснусь немного. Пускай пока остывает, — кивает она на миску и уходит в густые заросли — там стоит бочка с нагретой солнцем водой.

— Фу! Хорошо!

Жара была весь день нестерпимая. Мама села возле гитары к своей миске. Застучали ложки, закряхтели от удовольствия проголодавшиеся. И мама тоже уминает. Ее сосед по застолью вынимает какой-то листочек и кладет возле нее. Она осторожно берет, читает, удивляется:

— Ой, какой ты красавец! Какой костюм и скрипочка!

— Это все ерунда. Главное, я занял в Краснодаре первое место по классу фортепьяно.

— Вот это да! Молодец, парень. Как тебя зовут?

— Виктор.

— Как моего мужа.

— А вы мне сказали, что у вас нет мужа.

— Куда он денется. Сейчас на сборах. Военный он. А я пока разгонюсь, песен попою. Не любит он песен.

— Голос ваш божественный.

— Я знаю, что хороший, но не так чтоб уж божественный.

— Божественный, божественный! — Студент с восхищением произнес эти слова, и стало понятно, что восхищается он не только голосом. Так он и страдал: и место маме занимал, и гитару протирал, а маме все равно. Однако парень не мешал ей своим присутствием. При нем, музыканте, она и пела наиболее задушевно. Иногда и он брал гитару и тихонько, умело аккомпанировал.

— Петровна, — сказала маме как-то тетя Вера, — не своди с ума пацана!

— Он не пацан. Ему двадцать три года, армию отслужил. Глупостями всякими заниматься не спешит. Ему надо догонять своих аж за два года. А так он мальчик хороший, смешливый…

— Смешливый? Да он как аршин проглотит, когда тебя нету.

— Я ему вольностей не разрешаю. Что-то он мне расскажет, споет тихонько, посмешит. Ну и дура ты! Он в Москве в консерватории учится. Отличник. Мне и хочется петь для него. Вот и всё.

Настала осень. Мама нас с младшей сестрой взяла в Ейск к тете Еле. Та жила на главной улице, в маленькой хатке. Солнце еще не село. Мама приказала ждать ее, ей сейчас надо уйти. «А потом, вечером, пойдем на концертик…» Стемнело, и мы оказались под старой акацией, раскинувшей пышные ветки. Вдруг распахиваются окна богатого, красивого дома, и студент Виктор, здороваясь, улыбается.

— Прошу вас, заходите.

— Не-не, в дом не! — сказала мама.

Он пододвинул рояль поближе к окну, потер ладони, лицо его

стало серьезным. Выждал паузу — и грянул Первый концерт Чайковского.

Вечер. Красивая улица, красивый парень в белой рубашке за роялем. Звуки полетели по улице к самому Азовскому морю. Мама, подавшись вперед, словно окаменела. Мы с сестрой тоже дохнуть боялись. Деликатно подходили отдыхающие. Исполнитель взмок, рубашка прилипла к спине. Прозвучал финальный аккорд, мама кинулась к окну, поднялась на цыпочки, пальцами зацепилась за наличник, волнуясь, поблагодарила:

— Молодец! Ох, молодец! И люди те молодцы, что научили тебя…

— Я сейчас вас провожу.

— Нет. Тут недалеко. Пошли быстрей! — заторопилась она, чтоб он не догнал нас.

Мы скрылись в темноте чужого двора…

Заночевали у тети Ели, утром на базар сходили — и на попутке до порта.

Убрали урожай… Зори стали холодные, лето кончилось. Но на работу ходили: то кукурузу лущить, то веять на ветру пшеницу, то еще что. Кроме того — занятия в хоре, где мама была главной.

Незаметно я стала ее равноправным собеседником.

— Ты знаешь, дочка, нелегко бывает. Вот тут как-то вас спать уложила, а сама на улицу вышла. Темно — глаз коли. Собаки и те незнакомым лаем гавкают. Стою посреди села и думаю: с чего начинать? Третий колхоз уже, а каждый раз все другое. Надежда только на людей.

И не бывало у мамы так, чтоб не заладилось.

Помню, в Доме кино была премьера фильма «Чужая родня», мама в это время гостевала в Москве. Ее восторгу не было конца.

— Смотри, доченька, сколько людей заинтересовались вашим трудом, ни одного места нема свободного.

Глаза ее расширились, когда она увидела такой же до отказа заполненный зал и на втором сеансе.

— Видишь, люди уважают вас, пришли.

Нас опять вызвали на сцену. Овация. Мама аплодировала громче всех, сияя своими белыми-пребелыми зубами. А когда мы сели в метро, она вдруг заплакала.

— Хотела я признаться тебе… Только не пугай детей… Знай как старшая: заберут меня скоро в больницу. Думаю, не вернусь обратно.

— Что ты, мама! Что ты говоришь такое!

— Тише — люди смотрят…

— Немедленно перебирайся к нам! Тут Москва, врачи хорошие.

Она приехала, устроилась работать в подмосковный совхоз «Люберецкие поля орошения». Дали ей комнату в бараке; съездила за детьми — их трое оставалось. Одну из сестер я к себе взяла. А куда — к себе? Комната все та же — четырнадцать метров. Когда мама приезжала в Москву и оставалась у меня ночевать, она и сестра ложились на полу, а я сердилась, что мы с мужем на кровати: хотелось к ним под бочок. Сын спал в кроватке своей. Брат после пограничного алма-атинского училища был назначен начальником заставы на Памире. И как все в жизни связано! Его сын Илья закончил Институт кинематографии, факультет документального кино, стал кинооператором и с камерой летал по самым горячим точкам. Первой оказалась та самая застава, начальником которой когда-то был его отец. Там шел бой — сегодняшнее военное наше время. Илье напомнили о службе его отца Геннадия Викторовича Мордюкова. Журналисты сняли этот сюжет на пленку. Потом показали по телевизору нашего племянничка с камерой на фоне гор Памира. После Таджикистана он много раз летал в Чечню. Вечером, как скажут в «Новостях» по телевизору: «Хабаров и Илья Мордюков», ложимся спокойно спать: ага, живые. И Босния, и Афганистан, и снова Чечня… И всюду он, наш Илюша.

Да, вернусь к маминой болезни. Скрутила она ее. Стала мама твердить, что когда я куплю новый платяной шкаф, то свой старый должна детям в совхоз переправить. У них там через всю комнату веревка протянута, и на ней висят носильные вещи.

И вот маму забрали в больницу. Помню, она просветленно сказала:

— Доченька, тут такие условия, такое обхождение! Разве они дадут умереть?

В электричке я плакала после разговора с хирургом: мама натрудила грыжу. Посоветовали вырезать. Она так боялась ножа, что и температура вдруг упала до нормальной. Она ведь никогда не обращалась к врачам. «Ото только в роддоме и отдыхала, и лечилась», — говорила. Грыжа не стерпела дальнейших нагрузок, может, от нее и завелся рак. Пятьдесят лет — разве это возраст? «Разрезали и зашили» — есть у врачей такой роковой диагноз. Привезла я маму назад в барак. Кругом лес, красота. Начиналась весна, стали выводить ее во двор, сажать на табуретку, чтоб воздухом дышала.

— Знаешь, дочка, я сельский человек, а природу не знаю… Некогда было изучать. Все работа, работа. А сейчас все знаю: и время зари, и когда какие птицы щебетать начинают. Ну ладно,

вот выберусь из болезни… Ничего мне не надо, только глядеть на вас. Это великое счастье — на своих детей смотреть…

— Да, мама, хорошо, что нас много.

— Вы, дети, проследите за Дарьей Васильевной, чтоб она не подстроила чего-нибудь божественного.

— А чего? Она ж твоя подруга.

— Я знаю все ее уловки. Помните, что я коммунистка? Проследите, чтоб никаких свечек, тем более икон.

— Успокойся, дыши ровнее. Дарьи Васильевны нет в совхозе.

Ее сухое, желтое лицо выразило недовольство: не проводить свою подругу в последний путь, как же так?

— Больно, больно! Укол скорее!

Побежали за Ниночкой Зайцевой. Она на медсестру училась.

От укола мама успокоилась и почти до самого вечера моргала и смотрела в потолок. Потом прошептала:

— Нонна, я тебя вот о чем попрошу… Слушай меня, доченька, внимательно. Дети! Сделайте, как я прошу… — Медленно она старалась внушить нам что-то. — Как я умру, позовите старушку с книгой, потушите электричество и зажгите свечи. Принесите иконку от Васильевны, поставьте передо мной… Пусть будет как положено…

Она надолго замолчала, мы сидели и поглаживали ее руки. Открыла глаза, улыбнулась — и всё.

Мы исполнили ее пожелание, обряд свершили как полагается. Я в душе довольна была, видя, как старушка, встав на колени, читала и читала молитвы всю ночь… И свечи были какими-то теплыми, иконка. К этому времени Дарья Васильевна включилась во все. Когда мы шли за гробом, нам непривычно было то, что люди клали деньги маме к ногам.

— Это ничего… Это так надо — на поминки… — пояснила женщина. — Люди от души… преподношение.

Кажется, совсем недавно большой блестящий автобус забирал маму, трех моих сестер и увозил их из совхоза в Большой театр на репетицию предстоящего концерта самодеятельности, в котором будут выступать артисты со всей страны. Это была ее стихия! Как пылко она распоряжалась аранжировкой, чтоб петь на четыре голоса. Жаль было маму: мы видели, как она держалась за правый бок перед выходом, превозмогая боль.

— Сестры Мордюковы! — объявляют.

Я сижу в партере, наслаждаюсь красивым пением, горжусь своими самыми близкими. Меня в концерт не включили, потому что я профессиональная актриса.

В последний раз, возвратившись с репетиции, мама с белыми губами села на табуретку и сказала:

— Простите меня, дети, больше не поеду.

Вскоре ее забрали в стационарную больницу. Руководитель самодеятельности расстроился. Оставил сестер моих Люду и Наташу спеть в два голоса «Сулико». Иностранцы аплодировали им вовсю: две хорошенькие девушки со светлыми косами прекрасно исполнили песню на грузинском языке. Получили приз: газовые косыночки и браслеты грузинской чеканки. Мастер — Коба Гурули. Когда пришли к маме, она приподнялась на постели и, радостная, попросила дочерей: спойте «Сулико» как там и станьте так же, как там, на сцене.

Да, она могла бы стать прекрасной актрисой, это все замечали. Известные режиссеры и актеры интересовались, когда приедет Ирина Петровна. Я уже писала, что ею восхищался Алексей Денисович Дикий. Он грустнел даже, слушая мамино пение. Самойлов, Герасимов, Шпрингфельдт, все они были в восторге от тембра ее голоса, ее музыкальности. Как же несправедлива судьба. Только стали выпутываться из тисков тяжелой жизни. Попели бы на радость себе и людям. Нет, умирай! Да помучительней, подольше!

Плакать уходили в лес, чтобы она не видела наших слез.

— Как умру, не плачьте… Пойте наши песни, которые мы вместе пели.

Материнское сердце как бы загодя, авансом утешало плачущих детей.

С похорон пришли, я села к столу, кем-то накрытому для поминок, и подумала: «Я не дочь… я ничья не дочь. Я тетка». Физически прочувствовала — тетка.

Мамочка, дорогая, мне и сейчас тебя не хватает, хотя я уже старше, чем была ты.

Часть II
Не плачь, казачка!

Утречко

Раннее летнее утро. Цветет яблоня. Сидим под нею и завтракаем. Появляется в частоколе личико соседского мальчика Толи.

— Нонк! Вы завтракаете?

Я ехидно молчу — обижена на него.

— Вы пышки едите?

— Пышки, — говорит мама.

— Нонк! Если б у меня были пышки, я б тебе дал.

— А вы еще не завтракали?

— Не-е, у нас корова не доится…

Я как можно выше поднимаю пышку, намазанную медом, и, задрав голову, откусываю.

— Нонк, вы с медом пышки едите?

— С медом! — отвечаю.

— Если б у меня был мед, я б тебе дал.

— Заходи, — приглашает мама.

— Ему нельзя, — говорю.

— Почему, Толик?

— Батько и мамка сказали, шо ваш батько — дурак. Ваш батько в красной рубашке ходит.

— А вы кулаки! — обижаюсь я.

— Цыть! — шлепнула мама ладонью по столу. — Вас еще на свете не было, когда их раскулачили!

— Нонк! Мы раскулаченные…

— А погоны от беляков, — кольнула я, — где прячете? В кувшине на горище?

— Тетя Ира, — осторожно обращается Толя к маме, — ваша корова погуляла, так давайте десять рублей — батько послал…

Мама без слов берет из-под клеенки деньги, чтобы отдать ему для отца-пастуха.

— Ну, иди уже… — дразню его, едва терплю — скорей бы помириться. Вижу, он, как бычок, крутит чубом и кряхтит… — Толик, ты чего?

Он заплакал, не поднимая лица.

— Я застря-ал…

Ну, я тут как тут — забегаю за забор, приседаю на корточки, разглядываю его лицо. Слезы капают мне на плечо. Мама рядом.

— Ох ты, батюшки! Чернобровенький ты наш казачок…

Она побежала в сарай, взяла колун и поддела доску частокола. Доска упала на землю.

Я Толику — и пышку, и молока в кружечке. Он взял, но не сразу приступил к угощению — отдышался сперва. Привалился спиной к забору и принялся жевать пышку, запивая молоком. Я сижу рядом — помирились, значит. Вдруг как выскочит из-за угла ватага детворы да как закричит на весь хутор:

— Ур-ра-а! Нонка, Толик! Побегли кабана топтать!

Я дернулась было, но глянула на Толика.

— Сперва гроши отнесу, — допивая молоко и запихивая в рот пышку, ответил он.

— Ладно! А я побежала! Скорей!

Кабана топтать — это дело! Когда его заколют, форсункой шерсть спалят, пускают детей прыгать на туше, чтоб сало от мяса отошло. Топчем, бывало, смеемся, визжим — дело делаем!

Как по команде вылетаем из амбара — хватит. Перевернуть кабана на другой бок надо. Это взрослые делают. Как перевернут, опять нас кликнут. Прибежим — куда мы денемся! Летим дальше, пыль на дороге поднимаем. У кого родимое пятно на затылке, кто белобрысый, кто собакой укушенный…

А я — Нонка! Нарекли невинное дитя… При чем там была Нонна? Среди казацких хат, кубанских степей разве это имя для вовсе не поэтической девочки с пыльными ногами? Как ни вдалбливала мне мама любовь и память о той девушке Нонне, что приехала когда-то из Москвы комсомольские дела проверять, я все равно ее не полюбила, потому что не видела никогда. Казачки отводили иногда душу, рассказывая с издевкой, как мама понесла меня, запеленутую, в сельсовет, где сидела делопроизводитель — такая же молодая комсомолка. Долго она листала толстую книгу с именами, чтоб по-человечески записать.

— Такого нема, Петровна…

На Кубани родившую ребенка называли по отчеству, какая б молодая она ни была. Мама, рассказывают, ткнулась в кулек с дочкой и зарыдала.

— Не плачь! Постой… Сейчас ноябрь — так? Запишем — Ноябрина… Возьмешь первый слог и последний — будет Нона.

Мама еще горше заплакала:

— Там же две буквы «нэ»!..

— Подставим — и всё! Не плачь…

Подставили, я и стала гасать (прыгать) по жизни Нонной. Кубанцы называли меня «Нонк» — и не иначе. Сейчас, правда, высокими голосами кричат по телефону из Краснодарского края, Нонной Викторовной называя, и приглашают приехать с

творческими вечерами. А тогда — Нонка! Нонк! — кувыркались в детских радостях своих…

Глядь — армянка Жанна несет нотную папку на шелковом шнуре. Они были богатые. Отец чувяки шил и в Ейске продавал на базаре. Разворачиваюсь на сто восемьдесят градусов и иду рядом с нею. А как же! Я очень тянулась к звукам фортепьяно.

Учительница старая-престарая. Барыня. Кругом вазы, чистота. Один раз она пообщалась со мной и, не помню почему, предложила заниматься бесплатно. У меня живот заболел от волнения, вертелась без сна. Моментально включилась в новую жизнь. Сперва у них, у армян, учила гаммы и этюдики. Потом склеила две газеты и полностью перерисовала на них в натуральный размер клавиатуру. Я быстренько освоилась: главное — каким пальцем какую клавишу нажимать. Это просто. Они под цифирьками. Походила я, походила, и учительница маму зовет. Мама, помню, сидит как виноватая, босые ноги под стул поджала.

— Пусть ходит, прошу вас, платы не надо.

Мама кашлянула в кулачок и сказала:

— Да почему?.. Пуд муки можем…

— Идите с богом… К следующему занятию жду ее.

Жанна осталась. Мы ушли с мамой, и долго, пока под гору не спустились, доносились до нас звуки унылой гаммы.

И, что интересно, я за очень небольшой срок одолела первую часть «Лунной сонаты» Бетховена. Она несложная. Бабка, видать, приналегла, чтоб заставить меня понять прелесть музыки.

И тут сработала моя плохая черта: добившись «Лунной сонаты», я успокоилась и быстро отключилась от этой волынки. Хватит. Дальше стало нудно и однообразно. «…Раз, и! Раз, и!» Триоли, одна шестнадцатая… Бог ты мой! А как уронила учительница голову на мою руку, я не знала, что делать: или вынуть руку из-под нее, или пусть еще поспит.

…Входим мы в хутор с мамой, я с удовольствием кинулась к «своему народу»:

— А! Вот они!

Присели под забор поглазеть: умерла или еще не умерла старуха. Посреди двора шевелилась серая куча из костей, тряпья и седых торчащих волос. Безумная никак не умирала… Скребла ногтями пыль и сыпала на себя. Звуков уже не слышала; ни воду, ни пищу не принимала. Мама сказала, что в молодости она была красавица. Прожила жизнь одна. Где-то погиб ее жених, и она переехала жить к нам на хутор. За высоким забором да с прикрытыми ставнями провела свой век. В хате у нее было красиво и богато.

Шила бурки и телогрейки на продажу. Много молилась. Батюшка отметил ее красоту и молодость; как-то выразил свое почтение к ней. Она тут же церковь поменяла на другую, стала ходить молиться в станицу. Теперь вот крутится почти голая: морщеная кожа на костях, пыль, серость — останки человека. Когда-то была неприступной, гордой, а надвигающаяся смерть вынудила выйти из дому, сзывая людей для похорон. Посмотрели на старуху и побежали дальше.

…Вот и берег реки Ея. От нее и город Ейск называется. Каюк качается на воде. С нами Веруха. Семечки лузгает, а воду черпать не собирается. Мы с Толиком и сами справились.

— Неси наган, — прошу Толика.

— Батько перепрятал.

— А ты пошукай.

— Ну, нету!

Наган — интересная штука. Его хорошо рассматривать. Он как дядько: молчит, а стрельнуть хочет. Дай ему патроны…

Направились к церкви. Ах, сельская церквушка! Уцепилась за тишину и покой… Угождает человеку блаженным запахом, чистенькими вышитыми полотенцами на иконах. «Не сокруши!! Не убей» — просит с испугом. В небольших оконцах ветки сирени с солнцем поигрывают. Двери открыты. Службы нету, а все равно манит, ласкает и любит человека. Как служба идет, то спасу нет от слез. Поют душевно, красиво. Заслушаюсь, бывало, и по маме плачу. Она сказала, что мы все умрем. Я-то ладно. Может, и не умру… А ты, мамочка, не умирай…

Коровы идут на водопой. Отец Толика присел на лавочку возле своего дома и крутит самокрутку. Теперь коровы сами себе хозяйки: каждая в свой двор войдет, мордой толкнет калитку — и к кадушке с водой. Хозяйки торопятся на дневную дойку. Детвора тоже сами себе хозяева, крутятся, вертятся каждый по-своему. Игрушек у нас никогда не было магазинных, и не заведено было на них рассчитывать. Детская тяга видеть в игрушках людей полностью восполнялась собственноручными изделиями. Кукла Барби обворожительна, но сшитая тряпочная кукла так же дорога и любима. У нее есть имя, одежда; с нею разговаривают дети. Это член семьи. А спринцовка с отрезанным наконечником вполне заменяет мяч.

Дети глухого села не ущербны. Жалобно о них вспоминать не надо. Им, необеспеченным, природа дает взамен большее. Подумать только — сочинить и исполнить елочную игрушку. Включаются и взрослые, происходит творческое единение семьи. Елка в наших краях — это колючий куст терна… А сказки! На закате солнца гуртовались у теплой стены хаты и цепенели от

удовольствия слушать сказки или случаи разные.

Для сказок лучше всего были сумерки…

Стали потом кино привозить. Стена хаты была экраном. Артисты с расширенными глазами все моргали, моргали, и живот дышал. Они все дышали, ходили понарошку… А то целоваться начинали. Ну, мы разбредались, а взрослые ни живые ни мертвые впивались в происходящее и реагировали то смехом, то слезами.

Время бежало вместе с нами, мы росли, и я раньше других стала тулиться к подросткам. У них гармошка играет, поглядывают игриво по сторонам. Дядя Федя слепой наяривает, а молодежь пританцовывает, и руками дотрагиваются друг до друга. Нас прогоняли, но не так-то просто прогнать подрастающее существо. Я стала упрямо искать гармошку и ее окружение.

Однажды забилось мое сердце, я почуяла подвох: гармошка с компанией улетела в соседнее село. Ночь. Летняя темная ночь, без звезд. Закусив губы, помчалась по бурьяну. Ветер то доносил звуки гармошки, то они пропадали. Никакая сила меня остановить не могла. Найду! Километра четыре надо было преодолеть. Найду! Я к ним хочу! Темно, но лай собак помогал чувствовать направление. Нашла! Не спеша приблизилась к «предателям». Никто меня не заметил и не прогнал. Но парень один обидел сильно: ни с того ни с сего шлепнул ладонью по заднице. Очень больно и очень сильно.

Никто не прореагировал. Еще бы! Улыбочки да воркованье для них важней всего.

Плакать я не стала, чтоб не засмеяли. Не заметили, ну и не заметили…

Выбрала момент и тихо направилась в темноту, обратно на хутор. Мама у калитки стояла. Я не дала ей ничего сказать.

— Мамочка, не ругайся. Я всегда буду около нашей хаты гулять.

Пресекли мой прыжок — обидно, больно пресекли: «Не гуляй, еще рано!..» Ну что ж — на ловца и зверь бежит. Пригнал как-то парень велосипед маме — это из Краснодара прислали тем, кому по комсомольской работе надо по хуторам и селам ездить.

— Тетя Ира, распишитесь.

Мама без выражения на лице расписалась, и парень вкатил велосипед во двор… Тут и началось.

Мама и не подумала учиться ездить. И стыдновато как-то, и неведомо. Я же ухватилась за велосипед как сатана. Мама не противилась — пусть ребенок забавляется на глазах. Сколько поту я пролила, сколько шишек себе набила, пока не уловила, как именно надо тронуться с места. И веревку от дерева к дереву привязывала, чтоб держаться за нее, и детвора помогала как

могла — не получается! Ноги до педалей не доставали — я в раму, согнувшись. Один парень показал — не получается как у него…

И вдруг уловила! Уловила! Еду! Ехать-то еду, но останавливаться не могу. Дыхание сперло от успеха, но… как же остановиться? Только падать — один-единственный способ. А ехать — еду! Прекрасно. Собралась компания с гармошкой… Я проехала с шиком мимо, а там будь что будет… Докатила до конца хутора, смотрю, Надька Сильченко двор подметает.

— Надь-ка! — заорала я.

Пролетела — и мимо. Наехала на бугор, велосипед — в одну сторону, я — в другую…

Лежу на спине, смотрю на небо… Вот вам всем!

Я слышала, как они завизжали, испугавшись моего велосипеда. И Надька тоже ошалела… «Прекрасно… Я доучусь, я смогу!..»

…Звук гармошки гипнотизировал меня. В ее тембре содержалась нарождающаяся во мне тяга к парням. А гармошка — она негордая. И грает себе везде, где попросят. Зачастили и на нашем хуторе гульбу справлять. И сейчас помню душевность гармошки, сентиментальность и тихое единение окружающих.

В оснащенной до зубов рок-музыке есть опасность раздухариться до разбоя. Но кто бы ни услышал впервые такую музыку, обязательно потянется к ней — надолго или ненадолго. Не ходи в рок! Он недобрый! Куда там! Что человек слышит, что видит, то и перерабатывает в себе. Попробуй одернуть такого — закричит как резаный!

Помню, мама взяла меня в Краснодар на недельку — надо было ей все про комсомол да про комсомол выяснять. Остановились возле озера Карасун у ее подруги. Дворик обычный: одноэтажные домики срослись, продолжая жить хуторской жизнью. Хорошая житуха! Люди из сельских мест заселяли города, не желая расстаться с удобством деревенского общения. Глаза продрал — и, пожалуйста, здоровайся, иди в дом. А не хочешь — не здоровайся, не общайся и в дом не иди, пока желание не появится.

Москва не способна предоставить людям сельское общение. Так, корябаются к соседям, пытаются обуютить свое житье-бытье, да получается поверхностно, так сказать, шапочно. Ничего не поделаешь…

А тот дворик маминой подруги в Краснодаре взял меня сразу в свои объятья. Все мне разрешали, лишь бы на улицу не выходила и не зарилась на спелые груши, свисающие с соседнего двора. Хочется сильно, но боязно. Щеки касаются, пахнут, но

терпи.

Хозяином груши был милиционер. Чего они не рвут?.. Трудно было не смотреть, не думать о грушах. Жильцы полюбили меня, угощали чем хочешь — и киселем, и семечками жареными, и борщом. Но я все же цапнула грушу. И только вонзила в нее зубы, только брызнул благодатный сок, как мамина подруга пустилась расспрашивать:

— Батько дома?

Мотаю головой.

— В школу ходишь?

Откусываю, жую и утвердительно киваю.

— В какой класс?

Молча, страстно кусаю и жую. Сок втягиваю и не хочу отвечать.

— В первый?

Отрицательно машу.

— В третий?

Киваю положительно.

— А как милиционер явится?..

Я торжественно догрызаю грушу, бросаю огрызок и с победой в голосе упреждаю мамину подругу:

— Не бойтесь! Груш много, он не заметит.

Прошло дня три. Освоилась я. С интересом наблюдаю за сборами соседей, как они укладывают веши, перевязывают их шпагатом. Я уже вросла в их семейную историю. Мне понравилось впервые услышанное слово «квартира». Что это? Оказывается, такой же дом, но все комнаты будут ихние… А потом еще полуторка приедет. Они на новую жизнь наладились, а я уж больно хочу посмотреть, как оно все будет. Мама приедет послезавтра, а завтра — счастье на мою голову: мамина подруга разрешила ехать с соседями и даже ночевать у них! Всю ночь не спала, под утро сон сморил.

Проснулась от маминого голоса и, резко встав, чуть не крикнула:

— Я на квартиру поеду!

— Мы потом сходим, дочка, — провела мама рукой по моему плечу.

— Нет! Не сходим! Отойди! Не люблю тебя! К ним хочу на квартиру!

Я выскочила и подбежала к урчащему грузовику.

— А я?!

— Ладно, Ира, я завтра приведу ее, — успокоил маму хозяин.

Я и не подумала оглянуться на маму. Я еду на квартиру на полуторке!

Я буду ночевать там!..

Приехали. Один из домов полностью пустой — аж три комнаты. Пробежались мы с соседской дочкой, выглянули в каждое окно и выскочили во двор. Начали выгружать! Интересно! Смотрю, девчонка сидит на ступеньках и ест кубик бело-желтый.

— Что это? Дай!

— На.

Откусываю, жую… Новый вкус, хороший. Это был сыр. И новая девочка с сыром — интересно. А еще ж ужин, ночевка… Здорово!

…Я и не знала, что так загорится у меня в груди от немедленного желания встать с постели и быстренько очутиться возле мамы. Сопят все кругом. Хозяин храпака дает, в окнах темнота… Скорей бы утро! Не буду спать, чтоб скорей ночь кончилась!

Проснулась от мамочкиного голоса:

— Нагостевалась?..

Вместо ответа я вскочила и прижалась к маме, обвив руками ее шею. Опять наш дворик дорогой! И мама, и мамина подруга — как хорошо! И груши распрекрасные… Чего там говорить! Я им показала, как надо рвать, — не подряд, а вразнобой, незаметно.

…Так сейчас и на заморских музыкантов набросились, как тогда я на квартиру, полуторку, ночевку в новом доме… Америка? Хорошо! Возьмем Америку — запляшем и закричим, как они. Законно, преклонение перед Америкой — прет устроенность быта, красота в одежде, яркость предметов… Возле гармошки навоз, корова и беднота. Эти же, патлатые, богатенькие, в красоте живут. Достать их не достанешь, а в музыке — пожалуйста! Под них, под них и только под них.

Музыкальный инструмент — выходка образа жизни, национальности. Народ создает свою музыку органично; и ему, этому народу, подобраны соответствующие музыкальные инструменты. Неимущий, нищий народ склонен к ломке своих устоев. Они ему не дороги, как не дорога нищета. Кидается туда, где блестит, сверкает и манит. Тянется не к заморской музыке — тянется к той, что исторгает музыкант, богато и красиво живущий. Кто-то рвет корни и летит в «счастье», но далеко, далеко не все. Бывает, как ковыль от ветерка, колыхнется с любопытством — да и только. Рвать и лететь — сохрани боже… Треснет жизнь, умрет родня, свои люди, закончится род… Нипочем не надо!

Детство избавляет от таких трудных задач. В детстве легко и радостно. Какая-то ты невесомая, всеми любимая, защищенная гуртом людей. Одно-единственное желание, чтоб мама, мамочка

дома оказалась, когда приду.

Мама любила меня. «Пойдем, дочка, я «присплю» тебя». Это значит, рядом ляжет, погладит, легонько похлопает, пока не усну…

Однажды со всех ног лечу домой и сообщаю:

— Мам, слушай!

Когда Ленин умирал,
Он Сталину приказывал,
Шоб он хлеба не давал,
Сала не показывал!

Мама с разинутым ртом, подбоченившись, склонилась ко мне:

— Это откуда ты такую гадость взяла?

— А там. На сходке, казаки жируют… Спел один.

— Пьяный?

— Не пьяный, — упрямо возразила я.

— Может, иногородний?

— Казак! Дядя Витя Слепцов.

Мама выпрямилась, приложила ладонь ко рту и беспомощно буркнула:

— Черт-те что…

В те времена слово казака — закон. Казак никогда не сделает плохого. Он и защитит, и научит, и разберется. И шашка его, и папаха источали энергию, патетику справедливости.

Еще только руку протянул казак к обмундированию — и уже полностью входит в силу веры, служения людям, своей значительности. Казак значителен. Военизированная форма — это не знак войны и драки. Это обозначение его принадлежности к казачеству, как мантия судьи. Правда, мантия надевается на время суда, а казацкое обмундирование на казаке навсегда. Это его стать, самоутверждение и клятва.

Помню, как колхозники негромко и печально роптали. Надвигался опять голод; надо было решить стыдное, нечеловеческое дело — пахать на коровах. Со вздохом должны были принять такое святотатство. Уже мне и спать хотелось, и маму жалко, и всех людей. Тесно и жарко… Обреченность и горе… А как появились два казака да атаман, присели под керосиновой лампой — легче стало.

Они решат. Они сделают правильно. Что повелят — ошибкой не будет. Их надо было знать.

К примеру, если бы дознались, что кто-то изнасиловал пятилетнего — плетьми до смерти, принародно! Чикатило

казачки не подарили бы месяцы жизни, пока шло расследование, допросы, доказательства… Только плеть — до смерти, принародно. Если рука протянет наркотик — эту руку срубят шашкой. Кто ты? Ты человек, протягивающий смерть себе подобному. Сколько родителей желали бы разорвать на куски такого торгаша!

…Или пакость гундосая — рваный, сопливый на экране телевизора знакомит, жестикулируя, следователей:

— Вот тут мы душили… Вот тут насиловали, тут расчленяли и в пакеты расфасовывали…

Как прожить оставшуюся жизнь родным, потерявшим свою девочку, розовую, чистенькую, домашнюю! Картины ее агонии до конца жизни будут стоять перед глазами мамы, папы, дедушки, бабушки.

— До каких изощрений доходят родители в поисках пропавшего ребенка! — сказал как-то следователь. — Годы… Годы ищут. Неустанно, методически… Нам и не снилось так искать.

Убийц казаки не держали «в темнице сырой».

Бывала мера и немаксимальная. «Так, чтоб больно сидеть на стуле…» «Чтоб помнил, за что по тебе плеть походила». «И другие призадумаются».

Тут недавно показали по телевидению следы погрома в студенческом общежитии: на развороченной постели лежали нетолстая цепь и электропровод. Дикторский голос поясняет: сорок казаков и не казаков излупцевали продавцов наркотиков до такой степени, что они находятся в больнице. Потом атаман, давя в себе негодование, негромко пояснял:

— Не сорок казаков, а двадцать… Остальные — не казаки.

Он не количество имел в виду — лицо его едва скрывало желание быть рядом с теми, кто наказывал торговцев наркотиками.

Цепь и электропровод выглядели на экране справедливо. Родители бы на части разорвали своими руками тех, кто угодил в больницу. «Не торгуй смертью, не пускай в расход чужую жизнь», — было написано на лице атамана…

А как-то подросток писклявым голосом рассказывал по радио, как они метались, желая скорее распрощаться с войной, идущей сейчас на юге.

— Все обманывали нас! Пересчитают, установят очередь — и опять не берут нас ни на поезд, ни на самолет.

Потом мальчик, не придавая значения слову «казаки», сказал:

— Вмешались казаки и всё наладили. Постепенно все уехали… А если б не казаки…

Я с особым вниманием наблюдаю за возрождением казачества. Еще совсем недавно их появление небольшой группой выглядело как-то невнушительно.

— Декоративно все это, — заявила моя приятельница. — Почему они облачаются во всякие аксессуары? Разве в этом дело?

— В этом! Я их знаю и помню.

С обмундирования начинается казак. Их становится много, от них сила исходит, и возрождаются они только с одной целью — превозносить Россию, служить ей, защищать, как любимого ребенка.

Мама тоже знала суть казачества: казак не предаст, не соврет, не навредит. Только честность, только отвага и справедливость. Так, как мама могла взять себя в руки, никто не мог из женщин. Помню, вышла она в сенцы и вернулась с ведром и кружкой. Поставила с шумом ведро передо мной, сунула кружку мне в руку и сказала:

— С завтрашнего дня будешь в поле воду людям разносить, чем на сходки казаков бегать… Здоровая кобыла — скоро уже девять будет. Поняла?

— Поняла, мамочка…

Так началась моя трудовая жизнь. Росла, привыкала, выполняла… Спасу нету — как тяжело работать в поле. Там заваривается какой-то ритм, от которого можно сдохнуть. Жара, непрерывность, неверие, что могу справиться с рабочим днем.

Запомнился мне навсегда день, когда под комбайн поставили. Отойти и отдышаться — ни боже мой! Носим и носим в носилках-ящиках зерно. Конца-края нет этому сыплющемуся зерну…

Воду и ту подносят — пей и не сходи с круга. Вот только в эти мгновения человек разгибается, пьет неторопливо — это и есть отдых.

Однажды терпение мое лопнуло, как ремень на комбайне, что стоял посреди поля и мучил людей своей монотонной работой.

Никому не говоря ни слова, пошла по степи. Ох, как хорошо… Простор. Бугры, балки, даль… Отойдя от работающих с километр, плюхнулась на край обрыва.

Далеко видно. Красиво.

Думаю: «Если б я была художником, то нарисовала бы сидящего на земле человека, а за его ухом пространство природы. И ухо видно, и пространство». Но я не была художником, однако почуяла, что в колхозе мне не быть. Я его не одолею и не хочу…

Иду по пустому жаркому хутору, как сквозь строй. Там петух закукарекал, там собака залаяла; и выразила изумление хутора старая бабка:

— Чтой-то рано ты сёдня управилась?..

«Пошла к черту, не гавкай! Еще вечером перед мамой и отцом ответ держать…»

«Будет вечная музыка»

Нет-нет, а сверну, бывало, после института в деревянный дом.

Подвалило счастье моим подружкам-однокурсницам Кате и Клаве — расположились в старом доме с мебелью-хламом и двумя мальчиками-сиротами.

Вместе ели хлеб, полученный по рабочей карточке, — пятьсот пятьдесят граммов, топили печку ворованными досками, выковыривали из щелей стола застрявшие кусочки соли — соли не было. Кипяток — пожалуйста, сколько угодно. Ну и плюс ко всему гомерический хохот с утра до ночи. Смех неуемный по любому поводу. Помню, гнали нас с занятий за смех. Все студенты были «больны» этим…

Завидовала я своим подружкам. Еще бы! Глаза продерут, умоются — и через десять минут в институте. А мне еще до станции «Северянин», оттуда на электричке до города Бабушкина, потом сорок минут пешком… Клава стала главной хозяйкой и иногда снисходительно позволяла мне заночевать на бугристых пружинах старого дивана с восьмилетним мальчиком, когда старший дежурил в котельной. Какое это было счастье для меня!

Раз прихожу — лежит на столе чисто вымытая картошка. Лежит попарно, восемь штук. Катя одна. Болтаем и все поглядываем на картофелины — варить не велено. Уж и так и сяк отключаемся от них, а глаза оглядывают — душу травят. Скоро уж на электричку… Катя была сердечной девушкой, не смогла отпустить меня в ночь с мыслью о помытой картошке.

Махнула рукой и через полчаса пюре с сольцой давить стала. Вдруг рывком открывается дверь и входит Клава. Лицо ее скривилось: она оглядела дымящееся пюре и нас. Я скоренько подошла к пальто, сшитому мамой из солдатской шинели, и просунула руки в рукава. Дескать, не рассчитываю на угощение.

Катя улучила момент и ткнула мне в ладонь комок пюре. Сомкнув ладонь, я этой же рукой, указательным и большим пальцами, стала всовывать пуговицы в петли.

— Что с тобой? — недовольно спросила Клава. — Может, в туалет хочешь?..

Я схватила платок, сумку и со стоном выскочила на волю. Там разжала кулак, окунула обожженную руку в сугроб, другой рукой отыскала в снегу горячий комочек. Подождала, подула,

съела — и вперед на электричку.

После этого случая Катя побегала по соседям и в желтом доме с клубом имени Крупской нашла для меня угол за рабочую карточку. Это рядом. Планировка внутри какая-то придурковатая: сперва длинный коридор с множеством дверей, открываешь нужную тебе, и сразу спуск вниз по лестнице в комнату.

Живут в ней мать и две дочки — Шура и Лида. Нашлось и мне место. Еще бы не найтись! Карточка рабочая. Удобно стало: рядом с институтом и с подружками. Вот только голод проклятый мучил, не унимался ни днем, ни ночью. То терпимо, а то как схватит — хоть плачь… И вот брат мой двоюродный демобилизовался, Сергей Тимошенко. Ехал через Москву, нашел меня, чтоб накормить. Оказались мы у Красных Ворот — там где-то военная столовая для проезжающих солдат.

Сунулись — отказ: нельзя штатским.

— Зачем ты устроил это! — глотая слюни, говорю ему.

Но это ж Сергей… Подключил солдат, отвлекли часового, и вот я уже в столовой.

Поплыли алюминиевые мисочки с супом. Я шепнула Сергею, чтоб попросил вторую порцию. Не отказали. Потом бросками опять алюминиевые мисочки с кашей перловой и кубиками жареного сала. Хлеба побольше — брат подкладывает.

— Ешь, ешь, доходяга.

Тут кисель поплыл в гнутых кружках. Наелась как никогда…

Сергей Тимошенко — тип интересный. Когда Бондарчуки ездили в отпуск в село Широчанское, то считали, что время проведено не впустую, если там гостевал у матери Сергей. Он относился к тем людям, о которых Шукшин говорил, что подарок судьбы — встретить такого. Он тебе и споет, и побрешет чего, и последним куском поделится. Синеглазый чубатый казак с Кубани. Белозубый, с блудливым взглядом на женщин.

Какое-то время пошатался без работы — нигде не нравилось. Родственники укоряют: непривычно, чтоб мужик не работал. Бывало, придет и «обнадеживает» маму мою:

— Меня взяли в «Ейскую правду» главным редактором.

— Без образования?

— Почерк знаете у меня какой? Пысарем у армии был…

Потом эта версия затихает, рождается новая:

— Тетя Ира! Принял учера на полтора миллиона театрального хозяйства — нашего областного театра.

— Брешешь…

Однако уникальность его была неоспоримой. Он играл на всех музыкальных инструментах. Пел красиво бархатным голосом. Это были его козыри. Но и это не знал, как применить.

Исчезает, потом узнаём, что во Львове постовым милиционером пристроился. Привез оттуда жену — польку Ядвигу. С семьей — безвылазно — не мог находиться. Выпьет у друзей, припоздает и, придя домой, прямиком к комоду, над которым висят фотографии родственников, и умерших, и здравствующих. Поставит локти на комод и пустит горькие слезы. Дескать, жаль ушедших. Ядвига спокойно встает с кровати и нажаренную для него картошку опрокидывает со сковородки в помойное ведро. Он стелет себе отдельно. Наутро примирение, но ненадолго. Где только он не работал… И вдруг вижу в киножурнале перед сеансом: запевает в прикарпатском ансамбле — в соответствующем костюме. До чего хорош!

Является однажды в Москву с намерением сыграть главную роль в кино. «Сыграю как надо, лучше всех!» Два дня побыл, увидел, как мы ютимся в одной комнате, как нечасто дают нам работу, и его порыв нанести визит Бондарчуку и сообщить о цели приезда иссяк.

Как-то приезжаю на каникулы и иду семь километров пешком — Сергей, Ядвига и ребеночек в Широчанке у матери. Вечерком, когда солнце село, повел он меня к клубу. Амбарный замок для Сергея не помеха. Пролезли мы в окно и оказались в комнате, где хранятся инструменты. Я села на пол под окном, а он при лунном свете доставал то гитару, то трубу, побольше и поменьше. Сел и за пианино — усладил мою душу, попел красиво. Как это может быть? Не учился нигде и никогда.

Ядвига радостно усадила нас за ужин. Муж гулял с сестрой, а не с какими-то казачками-молодухами. Ей все время грезилась нечистая сила, подталкивающая мужа к измене. А он излучал прану далеко не всегда для измены жене.

Возле таких, как Сергей, люди гуртуются, как пчелы вокруг меда. Не забуду, к примеру, что вносил с собой на съемочную площадку Юрий Никулин. При нем становилось как-то благостно, все улыбаются, успокаиваются. А Пуговкин, а Николай Афанасьевич Крючков? И в поезде с ними едется как-то радостно, и все плохое забывается.

Спасибо таким людям. Они греют душу.

И вот, значит, уехал Сергей; учусь в институте, голодаем, смеемся, плачем, репетируем, кокетничаем с мальчиками — всё путем.

Приближается Новый год. Мы — в институте: там тепло, приезжие сидят как можно дольше, пока комендант не выгонит. Некоторые студенты куда-то исчезали до утра. Где-то их подкармливали, где-то оставляли ночевать. А мы были наружу —

и перед институтом, и перед педагогами. Таскали они нам по возможности перекусить чего-нибудь, витамины из аптеки.

И вот сидим мы однажды, обсуждаем, как будем Новый год встречать. Вдруг прибегает хозяйская дочка Шурка и жестом зовет меня. Прижав руки к сердцу, взмолилась:

— Скорей! Бери пальто, книги и домой!

— Зачем?

— Скорей!

Мы побежали. Вхожу — и что же я вижу: на столе жареный поросенок, сыр, масло, икра красная, конфеты «Мишка», хлеба горы. Я быстренько поздоровалась и бухнулась на стул, разглядывая не виданные никогда яства: ни до войны, ни после войны — никогда…

Хозяйский гость — дядька полный, нестарый, потный. Бутылка водки до половины уже опорожнена. Шампанское взял в руки.

— Ну, за Новый год…

Мне не хотелось шампанского и вообще спиртного, а что поделаешь — это пропуск к еде.

— Родственник? Как вас звать?

— Яков Иванович, — разливая шампанское по граненым стаканам, ответил он.

Мать и обе дочери смотрели на меня с испугом.

— Ну, давайте, — поднял стакан герой вечера.

Девятилетняя девочка — сестра Шурки — старательно выпила крупными глотками шампанское, не зная, что ждет ее, лишь бы угодить хозяину и кинуться на еду. Стали мы хрумкать поросенка с белым хлебом, закусывать «Мишками», снова припадать к икре, сыру, хлебу. За моей спиной стояла кровать. В голове у меня все перекособочилось, я поплыла от стола, успев взять свою тарелочку с поросенком и «Мишками» и поставить на окно. Лбом ткнулась в подушку — и всё…

Доели утром свинину и «Мишек», и — я в институт, а Шура на работу на ватную фабрику. Как нас, помню, вата мучила. Все было в вате. Когда выходили из дому, нужно было время, чтоб обобрать с себя вату.

Чуть было призабыла я «родственника», как, придя домой, вижу молящие глаза хозяйки — матери Шуры.

— Такой морозец мягкий, на выставке так хорошо. Музыка играет… Пошли бы погуляли…

Шурка надевает рейтузы и красит губы.

— Сейчас Яков Иванович придет…

— А у меня свидание, — с сожалением говорю я, думая: «Поесть бы сейчас его, Якова Ивановича, еды…»

— Отмени, — просит мать.

— Отмени, — просит Лидочка.

— Куда она денется! — пыхтит Шурка.

Заскрипели ступеньки — слышна поступь кожаной подошвы. Это белые бурки Якова Ивановича. Входит. Свертки, свертки. Один интереснее другого. Шелестит калька, обнажается богатая еда. Яков Иванович раздевается и заполняет пространство запахом одеколона «Шипр». Хоть бы на пищу не осел этот запах… Всё в момент разложили, но не тут-то было! На стол ставится бутылка вина — это запрет на уход.

— На этот раз слабенькое принес, — сказал Яков Иванович и стал расческой драть густые светлые кудри.

Выпили, хочешь не хочешь. Съели всё до капельки.

— Пойдем, Нонна, на выставку, я угощу тебя мороженым.

— А Шура?

— Поди-ка сюда! — шепчет мне Шурка. — Ты что прикидываешься? Не понимаешь, что все это из-за тебя? Он свататься хочет! Иди!

Какой ужас! Съеденная пища стала противна.

— Пойдем и ты, Шура, — хлопает он ее по плечу.

Я как сомнамбула надеваю пальто, и мы строем отправляемся на выставку, где мухинские дяденька и тетенька с серпом и молотом стоят. Людей мало. Дышат паром. Играет радиола. Смеются. У кого-то бумажные цветы, шарики надувные.

— Возьмите меня! — скомандовал Яков Иванович и бубликами подставил руки.

На нем кожаное черное пальто, внутри мех.

Я двумя пальцами зацепила за холодную, замерзшую кожу, и мы пошли туда, где продавалось мороженое. Радио громко чередовало крики о достижениях в хозяйстве с музыкой. Яков Иванович пригласил Шурку на вальс. Далеко отставил левую руку, закружил слегка.

— На, бери, — говорит продавщица мороженого (он заплатил за два брикета). — Один, наверное, твой.

— Наверно… — ответила я.

Взяла брикет да и завернула за палатку, в темноту. С наслаждением, с чувством свободы мчалась к своим и к «своему».

— Ты что так рано? — удивилась Катя.

— Рано?..

— Я шучу. Бери нож и режь овощи на винегрет. Тут и вареная морковь, и свекла, и картошка. Больше ничего не будет, а винегрета навалом. Хлеба тоже.

— А я пришла без хлеба… Вот только мороженое.

— Мы знали, что ты не дотерпишь — съешь свой паек, как

всегда. Не переживай. Тут твоя пятерка есть.

— Я сегодня хлеб не буду есть! — крикнула я, счастливая.

Ох, какая я была тогда счастливая! Скоро «мой» придет и обязательно внесет все пятьсот пятьдесят граммов хлеба в «котел».

На самом истоке жизни мне не дано было связать свою жизнь или хотя бы миг с нелюбимым — ради выгоды и богатства.

Шли годы. Я была ничего собой, липли всякие…

А мне — только чувства! И только чувства!

Даже враги мои, и те всегда скажут, что и в кино-то я не сыграла ни одного слова за счет каких-то козней.

Какой там Яков Иванович?! Нет, нет, нет! Винегрет, хлебушек!

Свои — первый чайник, первая ложка, первая комната… Стол, табуретка. Так началась моя жизнь, так и идет…

По коням!

Москва, почтовый адрес — центр. Коммуналка. Точка опоры. После житья в бараке этого казалось достаточно для счастья, хотя приходилось тесниться: четыре семьи в четырехкомнатной квартире. Спасибо — и ванна, и телефон. Правда, комната наша проходная, больше десяти лет ходила через нас семья из пяти человек. По пожарным условиям отгораживаться нельзя; висел фанерный лист, личико сына из-под него выглядывало: «Мама-а!» А я в пятиметровой кухне варила что-нибудь, одна конфорка на семью… Гнездимся, суетимся, мебелишко переставляем для выгоды места. Муж давно смирился, только демонстративно поворачивался лицом к стене, когда земляки мои являлись и располагались на ночлег — кто гостевать, а кто поступать в институт. Старалась не видеть недовольства мужа. Виновата была, конечно, но отводила взор от безысходности.

Один раз просыпаюсь от тяжелого дыхания над ухом, открываю глаза — собачья морда. Ой! Глядь, а рядом еще одна. А за ними — подруга детства и мужчина в военной форме.

— Лина!

— Узнала?.. Переводимся поближе к дому. А собаки — это ж охотничьи! Их не бросишь, члены семьи…

— Сидеть! — буркнул Линин муж. Собаки с шумом упали животами на пол, вывесив мокрые языки.

— Ага! По коням! — Я стала надевать халат, вступая в бой с очередным гостевым сюрпризом. Раскрутились, поумывались, накрыли на стол.

Муж, будущий Штирлиц, долго лежал к стене лицом, пока не

лайкнула на него собака. Тут уж он не выдержал — не смог: до самозабвения любил собак. Кашлянул, поздоровался с гостями — те ничуть не смутились, будто не они, а мы к ним нагрянули без предупреждения. Погладил собаку, тут же подставила бочок другая, так и разрядилась атмосфера.

Жили с неделю — нас четверо, их двое и собаки. Соседи сперва — губы трубочкой, молча перешагивали через неуправляемых зверюшек, потом так полюбили их, так утеплилась жизнь, что не хотели расставаться.

А сейчас жилплощадь увеличивается, а гостей — нема. Может, потому, что гости тоже устроили свою жизнь, осели. А дети наши? Где же их гости? Не знаю, что происходит…

Конечно же, наезжала к нам и мама — и в барак, и потом в коммуналку. И пришлось ей дважды испугаться за меня так, как теперь уже разучились…

Первый раз — в дни премьеры фильма «Чужая родня».

Поторжествовала она в Доме кино, где на двух сеансах было народу битком, да вскоре и расплата пришла. Едва не теряя сознание, мама встретила меня дома:

— Ой, дочка, что ж теперь будет?!

— Что, мама? — снимая плат, спросила я.

— Пропали мы! Ой, пропали!

— Да что случилось-то?

— В «Советской культуре» якойсь Юрэнев написал, что ты сыграла не комсомолку, а кулачку!

— В «Чужой родне»?

— Вот, одноглазенькая занесла газету. — Это она так окрестила бывшую учительницу, теперь пенсионерку, большую, толстую еврейку с бельмом на глазу.

— Мама, да что ты! Так бывает. Критикуют нашу работу: то хвалят, то ругают.

Мама присела на стул — ноги ее плохо держали — и убежденно сказала:

— Это ж газета! Да еще московская. Зря не напишут… Где он там увидел кулачку? Такая комсомолочка, красавица. Ну, батько, конечно, хотел свернуть, а не свернул!

Рассмеялась я, обняла маму, успокоила, как она меня в детстве. Слышим, грохнула дверь — ворвалась «одноглазенькая» Вера Григорьевна и давай ругать критика Юренева.

Вообще-то она была настоящим мучителем соседей. Она так шутила и острила, что мы вечно ползком ползали от ее хохм. Научительствовалась, а теперь разлюли-малина — вольная пенсионерка!

К примеру, ее дочь Лиза все сидела, согнувшись, в

конструкторском бюро чертежницей. Там их таких было много — двести человек. Вера Григорьевна сокрушалась оттого, что дочка никак замуж не выйдет. Однажды сослуживец пришел с шампанским. Сидим у них: я с сыном на коленях, Лиза, дочь, Вера Григорьевна. Напротив нее «жених» и подруга моя. Вера Григорьевна всегда на колени скатерть клала — ноги у нее не сходились от сильной полноты. А так расставит ноги врозь — и порядок. «Жених» с надутыми венами опустил под стол бутылку шампанского, чтоб в случае чего нас не обрызгать. И надо же! Пробка стрельнула под юбку, между ног Веры Григорьевны. Она крикнула, упала на спину поперек тахты и разразилась таким «красноречием», что мы чуть не полопались от смеха.

Жили они скромно. Какие там деньги! Все на книги тратили да читали запоем. Разве так замуж выйдешь?

Меня любили. Была у них брошь с изумрудным камушком.

— Нонк! Надень брошь…

Это если я шла куда-нибудь в важное место…

Отвлеклась — ну ничего! На хорошего человека.

Так вот, значит, мама приехала. Наташка в восьмом классе, сын еще маленький. Я на репетиции. Муж где-то в киноэкспедиции. Борщ кипит, белье полощется. Мама крутится, ждет к обеду. Глядь — машина черная подъезжает. Выходит дяденька и, узнав, что меня нет, отдает маме конверт для передачи. Та закаменела, глядя на нестандартный конверт с вышечкой в уголке.

…Где виноватые? Что будет?.. Кому письмо? Нонке…

Опять вижу: мама ни жива ни мертва.

— Что?

— Ой, дочка, письмо… Важное. Ты глянь, какое важное…

Беру конверт как гремучую змею, нюхаю. Ничем не пахнет. Извлекаю лист с такой же на уголке башенкой, как на конверте. «Нонна, дорогая, зачем ты сделала вид, что не заметила меня?..»

— Ну, Вера Григорьевна! Дура одна лазит и лазит за мною по пятам.

— Вот сука! — охотно включается соседка.

— Да, может, она и хорошая… Но мне на дух не нужна. Эля, дочка замминистра. Не бойся, мама! Ей в голову вдарило — дружить! И на спектакль ходит, и на улице перестревает.

— Так это ж хорошо, что дружить… Люди уважают, значит, — говорит мама.

— Ой, мама! Если я актриса, то со всеми должна дружить? Я ж тоже человек — кто-то и не по вкусу.

— Потерпи. Пускай. Человек походит, походит да и перестанет.

— Эх, тут написано: на дачу в гости в субботу. Машина придет. На какую дачу?.. На черта они мне сдались!..

Мама надолго замолчала, взяв в руки письмо. И как прежде, нашла лучезарный, верный вариант:

— А съезди, доченька, чего на рожон лезть. Сыночка возьми — и прокатитесь.

Я не ответила — мне всегда претила людская навязчивость. Мама положила руку мне на плечо и убедительно сказала:

— Съезди, дочка. Так будет лучше.

Утречком спускаемся с сыном к машине, а мама и Вера Григорьевна на кухне давят лбами оконное стекло. Наблюдают.

— О, Зоя! Мам! — повернулась я к окну. — Зоя Холщевникова! Чемпион мира, коньки! Радость-то какая! Зоя здесь, а Эли нет…

Залезаем в машину. Кинула взгляд на окно. Вера Григорьевна, дымя «Беломором», послала воздушный поцелуй.

— Поехали, — тихо приказала шоферу Зоя (она села с ним рядом).

Машина мягко взяла с места, Зоя заговорила:

— Ну что, удивилась?

— Конечно, удивилась.

— Вот попросили. Да не бойся, не покусают. Я с Элей давно дружу.

Машина шикарная. Мелькает Подмосковье: лес, поляны — красота! До чего ж богато, до чего ж прекрасно! Мчимся, перебрасываемся с Зоей пустыми фразами — она скорее подруга мужа, а не моя. Он был спортивным фанатом, всё таблички футбольные заполнял. Велел болеть за «Спартак», а я заболела «Торпедо», потому что, когда знакомилась с игрой в футбол, «Торпедо» «действовало», как объяснял мне муж, и выиграло. С тех пор я болела за «Спартак», только чтоб Слава не скисал, а втайне, конечно, — за «Торпедо».

Сын заскучал — укачало немного. Я взяла его на руки, прижала к груди. Глазки закрыл.

Едем. Наглядеться не могу, как «косит наша косилка», — и машины в сторону, и люди. Мчимся себе без задержки. Влетаем в прохладу, запахи сосны и сена. Летний день в разгаре. Какие мы с сыном важные — отдельно едем, одни!

Вот и дача, Зоя вышла открывать ворота.

…Как стыдно с Элей встречаться! Надо быть с ней повежливей…

С бильярдным кием в руке прыгает через клумбы Эля в синих брюках. Как я узнала через несколько лет, это были джинсы. Голова по-испански повязана цветной косынкой.

— Доехали? Чудно! Выгружайтесь.

Я как за соломинку цепляюсь за Зою — она попроще и познакомее.

— Идите во-он по той тропе. Зоя, проводи, я сейчас…

Сын оживился, побежал к стогу, а мы с Зоей пошли следом.

— Чего ты скукожилась? Они хорошие, — подбадривала Зоя. — Тут и комнат уйма, и на всем готовом. Я люблю сюда ездить.

— Я?! Ты что! Мне нравится. — Я вздохнула полной грудью и блаженно посмотрела вдаль, где застыли крылья старой мельницы. Вот это да! Я и представить себе не могла, что тут такая красота. Сердце запело!

Вот и Эля бежит, за нею девочка лет пяти-шести.

— Дочка ее, — поясняет Зоя.

Выражение лица у девочки как у старой тетки-экскурсовода. Без обаяния. Она оглядела меня с ног до головы, по-хозяйски.

— Нравится вам у нас? — Эля повела вокруг рукой.

Я кивнула, едва удержавшись от возражений против слов «у нас». У кого — у вас? Разве копны, и мельница, и запахи — это все ваше? Это же все ничье, а значит, общее… Когда массовка какого-нибудь завода вываливается из автобуса, чтоб подышать и отдохнуть, люди не думают, чей это праздник — видеть природу. Это общая красота, общая радость. Так и я восприняла комфортную дорогу, нескончаемый пейзаж — как общую радость сегодняшнего дня. Это и Элино счастье, и Зоино, и мое. Сегодня такой день!

— Погуляем и закусим, — выложила свою программу Эля.

Закусим? Это здорово.

Сбежались наши дети, стали кувыркаться в сене. Отлично! Сказка! Мы плюхнулись на теплую землю. Как хорошо, что Зоя помогала мне терпеть хозяйку. Погуляли, попереливали из пустого в порожнее — и к даче. Смотрю — сидя на корточках, подпирает дерево спиной мужчина, похожий на рабочего.

— Пришел, Николай?

Какой же он ей Николай? Пожилой мужик.

— Киномеханик, — пояснила Зоя. — Пообедаем и фильмы посмотрим.

Вот это да! Фильмы!

Сестра Эли, пухлая от жира, улыбнулась, поздоровалась. Господи, сестра какая-то несчастная… Чего ж они такие несчастные? Вроде поджидают чего-то. Некрасивые…

— Мойте руки, — не поднимая головы, пригласила женщина в фартуке, с белой косынкой на голове.

— Спасибо, Катя, — как старой знакомой, кивнула Зоя.

— Кто это? — шепчу.

— Повар.

— Повар! А мать есть?

— В Москве. Завтра к вечеру приедут с отцом.

— С замминистра?

— Чудачка! Конечно, — засмеялась Зоя.

Ну, думаю, мы-то к вечеру ссыплемся отсюда…

Руки помыли, идем в столовую. Стол большущий, а нам приготовлено с одного краю. Занавески гуляют от ветерка. Паркет блестит, кругом диваны и маленькие столики.

Эля, так долго охотившаяся за мной, не проявляет никакой радости. Будто я захлопнута ею в капкан — остальное неважно.

Стали угощать. Прибавилась еще одна женщина в фартуке и с белой косынкой на голове.

— Тоже повар?

— Нет. Это хозяйка дома.

— Хозяйка над кем?

— Дома.

— Расскажите лучше что-нибудь о кино. Вот и Лиля послушает, — кивнула Эля на свою дородную сестру. Улыбающаяся Лиля промокнула салфеткой рот.

На черта вы мне сдались, думаю, не портите мою радость… У меня пока не укладывалось в голове, что первый в жизни такой «выезд» — не общий. И разве можно дергать человека, отвлекая от любования столом, мебелью, паркетом, игрой занавесок? Какое кино?! Закуски разные, вкусные. Уплетаем с сыном, как за себя кидаем.

— Оставляйте, ребята, место, — тактично упреждает Эля. — Обед только начинается.

До моего сознания с трудом доходит сказанное шепотом:

— Суп из форели, борщ куриный, бульон с клецками.

— Борщ!

— Хорошо.

Стали носить тарелочки небольшие. Я выросла на рыбе, но в наших краях форель не водилась.

— Я хочу фоель, — захныкал сын.

Смех меня взял:

— Да ты знаешь, что такое форель? Ты ее ел?

— Форель так форель, — улыбнулась Эля.

Поменяли сыну борщ на суп из форели. Девочка, видно, пропустила через себя тысячи соображений — изумилась свободе гостей. Наверное, тут бывают люди повежливее нас.

— А правду говорят, что в кино снимаются только жены режиссеров? — замахнулась Лиля на светскую беседу о кино.

— Не знаю. Мой муж такой же артист, как и я… Да, сынок? — Куда угодно я ныряла лицом, чтоб только не видеть этих нарушителей блаженства — Элю и ее сестру Лилю.

Дальше обед прошел почти без слов. Сын побежал в кинозал, девочка за ним.

— А что, и правда, — допивая компот, завершила я, — пошли в кино.

Встала, вышла. Оглядела дом. Здоровенный. И вверху окна. Хорошо! Ноги чуть подкашиваются от воздуха и сытного обеда. Вот и кинозал. Тесно. Пахнет табаком. Стулья кое-где прорваны, и видна вата. Сели. Пошли кадры цветного шедевра Диснея…

Еще во время обеда Эля дважды подбегала к телефону с кратким «да, да, я так и сделаю». Чуялось: она обещает что-то такое, в чем мы тоже должны участвовать. Так не хотелось трогаться с дачи. Однако после кино Эля, опираясь игриво на кий, повела нас через скошенную полянку.

— Генерал один важный… — шепнула Зоя.

— Ой, зачем? Сейчас опять притеснять начнут насчет съемок в кино…

Звонок у калитки. Открывает пожилая женщина с водянистым лицом и вытаращенными бесцветными глазами. Она испуганная, простоволосая. Миг замешательства. Потом Эля ладонью отстраняет служку и зовет нас войти на территорию, усеянную цветами.

— Что с тобой? — властно спросила Эля.

Женщина промолчала, провела ладонью по волосам.

Зоя спокойно рассчитывала ситуацию. Слышим — в даче возня: стук, сопенье, удары. Стоим молча.

Наконец вылетает мужчина лет пятидесяти в голубой крахмальной рубашке и тренировочных штанах, красный. На шее царапины с сукровицей, пуговицы почти все оторваны с мясом. Сел на скамейку, не обращая внимания на гостей, запрокинул голову. Следом выпрыгнул парень в тельняшке и шортах.

— Валера! Ты опять?! — жестко упрекнула Эля.

Валера подошел к бочке с водой и окунул голову; отдышавшись, ответил:

— Скотина! Я ему покажу!

— Не обращай внимания — сынок с папой выясняют отношения, — шепнула мне Зоя.

— С генералом?

— Да. Генераленыш с генералом.

«Генераленыш» привел в порядок волосы и протянул мне мокрую руку:

— Располагайся, артистка! Будь как дома.

На его тельняшке виднелись кровавые разводы… Скорей отсюда, скорей!

Придерживая ворот платья, с крыльца спускалась немолодая блондинка, кучерявая. Взгляд ее был жалок. Во дворе еще витала атмосфера недавней схватки между сыном и отцом. Невиданной, уму непостижимой схватки. «Скотина» — отец. Генерал — «скотина»!

— Садитесь, — пригласила жена генерала.

Я не шелохнулась, а Зоя по-свойски подмигнула и стала подталкивать меня к столу под деревом.

— Вот, ты просил… Я привела, — начала Эля, обращаясь к «генераленышу». Тот еще злился.

— Пошел вон отсюда! — крикнул отцу.

— Замолчи! — вырвалось у меня.

— Ах вот как? — повеселел парень.

Сидим молча.

— Сейчас все наладится, — шепотом успокаивает меня Зоя. А мне-то что! Зачем мне эти чужие люди?.. Надо мотать отсюда.

Выжидаю удобный момент, чтобы попрощаться. Глядь — через забор лезет майор, каблуком сапога чертит по забору. Не поздоровавшись, пробирается к ульям. Надевает намордник и начинает трусить мед.

— Ну куда же вы? — слабо останавливает нас женщина.

Какое счастье, Эля возглавила уход с территории. Мы за нею.

— Чего это они?

— Мелочи жизни… Видишь ли, Кириленкам завезли розовый кирпич для собственной дачи, а этим — рыжий. Уже несколько дней грызутся…

— А этот морячок что ж такой несознательный?

— Морячок! Сейчас морячок, а вечером будет солдатом ООН.

— Меняет форму?

— Меняет.

— А где берет?

— Отец привозит для коллекции всякую военную форму. Сын любит.

— Это ж форма военная!

— Без знаков отличия форма становится просто одеждой, поняла?

Я не ответила, потому что навалилась на меня путаница событий. Бежать, бежать к Эле! Там тихо! А эти — пусть их…

Как же хорошо стало мне у камина на Элиной даче. Красота! Трещат дровишки… Вижу — телефон, решила позвонить домой.

— Мам! Ну как вы там?

— Чего кричишь? Я не глухая. Как у вас?

— У нас? У нас чинно-благородно, едим, беседуем.

— Паняйте (погоняйте домой!), — чем-то недовольна мама…

— Зоя, поехали домой!

— Не дури, ополоснемся в озере.

— В озере? Это хорошо. Пойдем.

Пошли к озеру. Эля уже плавает. Разделись и мы.

— А чего она косынку не сняла?

— Лысая она, с рождения. Пушок только.

— Ой, боже!

— У нее парики из Парижа какие хочешь.

— В Париж ездила?

— Разве только в Париж! Мы за границей с нею и познакомились. Я на соревнованиях была, а она с родителями.

Поесть бы… Как тут едят вкусно… На ужин карп в сметане, салаты, блинчики с мясом, печенка жареная с картошкой, печево сдобное. Теперь уже не предлагали. Все стояло, бери что хочешь. Мы хотели всё и всё ели. И тут до неприличия захотелось спать, спать, спать… Никто нас не останавливал. Мы легли с сыном на широкую кровать и с наслаждением растянулись кто как хотел. Я лежала на спине и следила, как на потолке шевелятся тени ветвей, освещенных фонарями.

Задумалась. Собрать мысли не могу. Сын поднимается на локоть и заговорщически шепчет:

— Давай здесь насовсем останемся.

— А папа?

— Мы и папу сюда возьмем.

— Завтра поговорим.

…Оказывается, не сменив положения, я спала до самого утра, и теперь потолок играл рябью от воды в бочках, освещенной солнцем. Как только веки поднялись, еще не пошевелившись, я увидела в двери женщину в кокошнике.

— Чаёк?

— Да не… Мы встанем, тогда…

На Марсе жить нельзя. Пора домой… Я скоренько доела завтрак и, не глядя сестрам в глаза, стала собираться. А нас никто и не уговаривал остаться.

Черная машина с бархатными сиденьями стояла у ворот.

Зоя осталась.

Помчались мы с сыном на свое «поле-ягоду». Вот и кнопка дорогого звонка. Рыпнули двери. Мама с Верой Григорьевной, пахнущие зубным порошком и пудрой, вышли навстречу.

— Что с вами, тетя Вера? Вам плохо? — повторила я фразу, сказанную племянником Веры Григорьевны, когда однажды тот увидел свою тетку напудренной.

Вера Григорьевна прыснула от смеха и провела ладонью по лицу.

— Что, переборщила?

— Мам! Что с вами? Вы далеко?

— А в клуб «Каучук» — «Тарзан» идет. — Мама весело вступнула в лакированные босоножки на пробке, привезенные мною когда-то из Грузии. Но ножка-то у нее поменьше моей. И сейчас вижу: задний ремешок вместе с подошвой больше, чем надо.

Мама сбросила босоножки, поискала бумагу, стала комкать ее и приговаривать: «У одной бабки спросили: кто такой миллионер? Бабка ответила: а это когда калоши велики, он в мыски грошей натопчет — и порядок: не соскакивают с ноги».

Я видела, как мама усердно набивала в босоножки бумагу, не желая заводить разговор о нашем путешествии.

А как дошли они с Верой Григорьевной до двери, сказала:

— Располагайтесь, мы ненадолго. Больше не ездий туда, дочка. Это не наши люди…

Как?! Что ей почудилось? Она ж не была там… Огорошила меня, а разбираться было лень. Или не лень, а недоступно пониманию.

Ну ничего, родителям не обязательно все знать… «Там посмотрим», — только и подумала я и спросила уже выходящую из двери соседку:

— Вера Григорьевна, почему они все там такие некрасивые?

— Они не некрасивые — они неодухотворенные.

Про «того» коммуниста отца

Вот сейчас сердце вылетает, жар в груди, ярость от поиска слов, способных описать случай с нашим отцом.

Мы давненько уже разместились: кто в Москве, кто в Подмосковье после окончания институтов.

Мама умерла. Отец не прерывал связи с нами. Пришлет и свининки, и крупы кукурузной. (Никогда не было легко — никогда. По сегодняшний день.)

Прошло два-три года после смерти мамы, и отец наладился к нам повидаться, а главное — выбить себе военную пенсию как инвалид войны, рядовой: тридцать пять рублей вместо колхозных двадцати. Смотрим, уже не два костыля, а один — в правой руке палочка. Куртейка — «самострок», синие галифе. Пустой сапог чем-то набит (культя была до середины икры). Рубаха коричневая, галстук! Галстук небось висит где-то в сенях рядом с хомутом и куриным насестом. Отец доволен. Мы тоже.

Садились за стол, он ловко пристукивал палочкой о костыль и, прежде чем сесть, прислонял к стене.

Спокойно принял от нас мамины вещи. Складывал их и бурчал: бэ-у, бэ-у… Это значит — бывшее в употреблении. Вещей немного: плащ брезентовый темно-красный, платки, юбка, два платья. Все это он складывал в фанерный чемодан с лаской и волнением.

Вспомнила я нищих людей, которые находили причину для неожиданной посылки. Шли на почту и слали в другую станицу или хутор что придется: потертую клеенку со стола, электрического провода метра два, ленту, рамку для фотографий, две заплатанные наволочки. Это посылалось на полном серьезе и получалось на полном серьезе — с благодарностью.

Помалкивает народ. Живет себе. По-другому не знают, как жить.

Подкупили мы отцу кое-каких подарков; недорогое, но свеженькое, живописное. Отец доволен, выражается скупо.

Мы ему и песни пели. Он косо улыбался и сдерживал слезы.

Вообще-то он прибился на Кубани к какой-то вдовушке со взрослыми детьми, но духовно мама навсегда осталась для него царицей.

Погостил от души — пора в путь-дорогу. И вот… Попросил он нас проводить его за город, друга своего фронтового навестить. «А то когда еще приведется!»

Тогда в этом направлении электричек еще не было, а ходил паровичок, с дымом из трубы. «Пригородный», «рабочий» назывался. Ходил редко, народу — толпы! А тут еще гололед. Пускаем отца вперед к двери вагона — дескать, инвалида должны пропустить в первую очередь.

Проводница турнула его в грудь; костыль и палка разъехались, и он упал на спину.

— Папа!.. Ах ты, сучка! — крикнула я проводнице. Она зычно свистнула в свисток, паровичок тронулся…

Раньше родители ни в какую не допускали возможности быть смешными или жалкими перед детьми. Отец отверг нашу помощь и, не вставая, погрозил пальцем с наигранной веселостью:

— Во! Видали, дети, каких Москва терпит… А еще столица!

Встал на одной ноге, четко, по-мужски собрал в руки костыль и палочку. А мы быстренько замяли происшедшее, мы негордые. Подошел пассажирский, и доехали в тамбуре до Петушков. Ничего, Виктор Константинович Мордюков! Живы будем — не помрем…

Проводили отца весело, хотя с пенсией — от ворот поворот.

«Гоп со смыком»

Трусоватые мы были насчет вождей. Песни ввысь их поднимали, а только пусть они там, в песнях. Пусть, зачем приближаться к ним — боязно. И не их страшно, к ним-то и не подпустят, страшен был черный буран охраняющих отца родного.

Стали приглашать на званые приемы. Вроде тебе почет, а от локтя одного охранника долго болела грудь — это когда Никита Сергеевич с фужером в руке взмяк, закраснелся и докричался до такой братской доступности, что мы в экстазе зааплодировали и легонько подались к его столу… Тут и помаду стерли с губ каменным плечом. В общем, рта подхалимского не разевай, того и гляди, в жернова угодишь.

Хрущев. Степная манера говорить, митинговать по-свойски — прямо-таки колхозный бригадир всея Руси. Не ощущая его поначалу ни хорошо, ни плохо, жили мы себе, каждый на своем месте: вверху разберутся, как править страной.

И вдруг там, вверху, назначается воскресная встреча: дружеские контакты правительства с творческой интеллигенцией. В число приглашенных попали шестеро киноактеров: Скобцева с Бондарчуком, Николай Рыбникове Аллой Ларионовой, Вячеслав Тихонов и я.

В Архангельское нас вез маленький автобусик. Милицейские мотоциклы будто не сопровождали, а конвоировали колонну машин, чтобы кто-нибудь не сбежал. Приехали — батюшки! Иззелень-зеленый лес. Прохладно. В глубине круглый тент из полотна в красную полоску. Под ним множество столов. Ясно, что там обед назначен. Прохаживаемся. Народу масса. Никто не находит себе места. Правительство топчется с народом: Хрущев, Микоян, Ворошилов, Буденный.

Озеро. По берегу баночки с червями и удочки.

— Милости просим рыбки половить! — звонко крикнул незапоминающийся человек. Не боится, наверное, ни правительства, никого.

— Знаю я вашу рыбку, — вальяжно отвечает Никита Сергеевич. — Небось вчера сгрузили в озеро машину карпов, а теперь хоть рукой лови…

— Ха-ха-ха! — торопливо засмеялся народ.

Все движутся медленно, приноравливаясь к шагу вождей. Вдруг как крикнет на весь лес взбесившийся тенор: «А-а-ар-шин мал-а-лан…» На миг остановили дыхание, потом поняли, что это Рашид Бейбутов сотрясает пространство. Он разрядил неловкость и робость собравшихся. Хорошо, что песня имеет слова, — куплет за куплетом идет время. Поаплодировали. Никита Сергеевич,

подняв палец, пожурил за что-то республику в лице Рашида Бейбутова. Не успели поблагодарить судьбу за, слава богу, прошедшие минуты прогулки с вождями, как справа пересекает дорогу цепочка джигитов — мальчики в черкесках, с кинжалами грациозно на мысочках протанцевали мимо и скрылись в кустах. Аплодисменты. Мальчики из-за кустов не возвращаются.

— Давайте «Гоп со смыком»! — призвал простодушный вождь. Народ опять: «Ха-ха-ха!»

— Купаться, купаться, — заворковали те, кто посмелей.

От озера стрелка показывала, где брать купальные костюмы.

Вскоре многие барахтались в воде. Помню, Аджубей подплыл к Рыбникову и сострил: вот где можно топить актеров, а не на страницах газет… Он симпатичный и умный был. Потом и газета «Известия», как все помнят, жила интересной жизнью, пока Аджубей был главным редактором. Рассказывают, что, когда его «ушли», он собрал газетчиков в своем кабинете, чтоб по-доброму проститься. Пожал всем руки и отдал ключи.

Но вернемся к пикнику.

Освежившись, мы немного освоились с обстановкой. Вроде опасностей нет, и Фурцева, министр культуры, не отходит от нас. Держится просто, демократично. А все же какая-то «хока» стережет, поджидает момент, чтоб грызнуть. Молоды мы были, и родители наши не испытали ночного дыхания «черных воронов», а страх засел крепко. Стали обносить гостей рюмочками на подносе да лакомствами. Глядь — за руки и за ноги поволокли Ворошилова. «Умер?» — «Напился. Не смотрите в ту сторону», — посоветовал кто-то из наших.

Стали скликать к столам. Гостей было человек двести; наш столик оказался в нескольких метрах от правительственного. На актеров каждый смотрит с любопытством, вот и теперь: пусть «живьем» посидят рядом с руководителями партии и правительства. Ухватились мы разглядывать меню. Чего там только не было, начиная от ухи из форели и кончая раками, сваренными в пиве!

Смирненько ведем себя, как полагается. Пьем вишневый сок, прохладный, натуральный. Кто-то напрягается с тостами, буреет, старается провести мероприятие на уровне. Помню, как Константин Федин закричал: «И это аквамариновое море!..» — о только что построенном бассейне «Москва».

Дальше сплошняком пошла химия. Химия, химия. Химия тут, химия там… Вплоть до того, что все имеющееся на столе сможет сотворить химия.

Хрущев хохотнул и сказал:

— Давайте наедимся сегодня пока что натуральной едой!

Снова подхалимское «ха-ха-ха», аплодисменты. Я тоже ловила себя на том, что смеюсь заразительнее, чем того заслуживает острота вождя. Наверное, один из всех Николай Рыбников ликовал искренне, по-детски: светился, чуть не криком кричал, довольный Никитой Сергеевичем. Его очень даже устраивал образ секретаря ЦК — мужичка. «Наконец-то!» — говорило все его существо. Он взглядом напутствовал вставшего с фужером Бондарчука (тому заранее был поручен тост от нашего стола). А Бондарчук всю жизнь выступал редко, но феноменально — без заботы о мысли, которую хочет донести до слушателей. Мы напряглись, жадно ловя то, что он хочет сказать, потом с облегчением вздохнули, выловив все же, что Ленинская премия за фильм «Судьба человека» дана не только ему, а всему съемочному коллективу. Звонкие аплодисменты Рыбникова перекрыли последнее слово оратора. Ну ничего! Они утонули в рукоплесканиях остальных гостей.

Слава тебе господи, справился более-менее. Ушла волна напряжения от нашего стола и полетела дальше.

А в котловине неподалеку шла своя жизнь. Масса черных машин марки «ЗИС-110», автобусики и кишащие между ними мужчины. Это были не только водители. Черт меня дернул туда посмотреть. Напугалась чего-то. А чего? Да вот Колькин восторг был громче, чем надо. Он-то восхищался вовсю, а там дяденьки в костюмах: еще неизвестно, одобрят ли такой восторг.

Наконец берет слово Хрущев.

— А где Колька? — спохватилась Алла Ларионова.

Мы оглядываемся в ожидании чего-то недоброго. И вдруг из-за наших спин радостно и громко крикнул Рыбников:

— Никита Сергеевич! Расскажите лучше про Кубу!

— А-ах! — пронеслось по столам.

Не поднимая головы от маленького, как змейка, микрофончика, стерегшего уста вождя, Никита Сергеевич ответил:

— А я что, с Кубы приехал? Читай газеты, там все написано.

Пауза тяжкая. Кашлянув в кулак, он произнес низким голосом:

— Ну вот, сбил меня теперь…

Потом, собравшись, стал говорить дальше. Мы не слышали ни одного слова. Наш стол стал тлеть вместе с нами. «Арест! Тюрьма, увольнение с “Мосфильма”», — мелькало в моей голове.

Юлий Яковлевич Райзман поглядывал на нас: дескать, эти артисты… Все шло пока своим чередом.

Николай куда-то исчез. Алла в полуобмороке ищет мужа, и вдруг мы видим: идет со стороны кухни Рыбников и тащит по

траве, держа за «ухо», бумажный мешок к нашему столу. Поставил возле нас.

— Что это?!

— Раки! — торжественным шепотом сообщил Коля.

В это мгновение вежливая фигура в костюме спросила:

— Вы, наверное, хотите домой?

— Да! Поехали отсюда! Хватит! — ответил Николай нервно.

Он понимал, что проштрафился, и помнил, что мы, как дети, ждали раков в пиве. А до них было еще далеко…

Мешок большой. Боже ж ты мой, выше стула! Смотрим: Николай и мужчина в костюме взялись за два «уха» и потащили по траве мешок к котловине с машинами.

Идем молча. Доводят нас до «ЗИСа-110», и мы все вшестером умещаемся. Эта машина может быть шестиместной, если откинуть сиденья. На них и сели Коля с Аллой, а между ними мешок с раками. Тихонов сел рядом с водителем, негодуя. Какое-то время едем молча. И вдруг заголосила Ирина Скобцева, как плакальщица на похоронах.

— Чего ты? — спросил Бондарчук. Мы все трое сидели сзади.

— Сережа, дорогой, сколько раз тебя просила — не выступай!

— А что?..

— Вы же, — это я и он, — из Ейска… Вам не надо… И Нонке, и тебе выступать противопоказано… — хлюпает Скобцева. Она-то окончила два института.

Мы не ответили. Выступление Бондарчука явно меркло перед рыбниковским. Снова едем молча. Вот и начало Москвы. Светофор. Машина остановилась рядом с пивным ларьком. Несколько мужичков отошли с пеной в кружках к дереву и приготовились утолить жажду. Один из них левую руку засунул в карман, придерживая локтем гробик сантиметров семидесяти. В правой — кружка с пивом. Он слегка подался вперед. Стал сдувать пену… Мы тронулись.

Утром огнем горели телефонные аппараты. Шел перезвон… Пока сама Фурцева не позвонила Рыбникову и не сказала:

— Николай Николаевич! Не волнуйтесь. Всё в порядке…

Ястребок

Как-то во время войны я увидела, как взмыл в небо ястребок на подмогу в воздушном бою. Смотрю — мазнул мимо схватившихся ввысь. Затем лег на спину, показав брюшко солнцу, на миг застыл, потом уронил нос книзу и штопором пошел к земле.

Когда ж он словил снаряд врага? Пошел, пошел, хрустальный,

маленький, холодный. Столкнулся с землей и взорвался всем своим ретивым корпусом…

Не так давно сидим мы в люксе киевской гостиницы у композитора Марка Фрадкина. Пьем чай, кофе. Телефон звонит непрерывно: то приглашения послушать новую музыку, то отзывы о нашем концерте. Вдруг лицо хозяина розовеет, глаза расширяются, и он кладет трубку на рычаг.

— Ребята! Что сейчас будет! Телятников зайдет! Леня!

Леня Телятников, спасший мир от катастрофы со своими ребятами-пожарниками… Пробежал в голове Чернобыль, все, что знала из прессы и от очевидцев.

— Телятников, Телятников! Пожарники, мальчики! — начался патетический галдеж. Два сына у Лени, жена. В квартире шведская стенка и другие спортивные снаряды. Всё по часам: и еда, и уроки, и гулянье… Недавно папа разрешил ложиться спать в полдесятого. Всё им — двум любимым, похожим на папу.

— Тэтчер приглашала! Не успевает ездить по миру! Да и не хочет.

— Да-да! — торжественно отвечает хозяин на стук в дверь.

Стремительно входит невысокий, пропорционально сложенный молодой человек в военной форме. Улыбка до ушей, белые кудри, лицо возбужденное:

— Здравствуйте!

Всем обстоятельно пожал руку. Шинель прирасстегнута. Поставил на стол бутылку коньяка и положил огромную коробку конфет.

— Посиди, Леня, — приглашает хозяин.

— Некогда! — едва не кричит Леня, застегивая шинель. Проводит рукой по кудрям, надевает фуражку.

— Растут?

— Растут!..

Композитор давненько знаком с Леней и видел его еще без волос — после катастрофы. Телятников глядит на часы и откланивается. Дверь порывисто, но бесшумно затворяется. Немая сцена.

Так вот же они! Правильно! На том стоим и стоять будем! Мы же такие! Это Телятников… Наши, наши!..

Жизнь Лени угасает. У жены равное с мужем количество рентген. У детей значительно меньше. Да, Леня влетел в случившееся как ястребок. Взмыл высоко в сердцах благодарных людей. Подал сигнал от имени хороших, от имени наших; призвал, крикнул и запрокинулся, как тот ретивый ястребок, и пошел камнем вниз…

С той только разницей, что сейчас все знают, где он «словил

снаряд»…

Не плачь, казачка!

Когда нам было лет по пять-шесть, любили рисовать. Давили бузину, курьи перья приматывали к щепочке — вот и кисточка. Бумаги тоже не было. Брали в сельпо рыжую толстую — для заворачивания покупок. Валина бабка — мы у нее частенько рисовали — нарежет, утюгом придавит, когда печь топит.

Ох, печь, печь…

Печь — это зев добра. Она кормилица. Сосок от земли. Затопить печь — это сладить приготовление пищи, это ожидание к столу близких. Счастье, когда горит печь.

Сперва она горит неаппетитно, трещит, поддымливает, потом набирает благо — и стелется тепло, и веет запахом кипящей в чугунках еды. Хозяйка то кочергу возьмет в руки, то ухват. Гордится. Лицо вспотело.

Тепло, пища, хлеб. Хлеб. Хлеб! Какой бы ни был — белый-пребелый или темный, как земля. Ничего, что с примесями. Корень — «месить». Пусть там и макуха, и лебеда, и крапива. Это ж хлеб! Испекся! Пахнет буханочка. Косятся ожидающие на хозяйку — скоро ли… «Скоро, скоро!» «Чем Бог послал».

Печь надо топить обязательно; пусть в чугунке булькает всего лишь мелкая рыба с травой. Это — действо для страждущих от холода и голода. Остуженная, давно не топленная печь — скорбь, обида, безысходность. Дует из нее холодным кирпичом и золой, напоминающей о прогоревших когда-то дровах.

На разрушенных войной в пух и прах просторах удерживалось много печных труб. Тянут они свои шеи к небу, обнадеживают. Люди подходят, затапливают, греют кипяток — это алтарь жизни, это возрождение.

Так вот, сидим мы, рисуем, а душа и нос слышат жизнь бабушкиной печки. Слюни текут, а просить нельзя. Просить не положено, как и жаловаться.

Подкрался голод тридцать третьего года. Начали люди умирать. Упал — и всё. Кранты.

— Ты-о-о-о-ты-а-а! — взвоет какой-нибудь подросток из другого села. Рядом девчушка с маленьким ведерком для подаяния.

— Иди, иди! Ты уже был! — погонят его из-под окон.

Мальчик ломающимся баском скрипнет беспомощно: «Не был», — утрет пальцем под носом и поплетется дальше. Девочка за ним.

За подаянием по своему селу ходить нельзя.

Никто не плачет. Выносят мертвого из хаты — и на кладбище. Бывало, и без гроба. Умер так умер. Завтра опять умрут…

Бабка топит… Что-то там есть в чугунке.

— Есть-то есть, да не про вашу честь.

Возле ухватов, кочерег стоит деревянная лопата. Бабка берет ее в руки и, вглядываясь поверх печки, начинает толкать девчонку, которая на печи прячется. Ее почти не видно, одни глаза как у кошки. Круглыми стекляшками светятся в темноте.

Бабке трудно: жертва молчит, если и ткнет ее лопата как следует.

— Холера!.. О, холера… Молчишь? Вот тебе! Вот тебе! — кряхтит бабка и мнет лопатой послушное тело провинившейся.

А провинилась девчонка тем, что подкинули ее из соседнего села, потому как сын бабки и сноха — мать девочки — утонули в море с баркасом, шедшим на Ейск, чтоб выменять соль на тюльку.

Сноху не любила бабка за то, что с приблудком за ее сына замуж пошла. А Бог взял да и кинул в подол к бабке ненавистную девчонку.

— Кругом люди мрут, а этой хоть бы что… — бурчит бабка.

Девчонка скользнет с печи, схватит чего-нибудь, проглотит не прожевывая — и обратно на печь ждать лопаты.

— Ах ты зараза, уже успела!..

Как солнце садится, Валина мама приходит за Валей и кинет что-нибудь на печку девочке: картошку или кусок кукурузной лепешки. Кусок ударится о тельце девочки, отскочит — она не шевелится, только глаза блестят.

— Бери, бери, доля горемычная!

Стоит нам направиться к двери, как она рывком схватит угощение — и в рот.

Как-то прихожу к бабке, а девочка сидит во дворе под яблоней, обняв колени. Грязная-прегрязная, лицо будто смазано мокрой пылью. А глаза недоступны для пыли и грязи. Синенькие да чистенькие, как ключевая вода.

— Валька тут?

Отвернулась, не ответив. Смотрю — привязана к дереву за ногу. Помалкивает.

Помню, бабка стеганула ее веревкой как следует, а девчонка, дожевывая что-то, удачливо огляделась по сторонам: дескать, что такое боль по сравнению с куском чурека!

Так и жила, сцепив зубы, не простонав ни разу. Жила себе, не вызывая ни сочувствия, ни интереса, как растущее дерево, как дождь или бродячая собака.

Приосанились немного — урожай неплохой, да надоели грузовики, увозящие беспрепятственно всякое добро из закромов.

Поплакивали люди, но не знали, как спастись от повторения голода.

Пошла я в школу. Остановлюсь, бывало, у забора, смотрю — живет девочка: скребет камушком котелок или чугунок, а то двор метет.

Никакой ей школы.

Как ее зовут? Как хлеб жуют. Чем она гордится? Крутится, крутится — и всё молчком. Людей не хочет. Не хочет — и не надо. Отключаюсь от нее. Глядь — гроб несут, а в нем бабка ее лежит, брови сдвинула.

Какое-то время девчонку не видать. Вечерком подойду к ихней хате — темно, тихо.

Потом подплывает невесть откуда телега. Выгружается разный скарб, узлы. А вот и она. Присогнутая в пояснице, угодливо помогает новым хозяевам.

Иногда вижу — перину палкой выбивает, воду тянет из колодца. Оставили, значит, у себя.

Ходим в школу, класс за классом; она подрастает. Высокая стала, как палка, худая. Молчаливая, ничья.

Слышим — пропала.

Подзабыли, и вдруг входит в село: кошелка, платье в цветочек, мяско нарастила. Отмытая, симпатичная, а озирается да крадется, как и прежде.

— Вернулась!

— А как же?.. Скотина и та к месту тянется…

Устроилась при конторе в сельсовете жить и работать уборщицей. Четырнадцать лет исполнилось мне, и ей вроде того. Тянет к ней, захотелось приблизиться, заставить раскрыться. Куда там! Перейдет на другую сторону — не дается.

И вот: немею, задыхаюсь, хочу позвать на помощь!.. Вижу, как из ее чуланчика вышел потный кабан — председатель соседнего колхоза. Провел рукой по ширинке и надел картуз. Я давно уже знала, что детей не в капусте находят, но нерушимо была приучена мамой к мысли, что замуж надо выходить только девушкой.

А тут!.. Кто за это ответит? Стою, с места не могу сдвинуться. Вижу, она выскальзывает из двери и, зыркнув голубыми шарами, скрывается в кустах.

Не хватило у меня смелости сказать кому-нибудь. Стыдно было.

Поплелась я на лиман. Неизменная картина: небо да море. Зябко, воняет сырой рыбой, поблескивает верхоплавка. Как бы ни был человек голоден, а эту рыбу не возьмет, хоть поймать ее можно рукой. Эта рыба всплыла, погибая.

Господи, всю зиму — рыба, рыба… Морская рыба невкусная. Хорошая рыбка в пресноводье водится — чебак, чехонь, рыбец. Во все времена дорогая. Лежит на базаре распластанный чебак, золотом светится. Чуть не кабанчика стоит по деньгам. Так зато ж вкуснота какая!

Тарань… С икорочкой, домашней засолки. Да где взять? Сама умею вялить.

И сейчас мне не хватает хорошей вяленой рыбы, как детства.

А та рыба, что нам доставалась, так будь она проклята! «Когда ж лучше будет? От смерти спаслись, а все никак хлеба не наедимся», — думала я, глядя на нерадостное Азовское море.

Замерзла. Пустынно. Протарахтел буксирчик с дымком… Варят что-то. Тот дымок, что от двигателя, он черный и рывком выбрасывается… Пойду! Может, маме решусь все рассказать.

Может, машинку швейную покрутить надо. Она ножная, а ремень лопнул и давно потерялся.

Мамина сестра тетя Еля шила платья, юбки за харчи. Частенько мерить платье приходила клиентка при мне: для того чтобы машинка шила, нужно было вставить ручку деревянной ложки в колесико и, поймав ритм, крутить против часовой стрелки. Крутить колесико трудно и нудно. Пот капает с кончика носа.

Явится, значит, заказчица и прямо на то же платье, в котором пришла, напялит произведение тети Ели.

Подхожу к дому и слышу крик:

— Ты что, Елена, сдурела?!

— Не кричи! Я ей огурец и яичко дала…

Красную, как рак, с мокрым лицом застала у нас девчонку-сироту. Она ушла с огурцом и яичком, откусив на ходу.

«Покрутила, значит, колесико», — догадалась я. А мама как молодой коммунист не признавала эксплуатации человека человеком, вот и отругала тетю Елю за то, что наняла «батрачку».

…Эх, как разверзлось небо над селом! Как завопили да завизжали благим матом женские голоса!

— У-у-бью-ю, га-ди-на!

Сбежались бабоньки да как стали лупасить сироту.

— Та-ак ее. Так!..

Прорвалось-таки наружу их подозрение. Бьют как бог на душу положит. Тело девочки не вздрагивает — как неживое, глаза терпеливо смотрят в одну точку и ждут конца истязания. Ни звука, ни стона.

«Блаженная!» «Ведьма!» «Курва!» Как только ни крестили — ни слова из нее не выдавили.

Вдруг спрыгивает с велосипеда парень в майке и как даст

ногой под зад тетке. Та опешила. Все замолчали, а парень вошел в раж. Посыпались пинки. Так и выдворил вояку за калитку. Сел на велосипед и поехал.

— Батюшки-светы! — хотели было развить новую тему, но парень повернул обратно и заорал:

— Кости поломаю, если кто пикнет! Мужиков своих бить надо!

Стали страсти остывать, узел слабеть, рассыпались по хатам.

Прошло время, одна из моих подружек училась в медучилище в Ейске.

— Видишь, человек безымянный живет, — говорю как-то я.

— Как это? Долия она Фамилькина.

— Долия?

— В сельсовете так записано, а по-простому — Доля.

И всплыло в моей памяти: «Доля ты горемычная» — обращение Валиной мамы к девочке. Девочка, наверное, думала, что ее имя Доля, а Фамилькина — это уж сама придумала.

Сросся в конце концов организм села: и хорошие, и плохие — свои. Поставили Долю на рядки.

И все она бегом, бегом. Серпом влево, вправо, влево, вправо. Сколько помню себя в пору житья на селе — всё люди делали бегом, а вернее сказать, «наперегонки». Однако Доля озадачила колхозниц скоростью, с какой она жала серпом. Будто убегала от людей, жнущих рядом. Вроде и не под силу так махать… Делянка кончится, все плюхаются на землю молочка выпить, дух перевести, в зеркальце заглянуть — и вперед!

Залетела я как-то, уже будучи актрисой, в родные места, пошла в поле. Где ж еще найдешь всех в сборе! Вижу, кто-то под флотским воротничком «чешет» с серпом.

Она, Доля.

Оказывается, не осталось без ответа ее усердие. Заявились дядьки какие-то снять ее на фото как ударницу. Куда там! Отказалась и скрылась на весь день. А наутро вышла на работу с флотским линялым воротничком, сколотым брошкой с изображением птички, держащей в клюве маленький конверт. Дрогнуло все же сердце от признания и похвалы. Принарядилась.

Как-то комсомольский босс Пастухов попросил меня приветствовать по радио отъезжающие на стройку студенческие отряды. С патетикой, заразительно я рассказала о сельской женщине с флотским воротничком. Я не солгала про удаль трудовую, только для меня за этим стояло много того, о чем говорить тогда не полагалось.

Доля обматерела. Привлекательная бабенка из нее получилась. Взял ее в жены вдовец. Поставили хату «на замес», то

есть всем селом. Подружка рассказывала: муж любовался ею и как милостыни ждал хоть немного любви. Жили себе и жили.

И вот однажды вернувшийся из армии односельчанин завез в поле бочку с водой. Доля кружечку нацедила, не спеша выпила и накрыла парня тучкой своих чар. Улыбнулась голубыми глазами, повесила кружку на крючок и пошла к рядкам.

Парень застыл, чуть сознание не потерял, а у него свадьба полным ходом готовится. На другой день он занес кружечку с водой прямо к ее рядкам. Солнце садится — работе конец.

Она со значением долго пила; не моргнув глазом, до капли выпила чистый самогон… Ушли они куда глаза глядят, однако смудровали, что домой-то надо…

Слух сделал свое дело — отравил ядовитым паром все село. Утром опять на работу, опять бочонок с водой, только ездовой другой — мальчик лет пятнадцати.

Свадьба состоялась по полной программе. Орут песни, дело к ночи. Доля написала письмо и, заклеив конверт, направилась к двери. Муж спрашивает:

— Далеко?

— Опущу в ящик письмо на Ейск.

Бросила письмо в ящик да и поплыла на шквал свадебных звуков. Влезла в дырку частокола и оказалась в палисаднике. В открытом окне влажная белая рубаха прилипла к молодецкой спине жениха.

— Здорово, кореш, — тихо позвала она.

Спина разворачивается, в окне удивленное хмельное лицо казака. Вместо ответа — одна нога в окно, вторая, прыжок… И были таковы. Завеялись куда-то на четыре дня!

Ой, что было, что было! Позор. Невесту погрузили в телегу и увезли восвояси.

Толки сгущались. Наконец возлюбленные явились твердой походкой — видать, что-то порешили. Парень вошел в родительский дом и тут же был убит наповал: отец поднял на вытянутые руки бидон с брагой, в каких молоко возят, и бросил. Бидон пришелся на грудь.

Доля в это время стояла посреди своего опустевшего дома.

Прошли годы, попадаю я в Краснодар на какой-то праздник.

Попросила у секретаря крайкома «Волгу», взмолилась: «Хочу по хаткам пробежаться». А там знают: после разлуки человеку пробежаться по хаткам — значит, глотнуть кислороду в тоске по родным местам.

Вижу, сидят под копной бабы, отдыхают, кто молоко пьет из водочной бутылки, кто на спине лежит, закрывшись от солнца. Пожухли мои подружки… Ветер да солнце, тяжести разные плюс

годы.

Две бабы, стоя на коленях, разглядывают спину сидящей на земле женщины. Голова ее опущена книзу, а задранная кофточка немного кровью взялась.

— Не трогай, — советует одна. — Сейчас приедут.

— Давай подорожником залепим — и всё.

— А ты не то зарезала меня, — весело подвизгивает пострадавшая.

— Доль, а Доль, прости ты меня… Неловко получилось как-то, серпом, кончиком…

— Вот зарезала, зарезала меня, — попискивает Доля.

Доля, милая Доля! Ты в гурте со всеми. Живая, здоровая.

А ранка — это чепуха…

— Здравствуй, Доля!

— Нонк, здравствуй и прощай, сейчас кончусь…

Заурчал мотоцикл. Разошелся по степи запах аптеки: из коляски спрыгнула медсестричка в белом халате. Встала на колени и начала обрабатывать рану.

— Ой! — повела плечом Доля. — Щипает…

— Ну, потерпи, миленькая, ну, хорошая моя, потерпи, дорогая. Сейчас, сейчас. Все будет хорошо. Все будет очень хорошо — ранка маленькая.

Доля замолчала.

— Всё, всё. Сейчас пластырем — и всё. Вот и молодец…

Тут медсестричка озадачилась, почему «клиентка» молчит, не поднимая головы? И вдруг спина Доли начинает вздрагивать, Доля глухо стонет и начинает горько и глубоко рыдать.

Девушка попыталась взглянуть ей в лицо, но Доля, обняв голени, завыла неудержимо, отдавая всю силу душевной боли земле. Косынка свалилась к ногам. Окровавленная кофточка шевелится от ветра.

Медсестричка налила рыженькой микстуры и поднесла к лицу Доли. Та поняла, что отвлекает от дела людей, и, отстранив лекарство, встряхнула косынку и наладилась покрыть голову.

— Вот дадите ей выпить, — попросила медсестра. — Все хорошо. Ничего нет страшного, миленькая!

Доля перестала плакать, лицо окаменело, и она, завязывая косынку, ответила, как выдохнула:

— Ничего нема страшного… Все хорошо.

Затарахтел мотоцикл. Бабы постояли немного, потом одна из них показала всем кулак. Дескать, не трогайте пока ее. Это Тайка Угрюмова. Она по неизвестным причинам единственная допущена к сердцу Доли.

Сфотографировались мы в станице, и попала эта фотография

в разные публикации о моем творчестве. Я каждый раз смотрю на нее и вспоминаю причину, по которой Доли не оказалось на этом снимке, и вспоминаю тетку, которая подсела к ней и тихо сказала:

— Не плачь, казачка. Кому нам плакать… Вставай. Бери серп — и айда на рядки.

Костюмерша

Беззвучно бухнула старая пушка, выбросила в небо облако, и оно осело на деревню пеленою весны.

Средняя полоса, гордость России. Солнышко греет, все вокруг старается угодить ему: цветет, благоухает, слепит красотой.

Кувыркается в лучах солнца ручей, пронзает деревню.

Недалеко от дома мосток, сидит здесь на табуретке огромный старый дед. Он добротно одет во все темное; валенки большие, галоши большие, плечи широкие, отработавшие как следует руки праздно лежат на коленях.

Дед не гнется в спине, лицо с полузакрытыми глазами ловит теплый ветер — с достоинством занят уходом в мир иной.

Не допускает к своей персоне никакого соучастия.

В щели мостка, у ног его, видна игра чистых лучей ручья; водяные пауки не поддаются течению воды — как будто и нет ее: снуют себе геометрическими линиями туда-сюда, туда-сюда.

Дед — достопримечательность деревни. Сидит, сидит — не умирается ему никак. Уж и от общения с людьми отключился. Все пустое. Все — лицемерие… Что ж, пусть сидит.

Мы поплелись неторопливо к костюмерной. Куда ж еще! На каждом биваке сама собой появляется притягательная точка ежедневной сходки киноэкспедиции. Чаще всего это костюмерная.

Изба разделена на две неравные части. В одной костюмы висят да стол посредине, клеенкой покрытый, с табуретками вокруг. Во второй, за занавесочкой, — «бытовка»: две кровати, зеркальце, электроплита. Экономят деньжата: квартирные берут к суточным, да плюс как сторожам накидывают…

Мужикам в экспедиции труднее: они не умеют деньги экономить, нет-нет и выпьют ненароком. Но по возможностям, а зарплату — домой, в семью!

Прекрасный актер Урбанский трагически погиб на съемках фильма «Директор». Дебет с кредитом не сошлись, не уложился в суточные и подрядился сняться сам вместо каскадера в сложном кадре, чтобы получить деньги за трюк. И денег-то — семьдесят рэ!

Два дубля — ничего, а на третьем был убит спинкой сиденья «газика». Сначала вылетел сам, «газик» догнал его и убил. От

растерянности камеру не выключили, и все было снято на пленку. Суд шел шесть месяцев. А что — суд? Трагедия страшная, а всё — деньги, будь они неладны! Мизерные деньги платили актерам… Любимая жена-красавица была на восьмом месяце беременности…

Ну, не счесть мытарств советских актеров. Этого лучше зрителям не знать. Скорее я хочу сказать, что работы легкой нет и денег задарма не дают.

Помню костюмерную, где под мягким снежком, за щитом, переодевались, подставляя голые спины осеннему ветерку и проклиная свою актерскую судьбу. Конечно, о комфортном переодевании костюмеры не обязаны думать. Это обязанность администрации — чтоб актеры, раздевшись до трусов, не подставляли снежинкам свои теплые тела, а потом насморк лечили. «Пусть их! Не сахарные!» — внаглую отвечает администратор. Тем более научишься ценить такого человека, как костюмерша Райка.

Всеми любимая, с народным юмором, щедрая. В тюрьме побывала, на руке следы выведенных наколок. Вечером ютились у них в избе — пообщаться, чайку попить, а то и покрепче чего.

В тюрьме она познакомилась со своим суженым — по голосу. Он был поставлен на раздачу пищи. На прогулках она поднимала голову, чтоб разглядеть того, кто это покрикивает сверху, почти под козырьком крыши, но не удавалось. А ее он иногда видел — макушку, часть лба и нос, — когда женщины ходили по двору…

Райка вышла на волю раньше, повезла в Загорск весточку его родителям. Мать — на дыбы: дескать, разберемся потом. «Пошла ты знаешь куда?! У тебя не спросили», — огрызнулась Райка. Подошла к рамке с фотографиями и без подсказок вытащила снимок любимого, которого никогда не видела в лицо.

— Веришь, так душу сдавило… Мать, а голос… Голос сильно похож на его…

Долгонько пришлось ей ездить с передачами, будто фотография велела. Выпустили его, встретились. Пошло все путем.

— На его мать не обиделась, потому что и моя мать не такого желала в зятья… Как животик набух, повел к своим заявку подавать. Стою, притолоку подпираю. Мать кричит, что я хитрая, оженить силком наметила. А я стою, пузо вперед выпячиваю, мол, ори, ори — деваться некуда… Хорошо так, спокойно. Дочка в животе крутится, а мне — и ладно… Не люб он мне оказался. Зарился убить, но опомнился — не за что.

— Так и расстались?

— Я и пыталась было из-за ребенка наладить как-то, а оно —

никак… Тут судьба сыграла штуку: убили его зеки. Разыскали и убили.

— За что?

— Да кто ж его знает…

Мы интересовались тюремными песнями. Я не просто слушала мелодию и слова. Надрыв заключенных, взращенный в стихах и песнях, имеет цель защитить в глубине таящуюся человеческую гордость. Тот, кто в здравом уме и твердой памяти, какое бы преступление ни совершил, — имеет точку опоры в своей совести, «жмет на все тормоза», выкрикивает в песнях и стихах: «Я человек, я есмь». Оттуда, из тюрьмы, выходят порою нешутейные произведения.

У Райки маленькие натруженные руки. Гриф гитары ей не охватить, но она так мило перебирает толстые и тонкие струны. Поет сипато — курит «Беломор», но по мелодии чистенько. Лицо выражает недоверие к слушающим. Когда кинет взгляд на нас, это значит: «Включайтесь. Сейчас общие песни будем петь…»

Бузили, сплетничали, отдыхали. Когда в фильме была Райка, съемочная группа приобретала особый колорит.

— Райка, вы вчера опять гудели?

— Господь с вами, Станислав Иванович! — Она степенно, сдвинув брови, застегивает актрисе пуговицы.

Тянет всех как магнитом — хоть нос сунуть в костюмерную. Райка подход ко всем имела.

Однажды Таня Лаврова входит замерзшая, лицо тусклое — восемьдесят километров проехала после утренней репетиции. Райка шлепает ладошками по подушке, взбивает ее и жестом предлагает прилечь Тане на свою кровать. Таня послушно ложится, и на ее ноги падает овечий полушубок. Потом чай горячий с вареньем. Через полчаса Таня неузнаваема: глазки горят, щеки порозовели. Отогрелся человек, чайком душу погрел… Конечно, Райка не могла быть преднамеренным профессионалом-преступником. Мы в юности тоже занимались такими преступлениями: лазили по убранному полю и добирали остатки. Тряслись, как зайцы, если в лесополосе ездовой заслышится. Мы тогда не попались, а Райка попалась — дали пять лет. Был такой закон: пусть сгниет на поле, но в личную «наживу» — ни боже мой.

Тюрьма ее «приголубила». Набралась молодая девушка всего, а сущность человеческих качеств осталась нерушимой. Райка не знает границ между обязанностями и душевной сноровкой.

Один раз бреду, утренняя заря, прохладно. Сейчас Райкин чай будет. Это счастье. Подхожу и вижу лежащего ничком у входа в костюмерную режиссера.

— Что с вами, Станислав Иванович?

— Зайди посмотри, — едва выговаривает он, задыхаясь от смеха.

Вхожу: ничего особенного, если не считать на пустом круглом столе мертвой белой толстенной книги, раскрытой посередине, чтоб не захлопнулась. Книга эта — «Капитал» Маркса.

— Где же ты взяла? — прыснула я.

— «Где», «где»! В библиотеке! Тут тоже люди живут. Интересуются.

Так она решила противостоять подозрениям начальства в легкомыслии. Знала, что хохма не для взрослых, но шла на это. Пусть их — этих начальников!

Не одну картину мы проработали вместе и стали как родные.

Но эта радость общения — лишь до того момента, пока не приезжает дочка. Тут Райка немедля снимает комнату подальше от съемочной группы и полностью предается семье. Вход для всех закрыт.

Райка бодренько отрабатывает, оставляет докончить съемку младшей помощнице — и скорей домой.

Мне вход не был заказан. Я видела в Райке совсем, совсем другую сущность — светлое и святое материнство. Говорить она начинала тихо, движения смягчались, глаза вожделенно ласкали доченьку свою. Девочка воспитывалась исключительно на интеллигентный лад. Бог дал ей быть отличницей в школе, любовь к книгам и послушание. «Откуда это?» — и Райка изумлялась.

Она крутилась как могла, одевала дочку модненько, наняла педагога по английскому языку. В Райке жили два человека, и обе жизни были искренни. То «Сонька золотая ручка» с матерком и пол-литрой, то заботливая мать, ограждающая дочку от всего того, что знает сама. Подрабатывала где только могла.

К примеру, пришла мода на кружевные воротнички ручной работы — пожалуйста. И артистки довольны, и она. Сядет на берегу и цокает спицами или крючком. Я рядом. То и дело кладу ей руку на плечо:

— Кончай, зашаталась уже.

Она остановится, но огрызнется:

— Так скорей время проходит. Осталось немного — неделя…

Это она так неистово поджидала свою доченьку.

— Ну что? К тебе пойдем?

— Пойдем, — отряхивая юбку, отвечает Райка.

Хорошо закончить день в костюмерной. От Райки иду в дом, где я поселилась на время съемок.

…Вдруг стук в окно.

— Это ты, Райка? — громко спросил хозяин.

Я прильнула к стеклу и увидела искаженное лицо Райки. Через минуту уже была возле нее.

— Что случилось?

— Читай… — Она поднесла к окну телеграмму.

«Мама, не падай в обморок, я выхожу замуж». Я и то поперхнулась, зная эту худенькую покорную девочку с пискучим голосом.

— Пошли скорей на почту! А то закроется.

Почта черт-те где, километров за пять. Идем быстро, молча. Крапива жалит ноги.

— От зараза, ни сном ни духом…

Райка шла как на смерть, убитая. Я молчу. Наконец почта. Веселенькая, ухоженная. Райка чеканит московский телефон и берет бланк. Садится за стол. Я рядом.

— Надо наметить вопросы, чтоб не упустить чего… Кто он? Сколько лет, где работает? Где будете жить и на что? Родителей видела? По любви или по расчету? Правду и только правду!

Зазвонил телефон. Райка — к будке. Вцепившись в конспект, стала четко читать написанное.

— Кто?.. Моряк?.. Откуда взялся? С вашей школы?! А ты при чем? Ты при чем, спрашиваю! Вернулся из армии?.. Где будете жить и на что? У нас?! До какой осени? А дальше? Родителей видела? К ним едете? Далеко? Владивосток? По любви выходишь или по расчету? По любви? Правду и только правду. Ребенок? Где? Ну да… Комната? Туда наладились? Слышу — не глухая.

Звякнула трубка.

Райка села на стул побледневшая. Потом рванулась и выписала еще три минуты. Полились слезы.

— Доченька!.. Я не против… Что ж ты не сказала раньше?.. Мы ж дружим с тобой. Что? Кинорежиссер?! Какой… Дай вам Бог… — Она положила трубку на рычаг. — Пошли…

Засветился восток голубизной. Мы пошли не торопясь, теперь уже скоро одеваться — и на грим.

— Он кинорежиссер? — спросила я осторожно.

— Нет, я. Дочка просила сказать, что я режиссер.

Рубероид

Подружки мои дорогие! Кому «за», кому «до», а вообще — давно вернувшиеся с ярмарки. Люблю наблюдать за вами, видеть вас. Как старательно собираете свои актерские аксессуары и сломя голову мчитесь выступать, бесплатно выступать где потребуется. Будь то воинская часть, или ЖЭК, или больница.

«Шефака давить» — называется на языке актеров шефское выступление.

Помню, прилетела откуда-то, а в Москве субботник. Люди копошатся, метут, стригут, песенки поют, в цехах проценты выдают, а я?!

Хватаю концертное платье, туфли — и в Дом кино.

Там шел вечер, и вел его Олег Анофриев.

— А ты чего? Тебя в списках нет.

— Так впиши. Я неохваченная…

Толстенькие, с подагрой на ногах. Газ, люрекс, парик, немодные лаковые туфли, бисер…

По ходу того как облачают себя в сценические одеяния, спина как-то выпрямляется, появляется осанка; накладывается умеренный грим… Священнодействуют; душевный подъем.

Кто-то давно выпал из обоймы действующих и известных. «Помните, там дама выбрасывается на ходу поезда, — это я…» Бывают такие напоминания зрителю о своих актерских деяниях. Зритель внимательно слушает, уважает, виня себя за плохую память, не вспомнив вывалившуюся из поезда…

Нашему поколению вместе со знакомством с профессией наказывалось: общественная жизнь, служение народу, патриотизм — это неотъемлемая часть звания советского артиста.

Нам крепко привито это с юности, и носит нас нелегкая — то на открытие строек, то на вручение грамот и знамен в праздничные дни. Это свято. Это безукоснительно. Стали платить за выступления, а от «шефаков» все одно артисту не отвертеться.

От «шефаков» теплеет сердце любого начальника: то вагонку надо выбить для постройки детсада, то шторы для дома ветеранов. И не счесть, сколько бытовых потребностей удовлетворялось путем шефских концертов.

Бывает, в ГАИ улыбнемся, поздороваемся, выпросим, чтобы простили товарища за нарушение; бывает, в кабинете главврача встреча. Назавтра принимают, к примеру, в Институт курортологии кого-то с болезнью диска в спине или на водную вытяжку.

Что за чудо — искусство!

Есть, конечно, и пышные концерты — с именами, транспортом, угощением и оплатой. А эти маленькие, задворные действа с не меньшим вниманием и благодарностью принимаются рабочими, колхозниками, военными.

То грустим, то радуемся, то делимся лекарствами — кому от давления, кому от нервов.

Так получилось, что мои роли дольше держались в памяти

людей, и на такие мероприятия подружки считают долгом пригласить меня для пущей важности. Куда ж я денусь?

Идет несмолкаемый перезвон с вечера. Всю «черную» работу берут на себя.

Какая это прекрасная тусовка целый день! Сперва подъезжает, качаясь как уточка, допотопный автобусик с только что повешенными занавесочками из плюша зеленого или оранжевого цвета. Устроительница — Таська-политкаторжанка. Мы ее так назвали за принадлежность к компартии, внушительный возраст и короткую стрижку. Орет с утра до ночи бывшим меццо-сопрано. «Тише, Тася!» — когда не до нее. Она не обижается и умолкает.

Выхожу к автобусику. С первого сиденья мигом соскакивает пацаненок — и к бабушке Тасе на руки. Переднее сиденье заготовили для меня. Я ворчу, недовольная таким предпочтением, но это делается по-свойски.

Сегодня едем на стройку. Выбивать для Таси рубероид. Ей крышу дачи крыть нечем. Рубероид, как и всё у нас в стране, дефицит. Приезжаем. Час дня. Лепит жаркое солнце; у рабочих на стройке перерыв.

Залезаем в вагончик. Тут письменный стол, телефонный аппарат, полка — на ней стаканы, соль, тарелки.

Крутимся, уступаем место тому, кто первый должен подготовиться к выходу на выступление. Обычно первой идет Таська.

Бисер ее поблек, парик свалялся. Но газ! Газ целый. Падает дымом на немолодые плечи.

Она огромная, тучная, а попробуй скажи, что тут попроще и ресницы клеить не надо. Тут же пошлет куда подальше.

— Костик, не трогай телефон!

А Костику телефон не нужен — он молотком разбивает белые кусочки правильной формы.

— Что это за камушки?

— Это не камушки. Это конфеты «Школьные», в заказе дали, — деловито поясняет Таська.

Она настойчиво пытается попасть на веко лаковкой, чтоб следом наложить ресницу. Не видит. Хохочет до слез. То снимает очки, то надевает.

— Дай я тебе наклею. Закрой глаза.

— Пошла к черту, я щекотки боюсь.

Клеит чуть выше века, и от этого глаз не закрывается. Тогда она сдается: поднимает голову и закрывает глаза.

Последняя точка — засунуть в лифчик «Олеко Дундича». Это две мягкие белые перчатки до локтей, в которых она когда-то снималась в фильме «Олеко Дундич» и заначила их. Прошло

много лет, перчатки истерлись и прекрасно заполняют пустоты в бюстгальтере.

Посреди двора сидит кучка женщин в оранжевых жилетах. Мужчин не видать. Мимо зарешеченного маленького окна плывет большой лист фанеры. Два парня кидают фанеру возле сидящих женщин и садятся на бревно смотреть концерт. Пыль оседает не сразу.

Всовывается в вагончик девушка и приглашает начать.

Таська без очков плохо видит и на ощупь преодолевает две ступеньки. Очутившись на земле, расставляет руки и с громким пением направляется на фанеру: «Ой, чарычка, чарупушечка!» — выводит она громко, добротно, мужским голосом.

Слушающие приосанились, заулыбались.

Таська слегка пританцовывает в немодных лаковых туфлях, а лист фанеры «дышит» под ее ногами.

Не захватила Таська того времени, когда кое-где стали потихоньку вводить плату за выступление. Помню, у меня была сначала ставка — восемь пятьдесят, потом девять пятьдесят и так далее — до двадцати одного рэ.

Поглядываем на выступающую из низенького окошка. Всё путем. Вдруг видим, выползает из-под Таськиной юбки белая тряпка и расстилается возле ног пятипалой перчаткой.

«Олеко Дундич» выпал!..

Люди увидели, но поднять не решились — продолжали слушать, сконфузившись.

«А кто у нас холостой, а кто неженатый?» — закричала Таська, указывая рукой на рабочего. Смех, веселье. Женщина не торопясь встает, берет перчатку и вручает Таське. «Чего там! Ну, бывает». Женщина садится на место, а Таська искупает случившееся усилением куража.

Ждем аккордеониста. Опоздал. Наконец всовывает аккордеон и, тяжело дыша, влезает в вагончик аккомпаниатор.

— Аркаша, что с тобой? Таська пошла без тебя.

— Пускай орет! — Он вытирает платком лицо. — Вот жидовские дела!

Мы уже привыкли к тому, что Аркашка, будучи евреем, все жидов клянет, уверяя, что есть евреи, а есть жиды.

— Что такое, Аркаша?

Он вытаскивает телеграмму и кладет на стол. Читаем: «Привези тапочки и две банки майонеза баба Мара умерла». Молчим — не наше дело.

Аркадий легонько пробежал пальцами по клавишам аккордеона.

Пошли дробушки, звонкий голосок. Юбка колокольчиком.

Это уже объявленная Таськой Рита Ивановна. Аркадий там же. С аккордеоном, конечно, другая картина.

Таська «подзарядилась», ввалилась в вагончик красная, веселая и, улегшись спиной на прохладные доски вагончика, сообщила:

— Девки! Сдохну, тело спалите — и прах в Мелитопольский горком партии!..

Покряхтела, отдышалась и встала.

— Костик, дай бабушка сядет.

Костик повиновался и перенес молоток и конфеты на другой край стола.

— Бабушка, видишь, сколько я уже наколол…

Глядя в окошко, Таська ткнула меня в бок:

— О! Мой идет — чернявый!.. Люблю чернявых…

— А может, он лысый, — меланхолично сказала Клара Петровна, держа руки в карманах английского пиджака. — Прошу тебя, — обратилась она к следующей выступающей, Эльзе Степановне, — не говори про «пальмовую ветвь».

— Хорошо, — покорно пообещала Эльза Степановна. Она была слезлива, глазки увлажнялись по любому поводу. На концертах показывала, как озвучивает птичек, собачек, свинюшек в мультфильмах. Частенько мы ее просим не жаловаться на актерскую судьбу. Зрители ведь не помощники.

«Пальмовая ветвь» — откуда она? Дело было так: получила когда-то Клара Петровна спецприз. За первую и последнюю роль в кино. На какое-то время энергия роли ввела ее в ряд известных актрис, потом приходилось самой напоминать. Шли годы, все объявляющие путались, как назвать приз, и обозвали его «пальмовой ветвью».

«Пальмовую ветвь» все-таки не оставили в покое. Ею «награждали» любого из выступающих — для понта…

Я себя барыней чувствую. Одета во все американское — и платье, и туфли… Ведь я только что из Вашингтона. Вспоминаю, как нам в прохладном мраморном банке дали по семьсот долларов. Мне казалось, могу купить все — от парохода до Канарских островов…

Загнивающие капиталисты! Как удобна одежда, как невесомы туфли, мягкие, с низкой шпилькой! Только теперь я поняла, насколько хорошая одежда снимает с человека все комплексы. Нога тридцать девятого размера стала изящной, небольшой. Что говорить — я стала много лучше при американском шмутье. Пораньше бы…

На конгрессе в Белом доме, в библиотеке, попросили дать интервью. Я справилась. А когда спросили конкретно, провалится

или не провалится наша перестройка, по-плебейски заявила:

— Никогда!

«Черт ее знает, — негодовала потом, садясь в шикарную машину, — что это такое — перестройка».

…Очнулась — объявили меня.

Я направилась к листу фанеры, не допуская, чтоб шпильки погружались в песок. Жаль туфель — может быть, больше таких не будет…

Пожевала я какой-то текст, чтоб собраться с мыслью, — и потом пошло. Это мы умеем.

Бурные аплодисменты. Возвращаюсь с букетом полевых цветов в вагончик.

Чернявый из-под телогрейки достает колбасу в бумаге, снимает картуз и освещает вагончик лысиной во всю голову. Мы вздулись от попытки удержать смех; на наше счастье, он вышел и кликнул напарника.

— Ой, ой! Где мой корвалол? — разрываясь от смеха, взмолилась Таська.

— Нет, девчонки, какой корвалол? Вот корвалол. — Чернявый поставил на стол бутылку водки и начал расставлять граненые стаканы, резать колбасу.

Пить-то мы не очень, но никогда не настаиваем на том, чтобы убрать выпивку, — под это дело выпьют устроители шефского концерта.

Смотрим, кладет каску на краешек скамьи рабочий.

— Иди, Шурка, не стесняйся.

Шурка и не собирался стесняться.

Разлили всем поровну, чокнулись, отпили по глотку, а «ребяты» до дна. Стали прилипать лица к решетчатому окошку. Чернявый задвинул его картоном, на котором был наклеен плакат с инструкцией по технике безопасности.

— Не стесняйтесь, девчонки, закусывайте.

Вместо опустевшей бутылки появилась свежая.

— Эх, давайте, девчонки! — крикнула Таська и приглотнула. — Вот знаете, помру — завещаю спалить меня, а прах в Мелитополь, в горком партии.

— Да ты всех переживешь, не ерничай, — говорю ей. — Еще отведаешь супчику за бесплатно.

— Это где ж такое?

— Не слыхала? Брешешь! Знаешь, что у предпринимателей. Каждое воскресенье открываются двери — и будьте любезны! Благотворительный обед для бедных. «Спасибо родной партии! Спасибо родному народу!» — крикнул недавно дед и чуть лапти не откинул.

— Нонка, не заводись…

— Я не завожусь… Дед откусил хлеба, запустил ложку в суп, а «Добрый вечер, Москва» тут как тут. «Вам нравится здесь?» — дура одна спрашивает.

— Почему — дура?

— Интервью брать — это надо иметь ум и талант. А частенько несут чушь всякую… «Хорошо готовят? Вкусно?» Он не поднял головы на кинокамеру, но добавил еще раз: «Спасибо партии родной»…

— Нонка, хоть ты и права, но как-то после твоих высказываний порою дух захватывает.

— А ты заплачь! Меньше в туалет бегать будешь…

У Эльзы Степановны уже глаза увлажнились, как обычно.

— Коммунисты разные бывают, — сказала она.

— Ты права… — Мы чокнулись да подумали, тут и конец ненужной болтовне.

— Я умру коммунистом, — заявила Таська.

— Это клево!

— Ты коммунистка неполноценная, — сказала обладательница «пальмовой ветви».

— Неполноценная?!

— Полноценные коммунисты живут по-коммунистически…

— При коммунизме. А ты все орешь: коммунизм, партия, народ, — а задница голая и у тебя, и у твоей матери, и у матери ее матери. Не путай хер с пальцем!

— Девушки, давайте! — призвал чернявый.

— Костик! Подай бабушке туфли, — только и могла сказать Таська.

Слава тебе господи — подошли двое, видать, начальство.

— Ну как, товарищи артисты?

Тишина. Теснота.

Тут Костик протяжно и жалобно пукает в клеенку стула.

— Будь здоров! — пожелал один из начальников.

Все рассмеялись.

Костик понял, что смеются из-за его поступка. Он скривился и зарыдал.

Часть III
Магический круг

О Василии Шукшине

Есть Василий Шукшин ваш, сегодняшний. А есть мой, наш, тогдашний. Я хорошо помню его, начинающего, молоденького, холостого, вольного, ничейного и для всех. Студент, приглашенный студией Горького на переговоры для съемок в фильме «Простая история». Ему отводилась роль молодого возлюбленного Саши Потаповой.

Сидим ждем. Вдруг рывком на всю ширь открывается дверь, и через секунду на нас уже деловито смотрит Вася. Входит, закрывает дверь, подходит к столу, снимает крышку с графина, наливает в стакан воды — пьет. Ставит стакан, чешет затылок и хмыкает, блеснув зубами. Глаза стыдливо сузились, красивые, втягивающие в себя. А тут еще и тембр голоса, с сипотцой, чарует.

— Значит, переговоры? Ну давайте переговаривать, — не убирая улыбку, говорит он.

Мы дружно засмеялись, а он, кинув на меня игривый взгляд, продолжает:

— Переговоры, переговоры! Ведь так? Тогда и давайте переговариваться.

— Договариваться, — сдерживая смех, поправил его режиссер Юрий Павлович Егоров.

— Наверное, можно, — говорит Вася. — Я вполне подходящ для этой роли. Летом свободен. А сейчас учеба, учеба вовсю.

— Да уж, что подходящ, разговору нет, — замечает Юрий Павлович. — В ближайшее время нам надо наладить все для экспедиции, а после экзаменов давай туда к нам, в деревню Лепешки.

Вася пожевал губами и встал. Был он в солдатской форме и в сапогах, которые еще долго потом не снимал. Ушел. Радость какая, думала я, какая радость — вот человек! Учится на режиссерском, сибиряк, красивый.

Мы уже начали заниматься гримом, а я все подсчитывала, когда же начнется экспедиция и появится Вася. Нет, что ни говорите, а есть такие люди, которые «кормят» нас, они излучают жизнь. При таком человеке в душе все успокаивается, все распределяется как надо. Какая это бесценная награда, когда встречается такой вот человек!

Он был раскрепощен, добр, азартен, близок, но не со всеми. Будучи знакомым с ним всего лишь полчаса, видишь, как он богат душой, как близок он к тому, чтобы неожиданно выкинуть какой-нибудь фортель. Или, наоборот, замечаешь, как он, записывая что-то в тетрадь, вдруг отчуждается, отстраняется ото всех, давая понять, что это только его дело. Иногда он надолго уходил в себя.

Мы жили общежитием, и я, не скрою, всегда безошибочно узнавала скрип Васиных кирзовых сапог, всегда угадывала, в какую комнату он вошел. Захаживал он и к нам. Мы жили вдвоем со вторым режиссером К. С. Альперовой.

Как-то однажды сидим и при керосиновой лампе пьем чай. Васька, веселый, дует в блюдце и моргает мне — дело есть. Сердце в пятках. Какое же дело у него ко мне?..

— Идем на волю, — кивнул он на дверь.

«Свидание, что ли? — подумала я. — Но как это? Я же замужем. Ах, зачем я замужем?..»

Он выходит первый, садится на крылечко, показывает, куда мне сесть. Сажусь рядом. Достает из кармана папиросу, а из-за голенища трубочкой свернутую, истрепанную тетрадь.

— Вот надумал писать книгу о Степане Разине.

Эта новость так меня обескуражила, что я почти не слышала плана будущей книги.

«Вася, Вася, и ты туда же, в графоманы…» Рухнуло мое тайное увлечение им. Ну куда его несет? Какой из него писатель?! Мне было жаль расставаться с созданным моей фантазией образом, и я решила простить Васю: ничего, это все по молодости. Это пройдет. Ой, господи, все хотят писать! И при чем тут Степан Разин? Кому это нужно?

Я молчала.

— Песня будет, и не одна. Знаешь вот эту?

Я ошалела от тембра его голоса. До чего же завлекательно, музыкально пел он своим сиповатым грудным голосом! Я встала, потому что долго слушать его пение было невыносимо: меня снова потянуло к нему. И тогда, чтобы не задушить его в объятиях, я, скомкав свидание, ушла.

Легла на кровать, жду, куда направятся кирзовые сапоги. Никуда. Я так и уснула, не дождавшись его ухода с крыльца.

Трудное было для меня время. Вася был со всеми одинаков, а я хотела, чтобы он почаще бывал со мной. И не отрываясь следила за каждым его жестом, ловила каждое слово. И, если уж быть до конца откровенной, мне не хотелось расставаться с ним никогда. Слава богу, роль у Васи была небольшая, и он недолго пробыл в экспедиции. Острый, болезненный для меня момент прошел благополучно. Как трудно бывает иногда нам, женщинам,

когда есть муж и сын, а в тебе молоточком стучит воспоминание о ком-то другом!..

Словом, обошлось. Я стала любить Васю только за его творчество. Эта любовь так и была до последних дней его жизни со мной.

Он отлично исполнил свою роль в «Простой истории», с шиком, с тончайшим знанием деревни, с безграничной любовью к простому русскому человеку. Под орех разделал, что называется!

Много потом прошло времени. Я с интересом следила за рассказами Шукшина, выходившими в «Труде», в «Неделе», за всеми его новыми фильмами. Но где же Степан Разин? А он уже был готов, да только не доходил до моих рук.

И вот снимается картина «Они сражались за Родину». Бондарчук сразу пригласил меня на роль Натальи Степановны, но я отказалась. Все актеры с семьями поехали на Дон работать. Чего мне там делать одной (к тому времени я была разведена)? Не постеснялась, нет, но будто в чем-то я перед всеми в проигрыше. И вот опять звонок мне в Москву: Шукшин. Слышно плохо, он кричит: «Приезжай на роль Натальи Степановны!» Я все сомневаюсь, буровлю что-то. А Вася в трубку кричит: «Приезжай! То, что ты думаешь, такого ничего не будет…» — «Чего не будет?» — не поняла я. Но — поехала; раз такие люди и так настойчиво приглашают, сколько можно ломаться!

Приезжаю, а всех жен как корова языком слизала: не видно никого.

Съемочная группа жила на теплоходике. Репетировали вечером на палубе, и так здорово все играли, что я не выдержала:

— Эх, если б все это вышло на экран! У нас ведь то техника подводит, то спешка вечная, и мы недодаем очень часто.

На это Бондарчук ответил:

— Черт с ним, с «кодаком»! Будем снимать до тех пор, пока не получится как сейчас.

Мы разошлись. Я всю ночь повторяла текст, чтобы назубок знать, а утречком стали подлаживаться во дворе друг под друга, подстраиваться. На загорелой руке у Бондарчука я даже заметила след от обручального кольца — так он выполнял негласный уговор не напоминать мне о моем семейном «банкротстве». Вот дурачки: совсем не этот вопрос волновал меня тогда, с чего они взялись охранять мое самолюбие?..

А сыграли мы хорошо! Одним дублем. Как сцепились — и пошло, не останавливаясь, очень натуральная сцена получилась. Я только все боялась за Васю. Как он изменился… Какой-то стал узенький, болезненный.

Четыре раза мне посчастливилось работать с Шукшиным, но

именно в последнем фильме, «Они сражались за Родину», произошло чудо. Мы так слаженно играли, что это было как в пинг-понге: он мне — я ему! И фразы, и взгляды, и чувства — всё пустили в расход, с молотка! Мы так духовно были близки в тот момент, нам было так горячо в том магическом кольце, в которое мы попали, что не заметили, как сыграли эту сцену на одном дыхании.

Бондарчук, любя актеров и всегда служа им как нянька, был абсолютно сокрушен и опустошен. Сергей Федорович, брови домиком, потерявший дар речи, отупело рассматривал наши лица, плечи, костюмы. Мы видели, как он был нами доволен, но и сами из опыта знали, что это не фунт изюма — сыграть беспрерывно целую часть по времени, то есть десять минут перед камерой.

— Всё, — сказал Бондарчук, — на сегодня хватит. — И повел нас с Васей обедать.

Как чудно мы сидели в тот вечер за столиком втроем, как любили друг друга. Сергей Федорович выставил бутылку «рислинга» — отметить нашу творческую удачу. И так было хорошо, благостно. И Бондарчук говорит:

— Ребята, а можно я тоже сыграю сейчас — за вас — эту сцену? — Все-таки в душе он в первую очередь был актер. — Только умоляю: не мешайте!

И сыграл. Всю сцену! И за меня, и за Васю. Сыграл с таким подъемом, что слезы невольно навернулись на глаза.

Уезжала я с победой. «Ай да я!» — нахваливала себя, едучи в «газике» на станцию. Не успела приехать, как все поняла и все сыграла: они-то пять месяцев уже в материале».

Но тогда же я подумала и другое: в том, что мне удалась моя «выходка», был «виноват» и Шукшин.

Через несколько дней его не стало. Я узнала об этом в Болгарии. «Васьки нету, Васьки нету», — только и говорили мы все друг другу навзрыд. Вот бывает такой тип людей: пусть не твой и не с тобой, но только лишь бы он жил, был, говорил, снимал, писал. Шукшин был редкого обаяния человек. Мало ли талантливых людей! Да не тепло от них, не сверкают они искорками, как он! В какой бы ни был экспедиции Вася, все свое свободное время он проводил с местными жителями. То деда какого-то подцепит и дружит с ним, лялякает, то бабку, то молодых колхозников. И все писал да писал, прилаживал накрепко свою литературу.

Эх, Вася, сгорел, как на костре! И все из-за нее, из-за проклятой водки, будь она трижды неладна! Конечно, я не отрицаю: эмоциональный аппарат актера или писателя

накаляется за весь день до такой силы, что человек вроде бы ничего уже не замечает, он как бы уже встал на дыбы, увлекшись творчеством. А потом — спад. Работа кончилась, бежать уже не надо, но человек еще долго бежит, волнуется, и сердце вырывается из груди… Вот тут тебе и предательское успокоение — полстакана водки. «Ох, хорошо! Тихо, спокойно — отключка от рабочего дня».

Потом для отключки доза выпитого увеличивается. И понеслось… Долго еще, наверно, не появится другой заменитель наркотиков для успокоения нервной системы, очень долго… Хотя он, кажется, по значительности не уступает средству для излечения от рака.

Никита Михалков

Это очень интересно — он обладает даром очарования, даром внушать всем — и мужчинам, и женщинам: все во мне — это все ваше. Наше с вами — я ваш.

Когда я пришла на первое собеседование, мне привиделся пионерский лагерь, мы играем в испорченный телефон, а его чарующие медовые уста уже готовы к ответу.

Я сразу влюбилась. Не смейтесь: я влюбилась в его фигуру, маленькие, но крепкие кисти рук и все не могла понять, почему он такой хорошенький, душистый и богообразный.

— Я был в парилке, — ни с того ни с сего сказал он. Он знает, что человек из парилки — немного облако и больше всего привлекательный мужчина.

Ну ладно. Молчу, жду, что будет дальше. Надо помнить, что между нами двадцать лет разницы. Буду вести себя скромнее, не разевать рот, тетка старая, — работать и работать. Тем более что он тоже всегда рад работать — со старой или с молодой.

Мы поговорили о роли в «Родне» вообще: пока старт, пока я пешка. Хорошо, что в первое свидание миссия актеров — молчать и слушать. Я уже заметила: очки у Михалкова на цепочке и носки не по лету толстые.

Узрела еще и его усилие навязать нам свое положение режиссера, ответственного за все, невзирая на возраст сидящей актрисы. Потом был чай. Так положено в этой группе: целый день можешь просить чаю, конфет и других сладостей, и тебе не откажут. Это создает уют, конечно. Но мне мешает беспокойство от его присутствия — он как-то неуловимо давит, хозяйничает, потом искусно прослаивает свой диктат шутками или анекдотами, остроумными и замысловатыми. Нагородил в первое знакомство столько, что сниматься не хотелось и думать над

ролью тоже.

Утром он пришел в джинсовой рубашечке грубой ткани и в так ладно сидящих на молодой фигуре вельветовых, такого же цвета, брюках, что глаз оторвать от него было невозможно. Тогда я тут же решаю: веди себя достойно, он почти как твой сын. Сижу по-ученически, жду репетиции. Входит Коля Губенко, и я обрадовалась: начнется разговор с давно знакомым, а это легче. Влетает Никита, в глубине зрачка недовольство: зачем вошел во время репетиции? А Коля простодушно говорит, что просто хочет побыть с нами, и я подогреваю его желание.

— Ну все, старик! — говорит Никита. — До свидания. У нас репетиция.

В это утро была последняя или предпоследняя в моей жизни искра зарождающейся любви. Как хорошо, что во время репетиции она чуть вспыхнула и сразу же погасла! Никита не дал развиться моему чувству. Он не признавал и не признает сейчас никаких «любезничаний». А я их тоже не хотела: я была счастлива, что впереди картина и у меня масса времени снять с себя это пионерское настроение. Мне казалось, что если б мы лазали по чужим огородам и нам было бы по четырнадцать лет, то это был бы тот самый редкий случай любви.

Видите, всего лишь за два дня он напялил на меня такой груз. Потом дома, взглянув в зеркало, я попросила себя больше не любоваться молодыми режиссерами.

Слава тебе господи, приехала Света Крючкова, и они так органично слились с Никитой, Сашей Адабашьяном, что я заняла ложу бенуара, о чем мечтала в первые дни. Я буду возле. Они будут творить, а я, как обычно, вкалывать. Пойму в конце концов, что хочет от меня режиссер, как он видит картину в целом, и буду удивлять его своим прекрасным партнерством, как в любой другой игре.

В один миг он это мною намеченное разграничение между старыми и молодыми разрушил настоятельно, не дал шансов на лидерство никому — ни тем, ни другим. Все были равны — мы были ансамблем, нужным для создания задуманного фильма. Никита еще не видел его формы: он искал ее в бесконечных репетициях, и мне он велел не унижать себя своим возрастом, не возвышаться над всеми за счет опыта, знаний и популярности.

Он умело «подбил» клинья. И надо же такому случиться, что всем стало хорошо, азартно и дружно. Нам понравилось в Днепропетровске в экспедиции веселиться, смеяться, рассказывать случаи из жизни, а о картине пока не говорить. Так всегда бывает, когда еще не определены форма, жанр, не готова стартовая площадка.

Идея фильма была ясна: показать, что не надо торопиться разрушать семью, как много теряют люди, когда порывают со своей родней, с местом, где родились. Но это только кажется, что все ясно и просто… Боже, что это была за работа! Сердце иногда останавливалось, режиссера ненавидела, а он неотступно требовал исполнять только так, как он видит. Такого, как Никита Михалков, можно и послушаться, но ведь не всегда. Бывало, все в тебе сопротивляется, тянет к другому решению. Ссоры были, творческая любовь была, единение и смешливость возникали обязательно, как награда за трудный рабочий день, — смех, смех и смех… Он заводной, остроумный и изобретательный. Футбол, чаепитие, гитара, песни, рассказы… И вот — драка!

Началось с того, что Никите нужно было снять мое лицо с наитрагичнейшим выражением. Это финальный эпизод на вокзале, где провожают новобранцев в армию и я между ними кручусь с ведрами, ищу бывшего мужа, Вовчика ищу Я твердо решила позвать его домой, в деревню, обо всем сговорились вчера. «Ведь ты же обещал… Нам надо ехать… Э-эй!» Мне сыграть надо было смятение, граничащее с потерей и гибелью. Я знала, как готовиться к такому крупному плану и как его выдать на-гора. Никита знал мои возможности, но хотел чего-то большего. (Мы слышали, что за границей кинорежиссеры сильно бьют актрису по лицу, отскакивают от камеры, и оставленная актриса «гениально» играет — и слезы ручьем, и тоска прощания. Люкс!) И вот Никита «приступил к получению» такого выражения лица, которого не было у меня еще ни в одном фильме.

Уселся на кран вместе с камерой и стал истошно орать — командовать огромным количеством новобранцев и выстраивать в толпе мою мизансцену. Я на миг уловила, что ему трудно. Мегафон фонит, его команды путают, а мы с Ванькой Бортником, «мужем», индо взопрели от повторных репетиций. Вдруг слышу недобрую, нетворческую злость в мой адрес. Орет что есть духу:

— Ну что, народная артистка, тяжело? Тяжело!.. Подложите-ка ей камней в чемодан побольше, чтоб едва поднимала.

Шум, гам, я повинуюсь. Чемодан неподъемный, но азарт помогает. Снова, снова и снова дубли. Чувствую, что ему с крана виднее и что-то не нравится. Для него быть в поднебесье на виду у молодежи и не решить на их глазах, как снимать, — невыносимо.

— Ну что, бабуля, тяжело? А? Не слышу! Подложить, может, еще?

— Мне не тяжело! — срывая связки, ору ему в небо. — Давай снимай!

— Нонна Викторовна! Делаю картину я. Могу слезть и

показать вам, как нести тяжесть и в это же время искать свою надежду, своего мужа Ваню. Где ты, Иван?

— Здесь я! — с готовностью кричит Ваня Бортник.

— Вы видите его, народная артистка? Или вам уже застило? Да, трудно бабушкам играть такое.

Я поставила тяжеленные вещи и устремилась к вагончику. (На съемке у нас вагончик — комната отдыха.) До сих пор не могу понять, как Никита настиг меня, и в тот момент, когда я стала задвигать дверь, он вставил в проем свою ногу. Не пускает. Я тяжело дышу, вижу, что и он озверел. Ткнула его со всей силы кулаком в грудь — не помогает. Схватила за рубашку, посыпались изящные пуговички с заморской пахучей одежки. Тут я пяткой поддала по его колену и, ничего не добившись, кинулась на постель.

Сердце вырывалось из ушей.

Секунду он постоял молча, потом вышел и закрыл дверь.

Через некоторое время входит Павел Лебешев, оператор.

— Нет! — вскакиваю. — Уезжаю в Москву! С этим козлом я больше не знакома.

К окну подъехала «скорая». Она всегда дежурила у нас на съемке. Пока врачи щупали пульс и готовили укол, я орала на весь вокзал:

— Уйди, Пашка! Не будь подхалимом. Сниматься больше не буду! И его духи больше нюхать не буду.

Пашка садится на противоположное сиденье и говорит:

— Понимаешь, сейчас отличный режим…

— Не буду!

— Солнце садится, объемность нужная!

— Не буду!

— И отменная морда у тебя…

— Не буду! Отстань!

Он встал, попросил сообщить, когда я буду готова продолжить съемку. У меня мелькнула реальная, практическая мысль: «Морда отменная, режим натуры отменный, надо скинуть этот кадр…» И, придерживая ватку на месте укола, я встала как вкопанная в кадр.

Боковым зрением вижу: к камере подходит Никита.

— Значит, так…

— Молчать! — ору я. — Пашке говори, а он — мне! Через переводчика, понятно?!

Подходит Павел.

— Сейчас мы снимем крупный план, где ты зовешь мужа.

— Хорошо, — говорю. — Давайте. Ваня, ты здесь?

— Здесь.

— Паша! Слушаюсь твоих команд.

Никита тихо ему в ухо, а Пашка корректирует: правее, левее, туда посмотри, сюда.

— Приготовились! — кричит Никита.

— Приготовились. Начали, — тихо говорит Павел для меня.

Я им выдала нужный дубль и резко пошла к машине.

— Давай еще один, — попросил Пашка.

— Обойдетесь! Небось на «кодаке» снимаете. Я сегодня Рот Стайгер, даю один дубль!

В гостинице долго стояла под душем, пытаясь решить, что делать. Бросить картину я могла по закону. Но роль бросать жаль…

Вытерлась, застегнула все пуговички халата, слышу деликатный стук в дверь.

— Кто?

— Мы.

Это мои «товарищи по перу» — Всеволод Ларионов и местный, днепропетровец.

— Садитесь, — говорю.

Ставятся пиво, кукуруза вареная и нарезанное сало в газете. Я суечусь с посудой, достаю колбасу, вяленую рыбу, хлеб.

— Негоже позволять мальчишке так унижать тебя перед всем честным народом.

Я молча накрываю на стол, ставлю стулья. Снова стук, но уже не деликатный.

— Да-да, — говорю.

Входит Никита и прямым ходом в спальню. Такое впечатление, что и не выходил из нее никогда.

— Нонночка, — зовет меня. Я не гляжу на него. Он еще раз: — Нонночка…

Обернулась, вижу красное, мокрое, в слезах лицо, тянет ко мне ладони, зовет к себе. Я посмотрела на сидящих, их как корова языком слизала.

Так и стоим — он ни с места и я. «Нонночка», — заплакал.

Ох, негодный, таки добился! Пошла я не торопясь к нему, он обнял меня и смиренно застыл.

Так постояли мы, потом он сказал:

— Пойдем, милая моя. Пойдем ко всем нашим, чтоб они видели, что мы помирились.

Выходим, на Танюшку, его жену, наталкиваемся. Она взволнована.

Хорошо, когда у режиссера жена не актриса. Уютно в экспедиции, чистосердечно поболтать можно, потискать маленьких еще тогда их деток. Танюшка — переводчик и в

прошлом фото-модель. Что я ей? Чем лучше работаю, тем как бы лучше для фильма, а значит, и для ее мужа Никиты.

— Танечка! Посиди у телевизора. Мы скоренько придем, — говорит Никита.

С криками «ура» нас принимали, целовали, угощали, пока Таня не крикнула:

— Никита, тебя Берлин вызывает!

Я люблю его, как когда-то любила свою маму. Нелепо? Но это соответствует действительности. Она была труженица номер один, а Никита стал номер два. Он работает день и ночь. Пишет, подготавливает съемку на завтра до мельчайших подробностей, и это в то время, когда все уже спят. Еще я люблю его хохмы, которые понятны только мне одной, то есть понятны всем людям, когда-то знавшим село. Я уверена вполне: будет царский дворец снимать — он и это сделает лучше всех; посевная сегодняшнего дня будет у него именно посевной сегодняшнего дня…

Это человек хорошего воспитания и блестящих манер. Однако в нужный момент с конюхами он конюх, и они его принимают за своего; на приеме международного класса он запросто сливается со светской знатью и становится лордом. По молодости еще не терпит всякие подковырки и искусно на них отвечает.

Как художник он всеяден. Это я не люблю, но что поделаешь, он таков: сегодня — «Завтрак у предводителя», а завтра — «Родня».

Он находится в той прекрасной и тяжелой поре, когда талант набирает силы стремительно. Его имя вызывает толки, суждения, отрицание, восхищение — все, как бывает при появлении индивидуальности.

Милый мой, дорогой Никита! Я тоже псих и вижу порою больше, чем другие. Как же ты работаешь на площадке, если брать не экстремальные случаи, как съемка на перроне!

Вот готовится съемочная площадка. Никита о чем-то задумался, и я украдкой разглядываю его. Вижу ломаный силуэт фигуры: он замер, держа в руке мегафон, постепенно как-то костенеет, застывает. Кажется, он и не дышит и вместо глаз пустые черные ямины. Он похож на старца мудреца. У Родена ведь это преднамеренная цель художника — вылепить мысль. Вот так и Никита забран и стиснут весь мыслью о чем-то, думает тяжко, глубоко.

— Никита Сергеевич, готово! — кричит Лебешев. — Давайте репетировать.

В здании пустого вокзала голос звучит зычно, как в тоннеле. Никита выходит из своей думы не сразу, а как-то

сомнамбулически вязко, медленно.

— Да? — говорит он. — Ну что ж…

А сам еще где-то там, в облаках. Потом все-таки быстренько вырывается из пут, делая «потягушечки». И всё — он опять с нами. Подзывает к себе и рассказывает, как будет снимать тот или иной эпизод, хотя до него еще целое лето.

Он дьявол, конечно. Ему какими-то таинственными ветрами надувает из любой социальной среды такие тонкости и подробности жизни, что страшно становится.

Он нормально ненормален — он фантазер, художник, он талант. И каким же он снова становится душечкой, когда не работает, а рассказывает что-нибудь или играет в футбол (его любимое занятие).

Актеры, когда-либо с ним работавшие, становятся ему родными людьми. Он сентиментален, привязчив, добр, но и требователен до осточертения. Как ни выкладывайся, он все равно видит в уголочке души запрятанную тобой частицу эмоции.

— Нет! Нет! Так не пойдет — ты не собрана! Ты не готова. Давай снова.

И снова, снова… Летит он, как торпеда, сжигая все на своем пути, правда, и свое здоровье тоже.

Приближалось время восхищения либо разочарования фильмом «Жестокий романс» Эльдара Рязанова: ведь и то и другое может быть. Но вот что хочу добавить о Никите Михалкове. Увидев в «Кинопанораме» всего лишь одну сценку Паратова с Ларисой, я подумала, что если бы я никогда не знала Никиту ни как режиссера, ни как актера, то уже один этот кусок из фильма сказал бы многое о художнике. Многое для признания ненормального, необыкновенного сочетания в нем осознанного рисунка роли с великолепным исполнением.

На премьере «Родни» был бурный банкет. Собралось много интересного народу — и друзей по школе, и актеров, работавших с ним в предыдущих фильмах. Поймать Никиту за лацкан пиджака было невозможно — он был растерзан желающими пообщаться. Я поняла, что этот круг мне не пробить. Мы пили шампанское, веселились и знали, что наш кумир сегодня не наш. Ну ничего: на ярмарке надо мириться с общим гулом, на то она и ярмарка. И вдруг откуда ни возьмись — он, лицо влажное, красное, рука с бокалом.

— Ты не уходи, мы до утра будем своим коллективом…

— Куда я уйду? Ты с ума сошел! Нас так любят и хвалят.

— А что бы ты сейчас хотела? Я загадал ответ.

— Я хотела бы, чтобы на премьере «Родни» ты был зрителем и восхитился бы моей работой.

Он по-грузински шлепнул ладошкой по моей: дескать, понимаем друг друга.

Никита опять нырнул в толпу, потом через какое-то время крикнул нам, нашему столу: «Сладку ягоду брали вместе, горьку ягоду я один!» Ну что? Подойти и разорвать его на части за остроумие и точность определения положения?

Пока шли съемки, мы были вместе, у нас то клеилось, то не клеилось, а в монтаже он «сопел» один, и дело не шло споро, ох как не шло. Сказались те сцены, на которые мы надеялись, любили больше всех других, но чувствовали, что они неугодны для высокой критики. А что мы сделаем? Он мотался один по инстанциям. Но не считайте его бедолагой — шла нормальная «чистка», по тогдашним понятиям, и для зрителя, и для начальства. А как же — так было у всех, и у нас тоже: что мы, рыжие?!

Год пролежала картина без выпуска на экран. «Вырежи» да «вырежи», то одно, то другое. Он вырезает — это тоже обычная работа, а не исключительный случай. Начальник — не один, и претензия не одна. Выпутался! Вышла картина… «Горьку ягоду я один!»

Мужчина-кинематографист найдет «защиту» от Никиты Михалкова: он отпрянет от него из зависти. А женщины имеют счастье принимать все как есть.

Вот «Жестокий романс». Если б можно было стоп-камерой останавливать крупные планы Никиты, где он смотрит на поющую Ларису — Гузееву, пожухли бы все школы, все наставления по актерскому мастерству. Все мы гордецы и умельцы говорить и играть, играть хорошо, правильно. Но… Вот она, та зона, малодоступная в игре киноактера; вот он, тот миг — выше школы актерской, выше игры…

Это не взгляд. Это совсем не на поющую Ларису направлены глаза — это символ, актерский символ. Ларис было много по миру, и Паратовых тоже, но Никита Михалков нагрузил свою душу за всех Паратовых. Может, я и не права, но меня поразила эта уму непостижимая собранность! Напряжение, обобщение — он нес паратовское самочувствие: взять ее легко… а как она, дурочка, не защищена и как молода, а что же, что же потом?! Никита «видел» результат «на потом».

Наверное, выживут по-настоящему только те таланты, которых превозносит и анализирует противоположный пол.

А что? Это естественно. Искусство — это торжество пола! И наверное, частица восприятия теряется для критика-мужчины, потому что он видит успех, находки, а торжество пола ему неестественно ощущать.

И раз Рязанов остановил внимание на этих крупных планах, то он тоже очумел от таланта Михалкова.

В «Родне» мне предстояло танцевать в ресторане. Танец, на первый взгляд, незамысловатый. Но, как обычно, он на съемках длинный, а потом режиссерские ножницы его урежут, скомпонуют в пользу зрительского впечатления, то есть извлекут стремительность, как и в любом эпизоде.

Танец или песню мы учим со специалистами заранее, еще до съемок. И вот — танец… Скажем прямо, не моя это стихия, хотя танцевать приходилось в картинах немало. В группу пришел балетмейстер Абрамов с милой женщиной-ассистентом. Оба они бывшие актеры балета Большого театра. Внутри что-то скукоживается, как в зубном кабинете: «Ох ты боже мой, опять танец…» Короткая процедура знакомства, какие-то льстивые пояснения с моей стороны о непричастности к умению танцевать. Никто этого, конечно, не слышит. Никита дает свое добро, и мы идем в специальный зальчик.

Обычно танец разучивается около месяца ежедневной работы. Хожу уже который день с сердечной недостаточностью, посещаю врача. Но признаться в этом — равносильно потере своего женского достоинства. Серьезного с сердцем ничего нет, а что-то не очень… Ну, смотрю, как показывают первое коленце. Как хорошо! Как ладно! Да еще под музыку. Пробую вникнуть, повторить и увлекаюсь на полную катушку. Стала красная, потная, легкая. Ассистент поправляет ошибки, опять показывает, пританцовывая. А я разошлась и два часа скакала, как молодая козочка. Кончились занятия, балетмейстеры ушли, а я — в душ, переоделась и… стоп! Плоховато… Села. Не помогает. Но не дай бог, если кто узнает, что на танце не выдержала. Значит, старая? Немощная?! Нет, никогда! Нив коем случае!

Не торопясь, но с поднятой головой перехожу улицу и иду к подруге, живущей возле «Мосфильма». Падаю на тахту: «Скорее капли Вотчала!» Она быстренько мажет мне язык этими шипучими каплями, грелку — к ногам, и через полчаса я уже поднимаюсь — отпустило. Попили чаю, обсудили, она посоветовала не надрываться — впереди месяц.

Но завтра опять идти на танец. Всю ночь не спала, мысленно готовила речь о том, что я нетренированная, что танец — это всегда для меня мука; давайте, мол, не торопиться… Взяла подсобную одежду для репетиции и угрюмо поехала на «Мосфильм». Чувствовала себя вроде бы хорошо, но ощущение страха уже не могла никуда деть.

Сначала захожу в группу. Ассистент режиссера, ответив на

приветствие, говорит:

— Нонночка Викторовна, к сожалению, сегодня вы приехали напрасно.

— Как?! — притворяюсь я, вроде бы даже возмутившись.

— Дело в том, что сейчас с открытым переломом ноги Абрамов доставлен в больницу — автомобильная катастрофа.

— Батюшки! Как жалко-то его. А мы-то теперь как?

— Режиссер не хочет другого балетмейстера. Будем ждать, когда выйдет из больницы. Значит, поучите потом, в съемочный период. Танец будем снимать последним.

Я как на крыльях опять к подруге, но уже не за каплями, а с вестью об отмене танца на целых три месяца! Да, трагическое и смешное всегда рядом: ведь я только недавно провалялась полтора месяца в кардиологическом отделении, и наверно, мое сердце еще не было готово к гопаку, и несчастный случай с балетмейстером для меня обернулся спасением.

Магический круг

У нас в кино тоже есть этюды Сурикова, крупицы истинного искусства, равного любому другому виду искусства. Нам неподвластно каждый раз быть такими, подлинными, но мы ведь хорошо знаем, какое оно — настоящее искусство кино. Вот доказательства.

Не могу удержаться от того, чтобы не разобрать одну сцену. Прошу читателя последовать за мной не торопясь.

Не такая я особа простая и молодая, чтобы не знать, что такое для нас — хорошо играть. Но есть такая недоступная для актера зона, куда он очень редко попадает, будь то хрип его сорвавшегося голоса или какая-то целая фраза — такая, знаете, ненормальная, потревожившая всего его надолго. В ту зону, повторяю, попасть трудно.

У биологов есть одна гипотеза, которая, думается, подходит и к нашей профессии. Бывает такое явление, когда подбирается компания в особенном сочетании разных индивидуумов и образуется как бы магическое кольцо, замок. То есть все, кто здесь находится, сделают то, что сделает один из первых. Так ли это точно, не знаю, но подобная символика помогает мне объяснить один эпизод в фильме «Тихий Дон» — эпизод смерти Натальи. Все начинается с появления рафаэлевскою рисунка Мадонны с белым лицом и в черной одежде. Длинные руки, черные рукава распластались по белой стене хаты. Камера это все фиксирует, но все жаднее идет за лицом Зинаиды Кириенко с кривой улыбкой избавления. Капельки прошедшего дождя,

именно капли, но не дождь, спутники актрисы.

— Ниче, ниче, — хрипло, с улыбкой говорит она.

Входит в хату… Белое лицо с неуловимой улыбкой клонится на чисто вымытые доски стола. И вот здесь вспоминается тот самый магический круг: наступил момент, когда режиссер, актриса, оператор, художник, звукооператор замкнулись в это кольцо. Актриса находилась в прекрасном дурмане Натальи, режиссер не дыша подправлял, «вел» ее игру, оператор выжимал максимум из происходящего — беззвучно, пальцами, давая команду осветителям, боясь разорвать этот круг. Все срослись и вошли в зону волшебства.

Эпизод смерти Натальи в «Тихом Доне» — для меня высший из всех виденных мною эпизодов в кино.

У актеров-мужчин такой миг озарения для меня — это рыдания Чайковского в момент похорон Рубинштейна. Смоктуновский стоял, отвернувшись, вполоборота, от камеры. И чем ниже он опускал голову, стараясь скрыть свои рыдания, тем горше, горше становились его слезы! Смоктуновский увидел что-то дальше сценария и вообще реальной, рабочей цели съемки. Уверяю вас: как раз в тот миг актер меньше всего был озадачен целью правильно сыграть потерю друга. Нет, он был не здесь, он был в плену наивысшего нервного возбуждения — он плакал по Рубинштейну!

Но как же трудно даются эти мгновения! В кино они так же редки и так же дорого ценятся, как и в любом виде искусства. Если в роли есть два-три таких места, считай, что она в кармане.

У меня тоже, думаю, есть эпизоды — два или три, которыми могу гордиться. Это сцена в тюрьме из «Молодой гвардии». Я тогда забыла о съемке, и я не играла — это было высшее проявление подлинной романтической натуры Ульяны Громовой.

В фильме «Возврата нет» — это сцена с А. Баталовым, которую тоже обычной съемкой не назовешь. То был какой-то психопатический выпад. То есть я произносила слова автора Анатолия Калинина, но вера в них довела меня до состояния аффекта. Ничего тут особенного вроде бы нет, но какое это счастье для актера! Падают же спортсмены без чувств? Падают!

Вспоминаю и «Простую историю», сцену в ночном райкоме с Ульяновым. Ах, что это за партнер! Он не допускает к себе близко, но дает понять, что мы спаяны одним дыханием сыграть сцену, и уже этим своим желанием заграбастать всю силищу в общее дело мобилизует меня. В той сцене я победила его. Он был сокрушен, потерян, на миг влюблен в меня, как в Сашу Потапову. Был, был! Это я точно почувствовала. Миша ослаб, сдался и из секретаря райкома превратился в обыкновенного мужчину,

желающего продлить уединение. Зато в сцене рыбалки игру уже повел он. Он всю любовь в моем исполнении всячески отторгал, он выпустил из себя что-то такое, как муравей кислоту, — и пошел хаос. Он это или секретарь райкома? Меня даже шатнуло от такой мужской силы. А в этом и заключалась суть эпизода.

Но когда гаснет свет и заканчивается съемка, узел напряженного деяния коллектива мгновенно распадается. Я и не видела, на какой машине Миша уехал в гостиницу, да и он не ведал, куда я отправилась. На этом обычном свете мы стали не нужны друг другу, как и раньше, до съемки.

Немногие актеры припомнят на своем пути священную близость партнеров в кадре: это не удается почти никогда, хотя на экране все пристойно, профессионально — только и всего!

Дом

В 1984 году мы с сыном переехали в высотку. Выхожу на закате солнца на балкон, кажется, самого фешенебельного дома в Советском Союзе — высотного на Котельнической набережной. Здесь жили и живут разные великие, знаменитые и совсем простые люди, рабочие. А когда-то начинающей актрисой я бродяжничала по Москве с грудным ребенком, не зная, куда притулиться. Комната в бараке, которую я уже описала, была великим подарком и органичным местонахождением молодой особы, молодого специалиста. А эти высотные дома, они тогда загромождали мои понятия, холодили недоступностью и нереальностью.

Да и как там жить? Вот в бараке ясно, а там… И кого туда посылали жить? Слыхом не слыхивали мы. Однако натуральные люди селились, жили… Лучко Клара Степановна с Лукьяновым, а кто еще — не знали.

И вот жизнь прошла… Немедленно нужно было съезжаться с сыном. Как нас легко приняли в этот дом! И вещи наши бьющиеся, и цветы перевезли бывшие хозяева, с которыми мы менялись. А мы никак не могли понять, почему в этот дом-мечту так легко поменяться?.. Но, в общем-то, нам это было безразлично.

Я не отношусь к тем матерям, которые теряют разум от любви к внуку. Нет. Я люблю сына. Внук милый, частица природы, потешный, но это не сын. И тут с Володей случилась беда: он разошелся с женой. Расходились тяжело, не за один заход. Словом, намучился. Один. Трудно сходящийся с людьми, любящий книги, с юмором, с доброй душой. Ему нужна была мать. И я, конечно, пошла на съезд со взрослым сыном. Ну что ж,

может быть, другая мать поступила бы мудрее, а я по-нашему.

Навалились братья, сестры и вперемешку со слезами стали упаковывать вещи. Переехали. Ночь на дворе. Решили все ночевать в высотке. Взяли бутылку, чтоб отметить, и заснули как убитые. А утром, когда все разъехались, я рассмотрела старость рам, стен, нерадивость хозяев — гибкий шланг в ванной был перевязан чулками и изоляцией. И так всё. Нужен ремонт, думаю, тысячи на три. Ну ничего: «партизанить» не впервые, отложу, заработаю, по одной комнате в год отремонтируем.

Главное — Володя со мной. Для него отдельная квартира оказалась почти гибельной. С его простодушием, добротой и безотказностью перед «захожими друзьями» жить тяжело. Ну, об этом надо целый том написать и умереть от напряжения. Пока не буду. Мы вместе — значит, сразу наполовину будет меньше «услуг» тех мальчиков, которым уже под сорок.

Вы попали в высотку, вы отремонтируете по одной комнате в год. Почему так медленно? Потому что даже рамы на окнах надо менять… Оказывается, умные люди были, что побежали из этого дома: предстоял капитальный ремонт без выезда. Что это такое, я еще не знаю, и сколько лет мы будем перешагивать через бочки с известью и новые батареи, тоже неизвестно. Ремонт, понимаю, предстоит каторжный, оглушительный, и до нашего седьмого подъезда дойдут, видно, нескоро.

Стою на балконе, внизу розовая от заката Москва-река. Вот и я теперь в аристократы попала. Форточку привязала изоляционкой; оказывается, хороший материал. Но в каждом сложном положении теплится заря выхода. А как другие люди? Так и мы. Подождем, поперешагиваем, лишь бы жизнь шла своим чередом. Будут же люди как-то терпеть, готовить какое-то время на электроплитке, так и мы. Но зато — «будем живы — не помрем» — квартиры потом будут отменные. Доживем до того момента, завладеем наконец высоткой.

Кажется, это из области уже когда-то тобою прожитой жизни: я так люблю старые дома. И не просто старые, а комфортабельные, с окнами, на которые невозможно повесить занавески: так высоки они.

Я дома, в старом доме. Мне благостно. Я, как живого человека, от души забинтовала форточку изоляционкой и под нею же сплю. Какое счастье! Старая моя, уже полюбившаяся квартира, что ты еще мне сулишь?..

Часть IV
Аскольдова могила

Ноктюрн

Я родилась грузчиком и до поры до времени была как мальчишка: широкоплечая, мускулистая, порывистая.

Маму любила и жалела до слез; провинюсь, бывало, накажет, не говорит со мной — больно было, стерпеть невозможно. По бедности взрослые трудились до упаду и неминуемо вынуждены были звать детей на помощь. Безоговорочно я подхватывала мамины — мамочкины поручения, но постоянным было желание выгадать минутку, чтоб прыгнуть в речку, поскакать по поляне и сделать вид, что не слышала ее зова.

Я делила трудности со взрослыми. И не я одна — все мои сверстники. От работы уйти было некуда, как от своего имени и места рождения. Таскала и помогала…

А мама ругалась. Возле мамы чего не сделаешь! А ей надо было больше заботиться о маленьких.

«Ты, кобыла здоровая, зачем надкусила пряник?» — «Это не я…» — «Брешешь — зубы твои отпечатались».

Крыть нечем.

Однажды вдруг рассмотрела я свою руку и увидела, что некрасивая она, уже натруженная.

Школу я воспринимала как курорт: училась неважно, так как главным моим стремлением было по звонку сигануть из окна, кричать, чудить, прогулять урок…

По русскому и литературе тем не менее сыпались хорошие отметки. Это было для меня легко — сочинение написать, словно прыгнуть в палисадник.

Такие «математики», как я, как-то раз собрались и написали письмо Сталину, чтобы отменил этот предмет. А пока Ольга Пастухова из года в год выручала. И как у нее все быстро решалось!..

Однако и я в передовых была, когда надо было полы мыть или парты таскать. Только и слышишь: «Мордюковочка!» Бригаду в момент организуешь — и работа закипела.

Перетаскав парты, босиком мчусь по пустому коридору, аж в ушах свистит.

От меня постоянно ждали хулиганских выходок, хотели, чтобы отмочила что-нибудь. Один раз чуть не утопилась в Азовском море. В уборной кто-то написал слово на букву «х».

Вызвали меня в учительскую и стали пытать. Сколько слез пролила, молила поверить, что это не я. Не выдержала и побежала к маме.

— Мама! Я в море утоплюсь!

Мама заплакала. Пошла в школу. Завуч «подбодрила»:

— Мы верим, что не она писала, но на нее подумать вполне можно.

— Собирай книжки, и пойдем отсюда! — тихо приказала мама.

Стала учиться я в другой школе, надеялась начать новую жизнь. Посадили меня за первую парту. Только учительница повернулась к доске, как я с силой кинула галошу назад. Она полетела, ударилась с хлопком о заднюю стену. Я, как памятник, не шелохнусь. Общий смех. Вот тебе и новая жизнь!

Когда много лет спустя затеяли обо мне фильм снимать, классная руководительница сказала: отзывчивая и компанейская, но школу не любила — и всё…

Кончилась война. В товарном вагоне ехать в Москву, да еще без билета — хорошо! Делились хлебом, песни пели. Колеса крутятся — по назначению едем. Чего еще надо?

В институте уцепилась мертвой хваткой за специальные предметы. Хвалили, а потом раз — и собрание о моем исключении из института. Общеобразовательные предметы путались у меня в ногах, мне не хотелось даже входить в ту аудиторию, где чернявая тетка показывала слайды с камнями, поросшими мохом и травой, — это предмет «история искусства». Шесть двоек нахватала, хлебной карточки лишилась и чуть не сдохла с голоду. Принудили пересдать, выдали карточку, и жизнь потекла дальше.

Мы считали, что и война нашим мечтам не помеха, а она и после того, как кончилась, прихватила сильно. «Владимир Ильич с кусочком сухаря пил чай, а пост свой не оставил!» — писала мама, когда я позволила пожаловаться в письме на невыносимую жизнь.

По сценическому движению «норму перевыполняла», и однажды преподаватель Иван Иванович сказал: «Переходи к нам в физкультурный, из тебя получится хорошая спортсменка». Куда там! Моя душа уже принадлежала Катюше Масловой, Катерине в «Грозе», Берте Кузьминичне из спектакля Михаила Светлова «Двадцать лет спустя»…

В общежитии — минус три, есть хотелось беспрестанно. А шуры-муры все равно крутили. Я рано вышла замуж. Дали нам комнату — шесть квадратных метров в институтском общежитии в Лосинке. Стал расти у меня живот, муж недоволен, на курсе

смятение. Начали подсчитывать: разрожусь ли к защите диплома? Женька Ташков принес книгу, где сказано: месяцы берутся во внимание не обычные, а «лунные».

Но роль в пьесе Гейерманса «Гибель надежды» репетирую и езжу в Лосинку в общежитие. Раньше автобус не ходил, и сорок минут надо было топать до электрички. Муж оставался в институте, играл в шахматы. Иногда и ночевал там.

Родился ребенок точь-в-точь как Женька посчитал: еще полтора месяца оставалось до защиты диплома.

Сыночек в медпункте лежал. Нянчили кто придется. Пеленок за весь день накапливалось много. Вечером темень непроглядная, плетусь, держу дорогого и любимого мальчика и узел с пеленками. Войду в наш чуланчик, истоплю печку, постираю пеленочки. Тепло станет, ребенок затукает, завизжит. Толстенький. Неизвестно, откуда молоко у меня набиралось. Правда, хлеб и сахар с чаем тогда уже были доступны.

Попали мы с сыночком как-то в больницу. У него диспепсия, то есть летний понос. Меня с ним тоже положили как кормящую мать. Дети умирали, потому что единственный способ спасения — это кормить ребенка грудным молоком. А где его взять? Мамы голодные и худые. А я, поди ж ты, молочной оказалась. Вызвала меня главврач и беседу провела, чтоб я излишки молока отцеживала или кормила чужого ребенка. Ну, я стала сцеживать. Больше полстакана набиралось после кормления.

И однажды парень приходит незнакомый и преподносит мне отрез на платье. Я не взяла. А банку меда взяла. Тихонов пару раз приходил, и, помню, выставлю в окошко повыше личико сына: смотри, мол, какой букетик. А сынок в поддержку мамы улыбнется. Отец таял… Думала, после больницы станет хвалить меня, больше любить… Но нет. Сухарь сухарем, молчун молчуном.

Есть такие слова, которые не забываются: «Родила на свою, а не на мою голову — поняла?» Потом, правда, полюбил сыночка. Играл с ним. Сын смеялся громко и радостно, тянул ручки к нему. Отец носил его по комнате, и на лице его появлялась сдержанная улыбка…

Стали актеры потихонечку ездить от общества «Знание» с творческими вечерами. Ну и я тоже. Сестре велела вести подробный дневник о каждом мгновении жизни сына…

Потом дали нам комнату в коммуналке. Внимания ко мне у мужа от этого не прибавилось. Но куда денешься, раньше ведь считали: ребенок — это связь навек.

Как-то разболелась я, крутилась на тахте, стонала в подушку. Муж играл в шахматы с моей подругой. Я старалась давить в себе

боль, видя его назидательную спину. Он никогда не верил, что у меня что-то болит; смотрел всегда с иронией: дескать, тебя и дрыном не добьешь.

— А что, если стонать, легче становится? — не повернув ко мне лица, спросил он.

— Зойка! — закричала я, не в силах терпеть. — Скорей «скорую»! Вызывай «скорую»!

Подруга кинулась к телефону, а муж смотрел на меня с раздражением… Я поняла, что так и должно быть, — не любил он меня никогда. И все же, как в палату поместили, думала, что он тут где-то, в больнице, переживает, бедный. Куда там! Не было его. Один раз только и пришел, но я не обижалась — привыкла…

К выписке из больницы передала мужу листок — список, что надо принести из одежды: ведь увезли меня на «скорой» в одной ночной рубашке. Больные всегда глазеют: кто приехал забирать, в чем одета «на гражданке». Приехал он за мной на такси, но одежду не привез. Снял с себя болоньевый плащ и надел на меня. Зато алюминиевый двухлитровый бидон не забыл, чтоб на обратном пути колхозного молока купить на базаре — он без него жить не мог. Сам остался сидеть в такси, а мне протянул бидон — как само собой разумеющееся. Утренняя прохлада прошлась по моему животу и голым ногам. К вечеру у меня поднялась температура — 39,5. Я испугалась, позвонила в больницу. Я всех там знала и полюбила. Мы там дружили — и с врачами, и с нянечками, и с медсестрами.

Не скоро взяли трубку.

— Саша, ты? Позови дежурного врача. Кто сегодня?

— Дорофеева. Здравствуй, ты чего?..

— Ниночка Иосифовна! — подавилась я слезами. — У меня температура высокая!

— Сейчас Галка подъедет. Не плачь…

Завидую тем женщинам, которые умеют напугать так, что все близкие сокрушаются из-за любого твоего недомогания, даже самого незначительного. Я же проморгалась, выпрямилась — и вперед!

Никогда ни от кого не ждала помощи ни в чем. Всегда досадовала на любопытство людей. Они не понимали, изумлялись, как это я живу без мужика и без «мерседеса». Никогда не придавала значения отсутствию чьей-нибудь заботы обо мне…

Тихонов за время нашей совместной жизни ни разу не ездил на подработки — считал, что это принижает духовное начало актера. Но потом для другой женщины и для другой семьи стал-таки ездить, и очень ретиво.

Помню, поехала я в Прибалтику с творческими вечерами от общества «Знание». Нарва. Шесть утра. Выхожу на перрон — никто мной не интересуется. Значит, не встречают. Выплывает макушка оранжевого солнышка — наладилось выглянуть из-за горизонта: как мы тут и можно ли к нам?.. Прохладно, пар идет изо рта, но стелющийся туман предвещает теплый и ясный день. Ничего, пойду и найду местное общество «Знание»… Господи! Свят, свят! — со свистом и скрежетом тормозит легковушка с широкой полосой на капоте. Из машины выходит здоровенный бугай и смеется. Красивый такой, синяя рубашка, синие джинсы и плетеный ремень на тонкой талии. Лет ему не больше тридцати. Приветливый, но улыбается как-то не по-нашему — половину приветливости оставляет у себя.

— Испугались? — спросил, целуя мне руку.

— Да нет. Нашла бы как-нибудь ваше общество «Знание».

— Но оно в Таллине… Впереди хотите сесть или сзади? — Он подцепил мои вещи — и в багажник.

Тембр голоса не дается мужику просто так. Тембр характеризует мужское начало. А если еще и говорит с легким акцентом — просто праздник души.

Я так думаю: очень мужественны американские пастухи — ковбои и северные богатыри — скандинавы, прибалты, этакие супермены. Недаром же, когда в фильме нужен образ мужчины «мужчинистого», то приглашают актера оттуда, из Прибалтики.

— Поехали, красавица? — заигрывая, обратился он ко мне.

— Поехали…

Бывают мужчины настолько обаятельные, обходительные, что женщина воспринимает знаки внимания с их стороны как оказанные исключительно ей одной. Я уже знала таких и любезность встречающего отнесла на счет хорошего воспитания.

С места в карьер — скорость сразу сто. Тут дороги как в Германии — гладкие, просторные, с яблонями по сторонам. Яблони обсыпаны яблоками. Они вроде бы ничьи, но думаю, и здесь, как в Германии, закон: «Яблоки могут рвать без разрешения только солдаты и беременные женщины».

Когда в лифте застревают два незнакомых человека, между ними возникает контакт, одинаковые мысли: «Где застряли?», «Почему погас свет?», «Не вижу вас»… Появляется принудительное общение — оба объединены одним и тем же происшествием. Стук, возгласы о помощи, страх и в конце концов доброжелательный финал. Если потерпевшие мужчина и женщина примерно одного возраста, на них печать нового знакомства. Случилась «лифтовая», «аварийная» близость…

В машине тоже принудительное уединение.

— Не холодно, красавица? — И прибавил скорость.

Стрелка спидометра задрожала между ста тридцатью и ста сорока.

— Ой, не надо, не надо! — взмолилась я.

Упрямая широкая спина не отреагировала. Я положила голову на спинку его сиденья. Сердце рвалось из ушей, душила обида. Слышу — тормозит. Я вышла наружу и направилась в обратную сторону, чтоб не показать слез. Он подошел сзади, положил руки мне на плечи. Я молча вернулась к машине. Усевшись на сиденье, в сердцах хлопнула дверцей и едва не отрубила мизинец. Заойкала, заплакала, замахала окровавленной рукой и дала волю слезам. Сквозь слезы вижу бинт, йод и его необычайной красоты кисти рук. Забинтовал мой мизинец.

— Перелома нет.

— Ой! Жжет!

— Ничего. Скоро пройдет.

Дал выпить валерьянки, чмокнул в щеку и сел за руль. Постояли немного, и машина поплыла на скорости семьдесят-восемьдесят километров. Долго ехали молча. Потом он откупорил минералку и протянул мне. С удовольствием выпила полбутылки. Остальное вернула. Видать, валерьянка подействовала — я подобрела: я обычно быстро перехожу от слез к веселью и наоборот.

— Успокоились?

Я взглянула на его улыбающееся лицо, а «досматривала», глядя вперед, на дорогу.

— Что у вас за полоска на капоте?

— Участник ралли… Это спортивные соревнования на автомобилях.

— Представляю себе…

Смотрю, останавливается.

— Выходи, красавица, обедать будем.

В дремучем лесу стоит маленькая закусочная — всего четыре столика. Брынза, миноги, зелень и вино; потом взбитые сливки и кофе. Всего понемногу и очень вкусно. Почему он перешел на «ты»?

— Садись со мной… — ласково говорит он.

Я, как под гипнозом, повинуюсь и сажусь. Теперь уже вижу подробнее синюю парусиновую рубашку только что из-под утюга. Вижу кулак, регулирующий скорость, и слышу запах не то хорошего мыла, не то еще чего-то… Хоть и рядом едем, но я уже завоевала право быть спокойной и независимой. Подумаешь — красавец! Что ж теперь, не жить на свете, что ли?.. Ничего — прорвемся.

Опять тормозит возле какого-то теремка. Там я увидела бусы, кофейные чашечки, косынки с эстонской эмблемой. Он купил косынку, и мы пошли к машине.

— Надень, — попросил, включая газ.

Я накинула косынку на голову, концы подвязала под подбородком. Так идет мне. Взглянул оценивающе, провел пальцем по щеке, убирая прядь волос, и нажал на скорость.

— Это по протоколу?

Не обратил внимания, а на спидометр показал взглядом.

— Семьдесят — видишь?

— Вижу…

Вот и пионерский лагерь. Сегодня праздничный костер. Маршрут моих выступлений начинался с хуторов, районов и заканчивался Таллином. Визг детей, букеты полевых цветов, приветствия на русском и эстонском языках. Меня облепили дети, цитируют фразы из фильмов. А моего «водителя» схватили в объятия хорошенькие пионервожатые. Хлопали его по плечам, тараторили. Он возвышался над этой группкой довольный, но со всеми одинаково любезный, значит — ничей.

В лесу — раковина для выступлений артистов, лекторов и кого надо. Все подтянулись к сцене. Смотрю — в белых халатах нянечки, поварихи, официантки. В это мгновение мы с ним увидели друг друга. Мне показалось — невидимая нить между нами натянулась… А может быть, я ошиблась.

Мне от мамы достался талант рассказчицы — кого хочешь увлеку выступлением, любую аудиторию. Распалилась, вдохновилась. Аплодисментов, смеха от всей души и понимания долго ждать не пришлось. «Синяя рубашка» расположился «на галерке»: сел на землю, сложил ноги по-турецки и слушал меня с любопытством, изумлением и настороженностью, смотрел, как смотрят на циркачку, идущую по проволоке. Потом посыпались вопросы. И тут я не ударила лицом в грязь. Девушки-пионервожатые кинулись обнимать меня, когда я спрыгнула со сцены на траву. Загалдели, довольные. Зацепила-таки… И сама никак не отдышусь, и они заряжены моим нервом… Дальше по плану был костер, но еще не село солнце, и мы направились ужинать.

«Синяя рубашка» сел на другом конце стола, но я его видела боковым зрением. Взяла гитару и вдохновенно спела «Сронила колечко». Попросили еще, но я чувство меры имела всегда — передала гитару другим.

— Ионас! Ионас! — зааплодировали девушки.

Он руками изобразил крест, это значит — отбой, петь не будет. Просьбы усилились. Но он поднялся и ушел. Как только

его могучая фигура скрылась из виду, заговорили по-русски:

— Нонна, что это такое?! Оставайтесь ночевать. Всегда лекторы ночуют у нас…

— Мне все равно, девочки, решайте.

— Тебе на шефский, это в совхозе, недалеко от его родителей… Но ехать три часа. Утром бы и поехали…

— Ну что ж, раз Ионас решил, поедем сегодня, — без сожаления ответила я.

Мы сели в машину и поехали.

— Значит, вас Ионасом зовут?

Он улыбнулся в ответ.

— У меня есть друг, оператор Ионас Грицус, он снимал на «Ленфильме» «Чужую родню» с моим участием. Литовец.

— Мой папа тоже литовец, а мама — эстонка. Я видел этот фильм в Доме кино в Ленинграде.

— Он потом снял «Гамлета» и получил Ленинскую премию, — добавила я.

— Да, я знаю. Я с ним знаком. И с тобой тоже…

— Как?

— Ты же была на премьере тогда… Мне та девушка понравилась, которую ты играла. А когда вы все потом вышли на сцену, я влюбился в тебя… Все актрисы помнят о своих глазках и бедрах, сначала преподносят эти достоинства, а потом уж играют. А ты не заботилась о своей внешности и не подозревала, как была хороша!

В лесочке останавливает машину, жестом приглашает выйти.

— Погуляй немного, яблок нарви.

— А можно?

— Конечно, можно. Я кое-что приготовлю для дальней дороги.

Я пошла к яблоням. Давненько это было, наверное, три или четыре года прошло, как были мы с фильмом в Ленинграде. А он помнит…

Быстро опрокинулись сумерки. Темнота закрыла лес и дорогу. Яблок нарвала, а идти к машине не решилась. Не зовет — значит, подожду. Блаженство… Хорошо пахнет, и попутчик прекрасен. Слышу сигнал, поднимаюсь с пенечка и не спеша иду.

Господи! Я обмерла. Спинка сиденья опущена назад, получилась кровать… Клетчатый комплект постельного белья, красный плед с длинным ворсом.

— Прошу!

— Я еще не хочу спать. Я еще бы посидела.

— Мало ли что «ты бы…». Располагайся! Сейчас поедем, дорогая…

— Ой, боже!.. Какой грозный! Ноги у меня все в пыли.

— Сударыня, я полью тебе из термоса.

Большой-пребольшой термос поставил на траву, дал кусок мыла.

— Пойдем к пенечку.

Льет из термоса на мои ноги. Вода теплая. Стараюсь, мою, угождаю… Ионас бросил на пенек сиреневое махровое полотенце, я тщательно вытерла ноги и полотенце положила на пенек.

Улеглась и ощутила, что под простыней нежный пухлый матрац. Какое горькое наслаждение испытала я, когда красавец наклонился, чтобы подоткнуть плед мне под ноги. Так же деловито отошел, помыл яблоки и поставил их возле меня в соломенной шляпе.

— Поехали, красавица?

«Самое мертвое слово — красавица», — подумала я.

— Поехали. Я еще не хочу спать.

— Не спи. Поговорим.

Я не знала, как лучше лечь: на спине не люблю, отвернуться от него — вроде бы невежливо… Легла на левый бок и, чуть усилив голос, спросила:

— Ты работаешь в обществе «Знание»?

— Нет. Я окончил Институт культуры в Москве и преподаю живопись в художественном училище.

— Значит, ты художник.

— Я тебя познакомлю с настоящим художником. Он выставляется. Мой близкий друг.

— Художник? Только чтоб не зарисовал…

Впервые он захохотал в голос.

— Если не захочешь, никто тебя рисовать не будет, — давясь от смеха, ответил он. — Чудачка! Ему позировать — это большая честь.

— Ой, ой, ой! Не надо! Я это прошла… Со мной уже было такое. Женька Расторгуев — сейчас известный художник. Привязался, проходу не давал — для защиты диплома просил меня позировать. И жена его Тамара просила. Я согласилась. Вид у него был оригинальный: рваный деревенский полушубок, подвязанный веревкой, и валенки в заплатках. Живописно, в общем. Из деревни приехал, окончил Суриковское. И все в полушубке и валенках. Тамара тоже художник, мультипликатор. Она-то и уговорила. Какая это мука для непоседливого человека! Многое из его баек об их профессии узнала. И про лессировку и грунт, и биографии всяких художников. А кстати, и про вашего одного упоминал.

— Про кого?

— Когда он о жанрах стал говорить. Графика, например. Красаускас — знаешь?

— Еще бы!

— Говорил: прибалты — это сказка. Обнаженные мускулистые торсы крупных мужчин. Топоры в руках. Ветры, навек построенные хутора… Могучие и прочные люди и устои их непоколебимые.

— Молодец твой Женька Расторгуев!

— Несколько месяцев преследовал. Я все же не выдержала. Хватит, думаю. Убежала. У меня этот портрет дома висит.

— Хорошо получился?

— По-моему, темновато… А Женька потом объездил много стран и в Италии получил приз за картину. Может, потому, что на медной табличке было выгравировано: «Лауреат Сталинской прэмии». Вместо буквы «е» выгравировали «э». Кто ни посмотрит, спрашивает: а почему «прэмии»?

— Лаурэат Сталинской прэмии, — без интонации сказал Ионас.

— Там еще ошибка есть. Руки не мои, а Тамаркины, и ногти, и пальцы… Вообще жены художников иногда суетятся возле меня. Жена Пименова недавно подстерегла…

— Зачем?

— Чтоб я согласилась позировать ее мужу.

— Отказалась?

— Конечно. Я ж говорю: Женька навсегда отбил охоту. Сколько можно терпеть! Ему-то хорошо — сиди себе рисуй!

Ионас склонил голову к рулю, посигналил в пустоту и рассмеялся от души. Я замолкла: может, хватит тарахтеть?

Долгонько ехали молча. Уж и не смотрю на спидометр — машина, кажется, летит, не касаясь земли. Ионас время от времени подается вперед, руки где-то внизу, будто руль без управления. Любоваться можно и природой, и человеком. Я радовалась, что еще целых пять дней быть с Ионасом «взаперти».

Наконец приехали. Залаяли собаки, подбежали к машине. Ионас вышел, овчарки ластились к нему. Из калитки показались девочка, мужчина, похожий на Ионаса, очевидно брат, и молодая женщина — наверное, жена брата. Поздоровались, познакомились. Подошли к огромным воротам — кажется, до неба. Братья отвели могучие двери по сторонам, и открылся хутор, освещенный луной. Он был похож на декорацию из сказки.

Мужчины перебросились парой фраз между собой на эстонском языке. Легко вкатили руками машину. «Ветер… Ветер, топоры, сильные спины мужчин, рубивших добротные хутора…» Так говорил Женька Расторгуев.

— Ну что, ветерок не сшибает с ног?

— Нет. Хорошо. Ветер теплый и добрый. Красаускас, одним словом…

— Красаускас и Женька Расторгуев, — положив ладонь мне на плечо, мягко сказал Ионас.

Познакомились с пожилой хозяйкой дома. Она старалась говорить только по-русски. Тут я впервые услышала слово «сауна». Не только услышала, но и сразу очутилась в ней. Я раньше знала, что это баня. Но баня необычная.

Молодая женщина по имени Ада и девочка приветливо объяснили, как действовать, и я села сперва на нижнюю полку. Обдало жарком с запахом укропа и сосны. Само собой как-то замолкли. Первое ощущение — объятие доброй теплоты. Шевелиться не хочется. Хорошо!

— Папа, вы здесь? — спросила девочка.

— Здесь, — послышалось рядом, так близко, что, казалось, дыхание доходило.

Оказывается, мы парились все вместе, перегороженные чугунной решеткой в мелкую клеточку.

…Что за чудо — сауна! Правду говорят — будто заново на свет народился. Я стала легкой, как пушок, и радостной, как в детстве возле мамы. Ада, пошелестев целлофаном, принесла из предбанника махровые халаты и, когда мы вытерлись хорошенько, приказала запахнуть халат и накрутить на голову полотенце; поставила возле моих ног полусапожки на плоской подошве. Вошли в дом. Гостиная с камином. Дрова горят. Вокруг кресла поставлены.

— Садись, — пригласила Ада.

Огонь, поленья трещат… Утонула в пахучем халате и соглашаюсь со всем, что происходит. Братья подкатывают к огню стол, похожий на журнальный. Но большой. Как они оба красивы! Уставили стол разными яствами, и, как завершающий аккорд, мать внесла две бутылки вина, протерла их и поставила в центре стола. Ионас усадил ее в кресло и что-то буркнул по-эстонски. Выпили вина. А хлеб какой! Темный, круглый, кисло-сладкий…

Голова моя стала клониться набок — захотелось спать.

— Теперь по протоколу, как ты говоришь, надо спать, — улыбнулся Ионас.

Старший брат подводит меня к высокому шалашу. Шалаш не простой, из тюля.

— Не верится, — пролепетала я.

— Это все ребята придумывают — руки у них золотые, — пояснила Ада.

— И я с вами, — попросилась девочка.

— Конечно, конечно! — сказал Ионас и принес раскладушку.

Вошли в шалаш, уселись на кровати и — на тебе! Шалаш поехал тихим ходом и остановился в центре пруда.

— Ничего себе! Да еще по рельсам идет!..

— Не бойтесь, — успокоила девочка. — Никакой комар не укусит…

Вскоре я, накрывшись пуховым одеялом, утонула в мягкой постели.

— Платок надень, — подала мне Ада теплую шаль.

«Неужели это я?» — подумалось. Сон улетучился, вспомнила свою житуху в Москве, и стало так жаль себя. Эх, казанская сирота! Что ж я так мотыляюсь, никому не нужная? Хоть и знала, что нет виновных, но душу жгла обида на мужа. Всех нянчить, за всех душой болеть, а стакан чаю еще никто не поднес. Никто и никогда…

Утром проснулась счастливая. Вкусно позавтракали. Хозяева ко мне со всей душою — я это чувствую сразу.

— Когда поедем?

— Скоро. Тут недалеко. Будешь «шефака давить»! — засмеялся Ионас.

Вижу, и девочка, и мать собираются ехать с нами. Выяснилось, что он нас завезет на кладбище, а сам поедет в совхоз, чтоб проверить, все ли готово к моей встрече.

— Подышишь воздухом. Тут хорошо. Я приеду часа через полтора.

Вскоре мы оказались у кладбища. Плиты лежат на земле. Небольшие, почти одинаковые по размеру. Тут все равны. Разве что семейственность соблюдается.

— Ну вот и карашо, вот мы к вам и пришли… Вот мой папа лежит, вот брат, здесь сестра… А вот мое место… Ну и карашо, все карашо. Давайте молочка прохладного попьем, — сказала мать.

Она опустилась на землю. Разлила молоко и приготовила хлеб.

— Все карашо. Садитесь на траву, земля теплая.

Попили молока, посидели, потом она встала и начала убирать могилы. Протерла надгробия влажной тряпкой. Высветлились все фамилии.

— Вот и карашо… все карашо… Вот тут мое место… — Вытерла потное лицо и предложила: — Ноня, наливай молока и себе, и нам. Попьем еще.

Послышался шум машины. Полчаса всего прошло… Ионас идет к нам.

— Я вернулся с полпути. Собирайтесь, поедем вместе.

Душа моя почувствовала: приревновал меня к природе, к чему-то происходящему без него. Это предчувствие любви и есть счастье…

Уселись в машину. Тронулись.

— Ионас! — чуть не крикнула я. — Кони!

— Да. Здесь совхоз коневодческий. Уже подъезжаем. Наши две лошади пасутся тоже здесь. Летом.

— А седла? Седла есть?

— Все есть, — улыбнулся Ионас. — Хочешь покататься?

— Еще как!

— Не упадешь?

— Прошу не оскорблять! Во-первых, на лошадях не катаются, а ездят, во-вторых, у меня диплом об окончании школы верховой езды при ЦСКА.

Давным-давно прошли кинопробы к фильму «Комиссар». Я получила тогда диплом по верховой езде.

— Вот не знал. Сейчас разберемся.

Сердце забилось. У меня манера — немедленно добиваться желаемого. Вижу: Ионаса облепили люди. Ни слова по-русски, но ясно, что планируется что-то. Потом Ионас подходит к какой-то женщине, та удаляется, и через некоторое время всякие ремешки и железки кучей падают к ногам Ионаса. Это все нужно, чтобы запрячь верховую лошадь. Ионас посмотрел на меня, и я подошла. Подвели коня. «Смирный», — сообщил Ионас. Я взяла седло и накинула на круп коня. Мы вместе с дяденькой затянули все подпруги, чересседельник. Я защелкнула уздечку и направилась в сарай. Там меня поджидала молодая женщина с синими брюками. Сапоги великоваты. Это надо обязательно учесть — скорректировать ступни ног в стременах. Поводок, правда, один. А я училась с двумя: второй для мизинцев. Это не беда. Справлюсь. Хорошо, что команды для оседланных лошадей повсюду одинаковые. Подошла к своему незнакомцу со стороны морды, ласково приговаривая, дала хлеба, сахару. Он нежно снял еду губами с моей ладони.

— Подстрахуй, Ионас! Подведем его вон к тому заборчику. Круп высокий.

Послушный конь! Дала ему команду на школьный шаг, и мы прошли круг на глазах у всех. Тут я приказала — в галоп, и он взял. Галоп — самая хорошая позиция и для лошади, и для седока. Мы будто сливаемся и легко летим. Тут я, распалившись, решила покинуть подворье и умчаться за ограду. Простор, ветерок… Галоп — это что надо! Вообще лошади как люди: загораются, жаждут пошалить, прибавить скорость. Молодец я — не осрамилась…

Подскочили к озерцу, я ослабила повод и тихо посвистела, приглашая коня попить. Мне бы за этот свист тренер дал жару — команды разрешены только руками, ногами. Конь замотал головой, не захотел пить. Вижу: за ушами пена выступила. Поехали обратно рысцой. Тут я вспомнила: разве можно предлагать лошадям пить в разгоряченном виде? Сначала лошадь должна успокоиться, отдышаться. Я виновато потрепала коня за холку, как бы извиняясь.

Прибыли к ожидающим нас обычным беговым шагом. Ионас взял коня под уздцы и повел к заборчику. А хозяйка синих брюк повела меня в душ. Стою под струей и хвалю себя: «Молодец! Ай да я! Справилась, не забыла…» Причесалась, сделала сзади «конский хвост», подчепурилась немного и с горячими щеками вышла из сарая.

Необъятный круглый стол накрыт. Он ниже обычного, к нему подставлены небольшие кресла. Запах цветов, еды…

В центре сидит кудрявый симпатичный мужчина. Видно, местный начальник. Меня сажают рядом с ним.

— Первое отделение вы с честью выполнили, — говорит он. — Переходим ко второму.

— С вами легко, — отзываюсь я.

Беседа прошла как никогда. Все у меня вышло пылко, художественно. Рассмешила всех и развлекла. Остались довольны.

— Вот мы в Латвии снимали фильм «Председатель», воспользовались пустующим павильоном, — сказала я. — И вообще по всей Прибалтике наши кинематографисты бывают. Любуются вашей жизнью, культурой. В любое время у вас можно найти место, где перекусить. Везде чисто, вкусно, уютно.

— Когда из Москвы пришел указ об уничтожении личного хозяйства, наши республики наполовину не послушались. Понятно? — спросил мой сосед.

— Понятно.

Бурные аплодисменты, смех… Включили радиолу. Пустились плясать национальный танец, ритмичный, незамысловатый. Ионас ушел куда-то, стало как бы пусто, а вернулся — я не глядя почувствовала его присутствие.

Распрощались дружески, договорились встретиться в Таллине, в погребке. Сердце сжалось — не хотелось думать о конце путешествия… Смешливый парень открыл заднюю дверцу машины. Я села. Он спереди. Парень одет просто, но со вкусом. Усики у него, узкие черные брови. Похож на культуриста. Статный, хотя и роста невеликого. Наверное, занимается спортом.

Наконец Ионас садится за руль, и мы едем по гладкой дороге.

Перед нами уходящее темечко солнца. Оно, будто спокойно за жизнь обитателей, прощается до завтра…

— Отто, только не зарисовывай! — погрозил над головой указательным пальцем Ионас.

— Ни в коем случае! — засмеялся наш спутник.

Это, наверное, тот художник, о котором почтительно рассказывал Ионас. Он был очень кстати: наши «добрососедские» отношения были уже на пределе. Наедине стали помалкивать — говорить не хотелось.

— Значит, вас зовут Отто?

— Та…

— Не жил ли ты на Дону или на Кубани?

— Не только жил, но и родился там. Папа мой, проклятый оккупант, полюбил казачку. Немец, а поди ж ты… Сейчас, как приедем, покажу фотографию — как две капли воды на тебя похожа… Упрямая попалась казачка. Сильно любили друг друга, а мама не посмотрела ни на что: родился мальчик Отто. Отто Карлович. Сам Карл погиб в Берлине. Мама ни на кого и не взглянула. Одна живет. Сохранилось единственное письмо от отца, написанное под диктовку на русском языке. У матери оно.

— Хороший сын получился…

Ионас остановил машину и по-эстонски обратился к Отго. Перевода не требовалось. Отто сел за руль, а Ионас — на заднее сиденье ко мне. Как отъехали, подложил мне руку под голову и наклонил к себе на плечо.

Они стали громко говорить по-эстонски, спросив у меня разрешения. А мне было бы только не шелохнуться, чтоб, не дай бог, не показать, как нравится лежать на плече Ионаса. Так и доехали до какого-то продолговатого одноэтажного дома с темными окнами. Я подняла голову: где мы? Ионас ответил спокойно:

— Я согласился переночевать у него за то, что посмотрим его домашнюю картинную галерею.

— Видала? — хохотнул Отго. — Накорми его, спать уложи да еще картины покажи!

Свет засветился во всех окнах одновременно. Меня усадили в кресло, укрыли пледом и включили телевизор.

Мужчины удалились на кухню. Звякала посуда, накрывали на стол. Что-то зашкворчало, поплыл запах еды. «Только что ели… Пусть — им виднее…»

Прежде чем сесть за стол, прошли по галерее. Что-то я смотрела вежливо, что-то — с интересом.

Остановилась перед небольшой картиной.

— Ведь это Ионас!

— Такой здоровенный, а картинка такая маленькая! — захохотал Отто.

Сели за стол. Ой и вкуснота! Я пила грузинское вино. Разговор зашел о «наивном искусстве».

— Я все вспоминаю одну бабку, — говорю, — выставляется она по всем странам. Вот картина: в ночи лицо женщины между кустами, освещенное одним источником света — сбоку. Но какое лицо и как выписано! Сын у бабки моряк. Так она сделала тарелку, а по ней плывет на плотике морячок, управляя веслом…

— Ну и что?

— А вот что — тарелочку она сделала овальной, наподобие лодки… А один умелец все коней вырезает. В воскресенье надевает лаковые туфли, пиджак и несет их на базар. «Сколько стоит?» — спрашивают. «Нисколько, — отвечает. — Это я к тому, чтоб люди не забывали, какие они, кони…» Я видела этих коней и создателя их в документальном фильме Вячеслава Орехова. Да что говорить! Мне кажется, обучение в творческих вузах надо начинать с так называемого «наивного искусства». Орехов где только не лазит: и по бурьянам, и по крышам, и по деревьям… Ищет, снимает. Драгоценно все, что он фиксирует на пленке. Не называйте это искусство наивным.

Отто стал совсем другим — сосредоточенным, вдумчивым.

— Вы правы, Нонна. Я собираю такие картины и не замечаю, где наивные, а где мастеровые.

Я и не заметила, когда он, держа в руке всякие карандаши, стал шуршать ими по толстой белой бумаге.

Запели с Отто в два голоса казацкую песню. Ионас слушал очень внимательно, не шевелясь, глядя на нас исподлобья.

Я стала рассказывать что-то, чудить. Аж жарко стало — такая расталантливая я была в этот вечер, а вернее — в ночь.

Утро. Ионас подчеркнуто берет меня под руку и ведет к двери ванной.

— Прими душик, Викторовна, а мы пока соберемся.

Боже мой! Зеленая керамическая ванна, сиреневый кафель, по стенам распростерлось какое-то синтетическое растение. А душ брызнул из букета искусственных ромашек. Немного подкрасилась, надела что посимпатичнее и спустилась вниз.

Горячий кофе с крекером. Позавтракав, уселись в машину. Когда тронулись, Ионас поставил на мои колени картину, понравившуюся мне.

…Вот и Дом культуры. Входим в кабинет директора, а Отто поехал домой — взять жену на мою встречу. Смотрю, суетится девушка, похожая на мальчика. Поздоровавшись, она повесила

мое платье, туфли поставила, постелила цветную салфетку на стол и водрузила овальное зеркало.

Узенькая, как рыбка из аквариума, небольшого роста, с зэковской прической.

Ноготками кто-то поскреб по двери. Она высунулась. Это Ионас позвал ее. Они больше не вернулись. «Какой понятливый! Знает, что птичка может быстро надоесть…» — подумала я.

Услышала его голос, объявляющий мое выступление. Пошел фрагмент из фильма «Молодая гвардия». Стою за кулисами в темноте и вижу, как Ионас открыл дверь кабинета и ищет меня возле экрана. «А, вот ты где… Всего хорошего!» — выдохнул он и чмокнул меня в ухо. Чего там говорить — душа полетела к Богу в рай.

Я сразу взяла зал в руки. После третьего фрагмента возликовала. Аплодисменты зала не давали договорить фразу.

Встреча прошла на ура. Букеты не объять, не донести. Ионас забирает их у меня, я иду раскланиваться, вижу бегущих за кулисы, чтоб взять у меня автограф. Призадержалась, дала автографы и с облегчением направилась к директорскому кабинету. Запахло едой, зеленью, розами. Директор — русский, с боевыми колодочками на пиджаке. Появилась немолодая женщина.

— Супруга моя. Садись, Катюша, вот сюда.

Ионас вскочил и вскоре привел Отто с женой.

— Знакомьтесь, это Вера, — сказал Отто. — Моя мама нашла ее на грядочке…

— Правда, правда, — подтвердила его молоденькая жена. — Тетя Наташа приметила меня, когда я в десятый класс пошла. И в поле на работе она гостинцы мне разные давала…

— Это моя мама, — загремел Отто. — Слушаем, рассказывай дальше!

Она продолжала:

— «Вот приедет мой сын в отпуск, сразу возьмем тебя замуж!» Ну и пошло. Отто и раньше приезжал, но я с ним не знакомилась. А тут он приехал на попутке ночью. Тетя Наташа взяла его за руку — и к нам. Разбудила всех, велела, чтоб на стол готовили. Сели мы с Отто рядом, познакомились, понравились друг другу — и наутро в сельсовет, регистрироваться… Вот третий год пошел…

Да, казачки такие!

Вдруг вбегает небезызвестная девушка-мальчик и садится к Ионасу на колени.

— Пленка в машине, банку для цветов водой наполнила, всё о’кей! — отчиталась она.

Ионас был невозмутим, как будто к нему на колени уселся кот. Другие не обратили внимания, а я чуть сознание не потеряла. У них тут своя жизнь. Они помоложе меня, и национальность другая. Она хорошенькая…

Как могла, взяла себя в руки, но чаю выпить не смогла — перехватило горло. Вспомнила давнее-давнее мамино рассуждение: крупные мужики всегда тянутся к маленьким женщинам; вспомнила Сакуна — главного редактора нашей газеты «Горячий ключ» — и его жену. Высокий он был, красивый, а жена — маленькая блондинка. Мама любила все красивое, восхитилась им и выразила свое восхищение статейкой о колхозных достижениях. Послала меня к ним домой, чтоб я отдала заметку Сакуну лично в руки. Я разинула рот. «Откуда он взялся, такой большой и красивый?» — удивилась, хоть мне было всего девять лет.

На что я претендую? У меня семья, а эта маленькая женщина подходит ему как раз по закону природы… Ионас встал и вышел. А на пороге появляется мальчик с букетом цветов, за ним его мама. Я обрадовалась: Маргарита! Популярная эстрадная певица. Один из ее хитов — «Листья желтые над городом кружатся…» Раймонда Паулса. У нас с нею была «закулисная дружба». Мы часто ездили вместе выступать.

— Вот тебе твоя Мордюкова! — воскликнула она.

Все засмеялись.

— Представляете, такой националист, — это Маргарита о своем сыне, — смотрит только американские фильмы и эстонские, но если Мордюкова — бросает все!

Я взяла букет, поцеловала мальчика.

— Здравствуй, Скайдрида, — поприветствовала моя подружка «помощницу» Ионаса, — как живешь?.. Слушай, поедем ко мне, — это мне уже. — Поболтаем, коньячку выпьем.

— Ты как с неба свалилась. Благодарю Бога! — обрадовалась я.

Входит Ионас с разными бумагами.

— О, мадам! Сколько лет, сколько зим!

— Ионас, дорогой, завези нас с Нонной на ночевку к моей маме!

Он поднял бровь: дескать, вмешиваетесь в программу, — но сдержался. Расстегнул пуговицу пиджака и, не дрогнув, застыл: внезапно Скайдрида прыгнула на его спину, обняла за шею. Он сказал сухо: «Осторожнее — пиджак помнешь». И вышел, неся на спине свое сокровище.

— У нее латышское имя? — спросила я у Маргариты. А впрочем, какая разница?

— Тут, Нонночка, как и у вас, неразбериха: и женятся, и работают, и дружат скопом латыши, русские, эстонцы.

Вернулась Скайдрида. Покосившись на выпивку, предложила:

— Давайте выпьем. За тебя, Нонна, ты женщина у-ух! Ты такая… Одним словом, русская женщина.

— «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет»? Некрасова знаешь? — спрашиваю.

— Не знаю, но сказано точно. Давайте выпьем за русскую женщину!

Но меня уже понесло.

— Знаешь русских?.. И то, что русские — оккупанты, тоже хорошо знаешь?

— А это — прежде всего! — полоснула она наотмашь.

Боковым зрением я увидела входящего Ионаса.

— Запомни: пацаны наши не хотели умирать на чужбине. К маме им хотелось, домой хотелось, на родину рвались… Но пуля сразила русского парня здесь, не объяснив, почему здесь и за что! Ты не хотела бы умереть в России, а он не хотел в Эстонии…

— Я латышка, — растерянно пролепетала она.

— Неважно! Принесла ли ты хоть раз цветок на могилу русского парня? Забудете, затопчете, предадите забвению могилы тех, кто вас от фашистов спас, — Бог вас накажет…

Я опустила лицо, чтоб не видели слез…

Попрощались с Отто и его женой Верой. Договорились встретиться в Таллине. Мальчик сел рядом с Ионасом, а мы с Маргаритой — сзади.

Вот и остановка — небольшой дом с крыльцом. Мы с подружкой и ее сыном вышли. Ионас нажал на газ.

Мама Маргариты приняла меня очень хорошо.

— Она гостям рада и любит русское кино. Проходи, будь как дома.

Мне отвели отдельную комнату, я наконец легла, и тут же нахлынули мысли об Ионасе. Ни к чему это… Распустилась. Увлеклась… Поставила себе на грудь командировочный приемничек «Селга», тихо плачу, прощаюсь. Больно. Очень больно…

«Ноктюрн», — объявляет голос. Красиво играет квартет. Сердце забилось, да так сильно, что я села. Пошарила глазами по неосвещенной комнате, по колышущимся веткам за окном и пошла к окну… Ты здесь!.. Под окном «наша» машина. Вгляделась, увидела: дверцы распахнуты, кое-где белеют кусочки простыни, свесился плед… Спишь, рыцарь мой? А я лью теплые слезы… Как я люблю тебя!.. И тебя, твою силу и красоту, и Прибалтику… Тихо, сладко, хорошо — пусть хоть на миг.

Легла в постель, но уснула лишь под утро. Как только услышала стук в дверь, сразу догадалась, что это он, Ионас.

— Викторовна! Кофе на столе…

— Сейчас, сейчас! — Я схватила косметичку, одежду и, пряча лицо, рванула в ванную… Облилась хорошенько, навела легкий марафет и вышла. Маргарита подмигнула мне и фальшиво удивилась:

— Представляешь? Ночевал под окнами!

— Знаю! — ответила я и слегка прикоснулась губами к его щеке, как будто впереди были не сутки, а вечность.

Мы с Ионасом словно переболели каким-то недугом, тяжело молчали, не разговаривали. Поблагодарили за угощение, попрощались, Ионас пошел к машине. Ах, дорога, ах, лето, ах, несчастье! Мы как бы уговорились, не уговариваясь. Все ясно.

Большую часть пути ехали молча, иногда говорили о незначительном. Маргарита рассказала мне о трагедии в личной жизни Ионаса. Полюбил молоденькую еврейку, родился сын. Жили счастливо. Захотелось ей в Америку — он ни в какую! Хуторские не уезжают. Страдал. Потом пришел в себя…

Вот и Таллин…

Председатель общества «Знание» и Скайдрида в синих джинсах и желтой водолазке поджидают нас у гостиницы «Таллин». Свободных мест в ней никогда нет и не будет. Тут же отправились во Дворец культуры.

Все пошло по накату: в актерской комнате чай, кофе, сладости, цветы. Я стала листать увесистый альбом с фотографиями гостей города, знаменитых артистов и автографами на память. Кого там только не было!.. Сколько знакомых, родных лиц из разных республик…

Вышла на сцену. Зал битком. Актеры любят выступать на этой сцене — всегда аншлаг. Я вдохновилась… Овация. Повалили желающие получить автограф. Ионас сдерживал напор. Похвалы, цветы, рассуждения о кино… Как обычно.

Потом Ионас и Скайдрида повезли меня в гостиницу. Ионас внес в номер все мои вещи, вплоть до коробки с пленкой. Прежде она у него была постоянно в багажнике. Сердце забилось так сильно, что я услышала его.

— Я вернусь через семь минут, — сказал он и поспешил догнать свою подружку.

Значит, он придет ко мне?.. На ночь… Как это?.. Останется у меня… Ополоснулась под душем так, чтоб не капнуть на лицо — пусть буду в легком гриме. Надела крепдешиновое платье в цветочек и лаковые туфли. Не успела закончить сборы, как в белой, как снег, рубашке и с влажными волосами стал в дверях

«мой» красавец.

— Мы едем на корабль, — сообщил он.

И машина, смотрю, блестит, как мои туфли.

Приезжаем на берег. У причала стоит небольшой корабль с ярко освещенными иллюминаторами. Гремит музыка. Ионас берет меня под руку, и мы входим в уютный зал. За столиками молодежь. Некоторые сидят на коленях друг у друга. Курят, смеются…

Ионас усадил меня за двухместный столик, а сам направился к буфету. Заставил стол яствами и сел. Разлил по фужерам грузинское вино и, не глядя на меня, сказал:

— У тебя увлажнились глаза, и ты стала еще красивее.

Я едва сдержала слезы.

— Когда я жила на Кубани, — сказала я, — на танцы к нам приходили морячки. Меня никогда не приглашали: в ходу были пухленькие с кудряшками девочки. А вот когда мы вечерами крали яблоки в чужих садах или рассказывали что-нибудь, шутили, тут уж я занимала первое место — мальчики все были мои.

— Там был и я. Просто ты меня не заметила…

Мы чокнулись, выпили прекрасного вина «Хванчкара».

Вдруг сзади к Ионасу подошла Скайдрида и прикрыла ему ладонями глаза.

— Вот вы, оказывается, где! — торжествующе сказала она.

Ионас встал, усадил ее на свой стул и пошел за другим. Принес стул для себя, присел. Они заговорили вполголоса по-эстонски. Потом поднялись и быстро пошли к выходу. Внезапно Ионас вернулся и приказал мне:

— Не шевелись! Я отвезу ее, она живет в глухом переулке. Не шевелись! Я мигом туда и обратно.

Ей хорошо — она такая маленькая, беззащитная. Таких всегда спешат полюбить, спасти, сберечь… А я как на броневике. В меня кидают букетами цветов, аплодируют, порою обожают… Пора! Пора бежать от этих красавцев, от этих прибалтов с невестами!..

Позвала официанта, расплатилась, схватила такси — и была такова. В номере, не зажигая света, уткнулась лицом в подушку и разрыдалась. Я увидела Москву, дом и алюминиевый двухлитровый бидон… «Ионас, Ионас, я никогда не забуду тебя, всегда буду любить тебя, мужчина мой…» Вдруг опомнилась, поняв, что больше видеть его нельзя, — выяснения и упреки не пристали незабываемой сказке. Зажгла свет. О ужас! Лицо красное, буграми. Верхняя губа раздулась, ноздри тоже… Подставила лицо под холодную струю. Посмотрелась в зеркало — никакого воздействия… Надо бежать отсюда. Не хватало еще ему

застать меня в таком виде! Быстрее на улицу, смешаться с толпой!

Распахнула дверь и увидела немигающие глаза Ионаса, застывшего напротив, на краешке кресла…

Горцы

Абхазия. Сижу на балконе актерского Дома творчества «Пицунда» и волнуюсь. Откуда-то нахлынул дождь. Загрозил, засверкал молнией. Белые высокие волны угрожающе вздымались к потемневшему небу.

— Хорошая примета, — тихо сказала соседка по балкону.

Ударил гром. Сердце колотится… А почему? По дурости. Придет ли машина, обещанная директрисой, чтоб побыстрей добраться до аэропорта? Вовремя ли будет взлет, да как дальше, что там в Москве?.. Дурной характер — все не верится в благополучный исход…

Любая услуга мне в тягость. Помню, когда еще в баню ходила, бывало, от всей души старательно терла мочалкой чью-нибудь спину, а как мне начинают тереть — вся «скукожусь»: стыжусь траты на меня сил чужого человека. «Спасибо, спасибо!» — говорю и отбираю мочалку. «Давайте еще бочок!» — «Нет, нет… пойду попарюсь…»

Когда сын был маленький, няньку нанимали, так я кидалась выполнять за нее все дела. Как это — человек на тебя работает?! «Потому у тебя и няньки не уживаются. С ними надо построже, с ними уметь надо», — учила меня одна дама.

А я не умела.

К примеру, жила у нас, нянчила сына Нина. Первым делом — дружить. Как же иначе? В выходной день она «чистила перышки» и шла на свидание с таксистом. Однажды жду ее с нетерпением: скажет ли она ему так, как мы сговорились? История банальная: забеременела Нина от своего ухажера. Мы с нею решили, что в 28 лет пора рожать. Будем растить ребенка вместе с моим сыном.

Приходит Нина заплаканная, вешает беретик и плащ.

«Подкупил» он ее весною вполне мужским и красивым поступком. Подрулил на незнакомой улице к большому кусту сирени и стал ломать ветку за веткой.

— Не надо, что ты делаешь?! — испугалась Нина.

В окне первого этажа, подперев рукой лицо, улыбалась старушка.

— Пускай ломает — это его куст.

— Правда, правда, я его сажал, и я ухаживаю.

Краткой была пора сирени. Осень пришла…

Нина протирает мокрое от слез лицо платочком. Чистенькая она была, аккуратная. Я суечусь как ненормальная, тарахчу участливо: «Ну а ты ему… а он тебе?»

На мои сто слов она одно. А я уж и сыну готова была сообщить радостную весть о появлении ребеночка. Долго не могла уснуть от сознания дружбы с Ниной и предстоящего объяснения со своим неразговорчивым мужем.

Утром вхожу на кухню, чтобы сказать, что ей делать, пока я буду на репетиции.

— Нинок, вот двадцать пять рублей. Это все до зарплаты. Сходи разменяй, мне тоже деньги нужны.

Она молча заминает луночки на беретике, соседка косится на нас, помешивая что-то в кастрюле.

— Нин, чего молчишь? Поняла, о чем прошу?

— Разменяю так разменяю, а не разменяю так не разменяю.

Соседка пошла в свою комнату, вернулась с кошельком.

— Я разменяю, — сказала она.

— Спасибо. Вот, Нина, тебе двадцать, а мне пять.

Она молча взяла деньги, и дверь за нею захлопнулась.

— Чего ты с нею нянчишься? — буркнула соседка.

— Магазин только что открылся. Может и не разменять, — виновато ответила я.

Душа человека неисповедима: «подруга» моя заявила, что уходит от меня, правда, отработав еще положенные две недели. Нечего советовать, нечего быть умнее всех! Поделом мне. Мое внимание и ласка казались Нине унижением.

К слову сказать, какие типажи являлись вереницей по объявлению! Одна приходит — поднятая бровь, лет сорок пять на вид. В шапке-ушанке, морском бушлате. Садится на табуретку, шлепает ладонью по клеенке на столе.

— Так. Я сектантка. Выходной — понедельник. В воскресенье — четвертинка, премия за хорошую работу.

Соглашаюсь: заступайте. Через неделю со слезами признаюсь, что она не подходит. Привычная к отказам, она торжественно собирает пожитки и перед дверью бросает:

— Не держи деньги на виду! — Уходит.

Следующая — деревенская, ничего вроде. Но сын стал ночью вскакивать и кричать: «Не стреляй! Не стреляй!» Оказывается, у нее в кармане фартука был детский пистолет с пистонами. Если сын не хотел есть, она медленно наводила на него пистолет.

— Будешь есть?

— Буду, буду! — Он склонял голову к тарелке и съедал все до конца.

Удивительно — там, где строго, богато, домработницы живут

вечно, лишаются личной жизни, полностью принадлежат хозяевам. Где бедно, где с ними как с подругами, они не приживаются, хоть и оплата та же самая. Уж по найму так по найму: ты хозяин, а я тебе угождаю за определенную плату. Свойскую да простенькую хозяйку домашние работницы не уважают.

Стати приезжать с Кубани сестры. А их аж три! Приезжали по очереди: то одна, то другая. Тут уж мы управлялись — и песенки пели, и готовились к поступлению в институт.

Прошли годы. Сидим как-то в гостях у режиссера, обсуждаем будущую картину, мою роль. Вдруг входит моя постаревшая Нина с румяными пирожками на блюде и улыбается.

— Нина?

— Ниночка наша, — поясняет жена режиссера. — Уж лет пятнадцать у нас.

…Опять трахнуло в небе, мазнула молния, вновь посыпался на деревья дождь.

— Это к счастливому пути, — ворчит соседка.

Словно бы я виновата — все время моего пребывания здесь было ясное небо, теплое море, и вдруг за пятнадцать минут белый свет опрокинулся. Наколдовала я будто. Глядь — высветился белый цветок магнолии, крепко запахло морем, цветами, травой. Слышу — внизу пунктиром сигналит автомобиль.

— Асхан, — машу рукой.

Асхан — водитель машины Дома творчества. Ворота сами расходятся. Машина въезжает, он хлопает дверцей и пальцем показывает на циферблат часов: дескать, точно, как в аптеке на весах. Скрылся в здании, через минуту — стук в дверь.

Спускаемся. Внизу отдыхающие вышли проститься со мной. Обменялись любезностями, я захлопнула дверцу машины, мы помчались.

Повезло: накрыло дождем — и тут же солнце. Это подарок Бога — все горит и сияет искрами бывшего дождя. Ветер крутится по салону машины. Для того и родился человек, чтоб видеть эту красоту, слушать Асханчика, как он простодушно рассказывает о своей молодой жизни.

Чувствую: что-то недоговаривает.

— Можно закурю?

— Ах, ах, нельзя!

Он смеется, сует сигарету в рот. Закурил, постучал ладонью по сигналу — курица с дороги вон.

В тех краях уже витала угроза нарушения гармонии жизни. Человек так устроен, что не замечает плохого, не верит в него. Опрокинутые киоски и сожженные доски объявлений привычны

по этой дороге — было и прошло, больше не будет. Все это воспринималось как элементы движения жизни: гроза, ссоры и тишина навек.

Видя, что я еще напряжена, Асхан успокаивает:

— Зря волновались. Я ведь не опоздал? Не опоздал. Заправился? Заправился.

— Дурные мы, советские люди, Асхан. Все плохого ждем. Справку какую-нибудь подаешь в окошко, чтоб печать поставили, и то сердце в пятках: ждешь — швырнут обратно, что-то не так, еще раз приходи. Я, когда курортную карту оформляла, сижу маюсь у кабинета врача. Рядом пожилой тощий человек. Губы сухие, кадык на шее то вверх, то вниз — пить хочет. А ему, видно, рентген желудка назначили — сутки не ел. Неоднократно выходила сестра, он звал ее, но она и внимания не обращала. Наконец подошла к нему, взяла направление. Держа вверх тормашками, оглядела и звонко посоветовала прийти завтра. «Как — завтра?» — перепугался мужчина. «Вы что — неграмотный?» — «Ах ты, бикса чертова!» — вскочила я. «Не хулиганьте, товарищ Мордюкова!» — «А ну-ка веди его на рентген! Человек сутки не ел, не пил!» Я взяла его под локоть, а он ни с места. Окаменел весь. Сестра скрылась за дверью рентгеновского кабинета. Вышел врач, почесал затылок. «Вы Сенчаков?» — «Я». Мужчина встал. «Заходите».

Асхан от души расхохотался.

— Ну, дали вы ей, Нонна Викторовна! Гадюка она!

— Да, я терплю, терплю, а потом как включусь… И родилась такой, и не меняюсь с годами.

— Не меняйтесь. Вас люди такой и любят.

— Ты молодой. Тебе море по колено. Слушай. Пригласило нас американское правительство с фильмом «Комиссар»…

Асханчик вежливо слушает.

— Обслуга — люкс! Сам помощник Рейгана принимал. Идем, значит, мы вечером на показ фильма. Вернее, едем — правда, до машины несколько метров, а на улице дождь.

— Дождь? Не везет вам. И там дождь?

— Не говори! Вижу, переводчик подошел к портье — дежурному по ключам, значит. «Зонтик просит», — подумала я. Поговорили они, и переводчик вернулся ко мне. «Не дали?» — «Что?» — «Зонтик». — «Да вот он, на столике у выхода лежит!» — засмеялся переводчик. Смотрю — зеленый, в тон моему платью, даже расцветку специально подобрали. Вот это да! А мы живем — только и готовимся от ворот поворот получить.

— И вы тоже?

— Конечно.

— Вы же казачка, правильно? Казаки — это будь здоров! А по национальности кто?

— Русская.

Асхан смеется.

— Разве на Кубани бывают русские? У вас там сбор блатных и шайка нищих. Русская! Посмотрите на себя в зеркало! Отдыхающие с севера — розовые, белые, глаза голубые… А вы?

— Это правда, на Кубани и осетины, и чеченцы, и айсоры. Моя близкая подруга Райка Микропуло — турчанка. Кавказ весь такой. Ты чеченец?

— И чеченец, и абхазец, а по матери — айсор. Вон сколько таскаю!

— Какой ты хорошенький!

— Что я, девчонка, что ли? Я джигит! «Хорошенькая» у меня девушка. Знаете, как ее зовут? Мажина — улавливаете?

— Мажина?

— Догадайтесь, какой национальности? Грузинка. Чистокровная!

Он засиял.

— Красть придется.

— Почему?

— Отец ее ни в какую! Мать ничего, а он… Подсовываю ему нарды — счастья до неба! А я не люблю нарды. Нудно. Играю из подхалимажа.

— И Мажина рада?

— Ну что вы! Она станет над нами, брови сдвинет и наблюдает, как учительница в школе.

— Любишь, значит?

— А как же? Жениться собрался. Беда, по-грузински разговаривать никак не научусь. Опять же отец ее требует, а мать помалкивает. Ну, Мажина как заведет: грузины — самая главная нация.

— А ты соглашайся. Они и вправду красивые, гордые, с древней культурой.

— Я соглашаюсь, но ей мало. Расплачется и твердит: грузины — из всех людей люди. Дядю ее айсор зарезал в драке. Националистка страшная. А в меня втрескалась. Требует — кради меня скорей, кради!

Смеемся.

— Я говорю: подожди, слушай, куда красть? Мой флигель опять курортникам сдали. Как я ненавижу курортников, клянусь мамой! Сколько помню себя, кто под столом спит, кто на крыльце.

— Это все от бедности: и вы бедны, и те курортники бедны,

если могут оплатить только лежанку.

Он зевнул и похлопал себя ладонью по губам.

— Я сегодня ни минуточки не спал… Не бойтесь, я молодой, выносливый. Ох, что я перенес этой ночью!

— Ну-ну?

— Брат уехал в рейс и поручил мне смотаться в аэропорт, встретить его драгоценную женушку с сыночком. Сыночек не его, но это неважно. А знаете, где он ее выбрал? В городе Горьком. Поехал новую машину получать. Все на заводе оформили, собрался отчаливать. Тут маленький пацан с криком «Папочка!» ухватил его за колени. «Игорек! — окликнула его мама и не спеша подплывает к брату. — Извините, у него был папа, похож на вас». — «Давайте я понесу его». — «Спасибо». Она пошла впереди, он за нею следом, держа на руках пацана. Ну и всё. Разглядел — клевая женщина. И я так считаю. Высокая, стройная. Русская красавица, одним словом. Уже четыре года живут. Родила ему мальчика. В детсад ходит. Молчаливая, хозяйственная. Любят друг друга без памяти. А меня считают баламутом, уверены, что я не только работаю в Доме творчества, но и пользуюсь машиной для гульбы с девочками. Слушайте дальше. Припарковался я — и бегом в зал, к назначенному рейсу. Туда, сюда смотрю — нету ее! Рейс тот, в телеграмме указан. Опустел зал, трап отъехал. Нет человека. Что делать? Домой нельзя! Скажут, опоздал из-за гулянок своих. А брат убьет, и машины мне больше не видать, и на работу заявит, чтоб перевели на другое место куда-нибудь. Верите, чуть не заплакал! Решил ждать следующего рейса, а он через четыре часа. Стал как вкопанный у входа и смотрел на небо. Чем больше стоял, тем обиднее было. Накурился до тошноты. Слава богу, подруливает горьковский. Впиваюсь глазами в высадившихся пассажиров. Моих нет. Схватился за голову, сел в машину. Эх, будь что будет! Поехал на малой скорости домой. Остановил машину за углом, а сам пополз, как змея, к окнам. Окно высоковато, подтянулся на руках, вижу: родители спят. Еще не совсем рассвело. Абрек собрался гавкнуть, я его шепотом остановил. Заглядываю в другое окно — спит наша красавица, на сундуке сынок старший, в кроватке младший. Я чуть не закричал. Как же так получилось?! Одумался, взял себя в руки. Главное — вернулись целые, невредимые. Зачем их будить, пусть спят.

— Дорогой Асхан, ты настоящий мужчина. И вправду, зачем выяснять ночью? Разбуркал бы их, нарушил сон, утолил свое любопытство, как басмач…

— Побойтесь бога, Нонна Викторовна!

— Значит, не басмач?

— Ни в коем случае!

— А Махмуда Эсамбаева знаешь? И он не басмач?

— Басмач — это бандит!

— Верю, верю, Асханчик.

Он закурил, и дальше мы поехали молчком…

Да, Махмуд Эсамбаев — это явление. Бывало, сидим в президиуме, вижу его под каракулевой шапкой, с прямой спиной — не шевелится. У горцев высокая каракулевая шапка — образ гордости, бесстрашия, амбиций. А ведь под этой шапкой не гордость и не чеченец сидит. Под шапкой сатана сидит, думу думает: «Скорей бы все это кончилось…» Пишу ему записку: «Махмудя, чего сидишь как каменный? Боишься, шапка с головы упадет?» Бедняга рядом с вождями в первом ряду, смех распирает, а смеяться никак нельзя. Я-то подальше от начальства, могу и носовым платком смех прикрыть.

А раз пригласил он меня в гости. Адрес: Москва, гостиница «Россия», этаж такой-то, номер такой-то. Вхожу в номер — в углу барашек стоит и глазками моргает. Сноп всевозможных трав, дыни, пирамидой арбузы, фрукты, вина. Кавказские джигиты без пиджаков, в носках, пластично вершат подготовку пира. Пиры Махмуд закатывает, будто на вечную память. Да еще в углу шкурки норок в мешке — для подарков женщинам. А мужчинам — национальные ножи в чехлах. «Отдыхайте, наслаждайтесь, гости дорогие, — начинает хозяин. — Я не ворую, чтоб я так жил! Деньги мне дают мой талант и родовая плантация цитрусов. Самое большое богатство — это видеть друг друга. Правильно? Давайте выпьем!»

До чего насыщенный человек! Сколько доброты, юмора, ежеминутных выходок: крутит, заводит, смешит. Поездили мы с ним немало по Союзу. То декады, то открытия важных строек, то концерты… В гостиничном номере у него всегда завал всяких яств. При нем повар, костюмер, официант. Его близкие горцы служат ему верой и правдой. Люкс не закрывается на ключ никогда, и каждый страждущий поправить здоровье — заходи! Бывает, он еще и не сказал ничего, а уж смешно. Да еще как смешно! Забавляется сам и забавляет гостей. «Махмуд, расскажи о Париже!» — «Я никогда не вру. Чтоб я так жил! — Это его всегдашняя присказка. — Как они мне осточертели с этим Лувром! Я неграмотный, я из аула! Посылают с разными делегациями. Первое — это Лувр. Ну что ты там набегаешь за час? Только наши каблуками стучат, потому что бегут все время. «Ах, Лувр, ах, Лувр, я был там!» А что ты там видел? Мне же от коллектива откалываться нельзя. Ну, и хожу то с Большим театром, то с «Березкой»… Я Лувр знаю наизусть. Не по содержанию, а по количеству залов. Сощурюсь так, голову набок,

отойду от картины, «оцениваю». В последнем зале сяду на стул и сижу. Слава тебе господи — Лувр проскочили. Вот однажды сижу, как обычно, на этом стуле, жду наших. Подходит ко мне благообразный старичок в пенсне и заговорщически говорит: «Давно за вами наблюдаю. Я из России, но живу в Париже сорок лет. Вы очень интересуетесь живописью». — «Да, да…» — «Как я вам Лувр покажу, вам его не покажет никто!» — «Спасибо, спасибо. Очень рад! В следующий раз». Старик протягивает мне визитную карточку. Слышу, наши бегут к выходу. Попрощался я с ним и первый сел в автобус. Фу-у! Пронесло! Следующего раза не будет. Не будет, и всё! И вот приезжаю с концертами в Ленинград. Отработал, усталый еду в гостиницу, принимаю душ. Ребята чаёк заваривают. Стук в дверь. Входит согнутый старик, двойник того, что в Лувре подходил. И лицо такое же, и пенсне. Только этот постарше. Смотрю, что-то держит в руках, прикрытое мешковиной. Фанера или картина. Откидывает тряпку и поясняет: “Мальчик у пруда. Омовение Осетии”, третий век до нашей эры. Брат позвонил из Парижа. Попросил меня этот шедевр предложить вам». — «Сколько вы хотите за него?» — «Это оценщик назначит». — «К оценщику — нет! Говорите цену!» — «Я думаю, тысячи полторы». — «Прекрасно! — Вынул кошелек — не хватает. — Хлопцы! А ну-ка быстрей выкладывайте!» Набрали полторы тысячи, отсчитали. Старик взял деньги, но от картины едва оторвали его. Приезжаю к себе в Грозный с шедевром. Подняли меня на смех. Жена пристроила картину на кухне. Тогда я решил купить картину посолиднее и купил. Дорогая, сволочь, но зато видная: лежит голая женщина, а вокруг нее яблоки и груши. Опять не попал в точку, больше живописью насиловать себя не буду».

Помню, Махмуд возвратился из какой-то поездки и взвыл, как волчонок: «Ох, Нонночка, дорогая, как борщику хочется! Я вечно голодный! Вечно! И все из-за фигуры, из-за талии. Я танцор. Я ж не виноват, что на конкурсе за лучшее исполнение испанского танца испанец получает серебряную медаль, а я — золотую. Руки мои сравнивают с руками Майи Плисецкой. В Америке мне преподнесли презент — путевку в кругосветное путешествие. Я отказался в пользу оплаты багажа, который в десять раз превышал положенный вес. Чтоб я так жил — не вру!» — «А как там, в Париже?» Показывает большой палец: «Я теперь хожу куда хочу. Сейчас же свобода, ты знаешь?» — «Пока нет, мой дорогой!»

Конечно, талантливых людей немало, но столь расточительных, щедрых для друзей, для всех встретишь редко. Махмуд Эсамбаев — это не только гений в танце, но еще и лекарь. После общения с ним хорошо живется.

Однажды мы собрались у кого-то дома. Приехали Махмуд с друзьями, чтоб угощение наладить. Всех, а женщин особенно, поразил один красавец из его свиты. Он в носках стоял на кухне, вежливо всем кланялся. Я тоже пару раз заглянула на кухню, спросила о какой-то чепухе. Он не отреагировал.

Пригласили к столу.

— Идемте, — обратилась к красавцу шустрая балеринка.

Тот слегка поклонился, приложив руку к груди, что означает отказ.

Я не выдержала и шепчу Махмуду:

— Чего парень-то ваш на кухне стоит?

— А где же ему быть?

— С нами.

— Он не войдет сюда, пока я здесь. Не лезь в наши обычаи! Если аксакал находится в главной комнате, он не войдет.

— До утра?

— Может, и до утра. Вот когда я встану, пойду на кухню, приглашу его, он появится, но не сразу, а так через часок… Дружим с тобой, а обычаев наших не знаешь.

— Я много знаю, я ведь выросла на Кубани, среди разных народов. Там и чеченцы были…

— Если скажешь чеченцу, что ты его знаешь, он рассердится. Чеченец не любит, чтоб его знали, — это как раздеть догола при всех.

— Прикажи лучше тост поднять.

— Вот это другое дело!

Тут он снимает свою «шапку Мономаха» и как ни в чем не бывало обнажает лысину во всю голову. Она так сияет, будто и не росли на ней волосы никогда…

Сейчас на дворе горе лютое — Чечня! На Кубани много народностей, но чеченцы всегда особенные. Помню, принесла передачу в родильный дом для мамы; сидят на кроватях молоденькие мамаши, кормят своих детей грудью, улыбаются.

— Нонк! Слышишь, как орет? Чеченец народился.

Крик его можно услышать за тридевять земель. Он будто и рождается с кинжальчиком, громко сообщает о своем первенстве. Он горец, он крепкий и мудрый. Как правило, мудрость свою и силу чеченцы проявляют только на родной земле. Они не мыслят властвовать в России. Их душу и глаз ласкают только горы, они верны обычаям предков.

А уж если унизишь горца хоть словом, хоть взглядом — держись! Свою воинственность они придерживают до поры до времени, но всегда готовы к бою. И не только к бою — какими

только уловками они не пользуются, чтобы достичь цели.

Горы и скалы формировали этот народ. Он молчалив и непобедим. Нарушишь его статус — изощренно отобьется, беспощадно расправится. Бывало, чеченец поделится с тобой последним куском хлеба, отдаст последнюю рубашку, защитит, не разбираясь, русский ты или еще кто. Но это до тех пор, пока не унизишь его, не встанешь поперек пути.

В девятнадцатом веке «нарвались». Что из этого получилось? Не один год кровь лилась.

Пока есть земля, ни одна национальность не изменится. По задиристости и амбициозности всегда на первом месте будет чеченец. Однако с чеченцем всегда и договориться можно, обходной маневр, так сказать, найти. Но это получится только в одном случае — если ты досконально знаешь, глубоко изучил нравы, обычаи этого народа.

Главный командир над всеми нами — солнце. Мы поднимаем головы, ищем НЛО… А солнце ходит над нами, и рождаются под ним разные человеческие особи. Где солнце припекает шибче — люди со смуглой кожей, черными чубами, карими очами, темпераментные, вспыльчивые… У помора своя стать — он не сразу решает, не сразу дает отпор, но если решится, то вряд ли уступит горцам.

Как же так — не знать, с кем живешь? Да что там, мы и партий не знаем, которые сейчас пышным букетом расцвели. Десятки лет нас учили истории КПСС, лишали стипендии, гнали из института за то, что не сдал за семестр эту дисциплину. Методика преподавания не разработана — учить историю партии было тяжко и уныло. Материал сухой, неувлекательный. Трешь, трешь, бывало, в потной ладони заготовленную тобою же шпаргалку и ни черта не понимаешь. Но находились такие верткие, что поняли: не ухватишься за эту цацку — тут тебе и конец. Помчались за красными корочками достойные и недостойные, карьеристы. Для одних партбилет был как воплощение святого единения, призыв к честности и труду. Другие считали красную книжку пропуском на все времена.

Помню очередные сокращения в нашем Театре киноактера. Коммунистов не трогать! Сколько там засело бездарей! Из-за них и театр лопнул. Я, как поняла, что они партбилетами спасаются от увольнения, так и не вступила в партию. Мама и брат шепотом спрашивали, изумляясь: «Ты не в партии?..» — прямо враг народа. Помню, вызвал меня в кабинет секретарь райкома партии, я молча сидела и наблюдала, как за окном желтые листья клена медленно падают вниз. Секретарь призывал вступить в партию, потому что я уже себе не принадлежу, а являюсь достоянием

народа… Так и не проронив ни слова, я пожала ему руку, как полагается, и закрыла за собою дверь. Ах, КПСС — разлюли малина для тех, кто вверх хотел! Вверх, и только вверх! Они рьяно учили наизусть каждую строчку и Ленина, и Сталина, и всех, кого надо.

Помню прохладные на ощупь, никем ни разу не открытые тома Владимира Ильича. По соседству с нами жила большая еврейская семья. Как-то я позвонила им в дверь, чтоб узнать, нет ли у них сочинений Ленина: надо было выловить парочку цитат — приближался зачет.

— Ну какая же приличная семья не держит у себя Ленина?! — удивилась пожилая хозяйка. Пошла в глубь квартиры с громким вопросом: — Какой тебе том?

— Любой, — говорю.

— Их много! Очень много!..

Вынесла первый, и я пошла «работать». Не мытьем, так катаньем и нерадивым что-то влетало в голову. «От каждого по способности, каждому по потребности — это же лафа!» — думали люди.

И сейчас лафа — не надо мучиться, изучать программу той или иной партии, за что радеть, и ночь не спать, чтоб с чувством глубокого удовлетворения опустить в урну бюллетени.

Партий никто не знает, а выходки думцев — на уровне плохого цирка. Как важен магнит телевизионных передач, и как обидно, что понятие «гласность» путают порой с преднамеренным крушением наших идеалов…

Да, надо знать обычаи, нравы тех, среди кого живешь. На факультете журналистики этому не учат. Ползут по-пластунски с кинокамерой только что испеченные журналисты: рискуют жизнью, гибнут на войне, а снимают очень часто брак. Разве можно растерзанного человека снимать? Издавна люди торопятся прикрыть погибшего. Справедливо упрекнул Буш журналистов, впившихся в его лицо, когда ему стало плохо. «Это невежливо», — сказал он.

Помню, в детстве, когда мы самодельные пистолеты наставляли на кого-нибудь, нам говорили: «В человека целиться нельзя». Давно это было… Сейчас же дуло оружия направляют с экрана телевизора прямо на сидящих перед ним. С легкой руки комиссара журналистики из Питера как стали кишки перебирать и в мозгах копаться, так и докатились до самого «выразительного» метода показа трагедии. С понятием «гласность» нужно уметь обращаться. На телевизионном экране идет преднамеренное перенасыщение патологией. Секс ли это или расчлененное тело человека, выловленное из колодца.

Закордонные сюжеты так же подобраны: авиационные катастрофы, пожары, стрельба, изувеченные трупы. Слишком ударились в анатомию. Воистину воспитывают непредсказуемый тип человека. Экран приучает «к натуре» гибели человека. Приучают детей и подростков с легкостью лишать жизни себе подобных.

Не согласитесь ли вы, что нельзя распоротое тело погибшего выставлять напоказ? «Без его разрешения…» А может быть, и мама его, и отец не согласились бы свое дитя показывать в таком виде? Вот сейчас в Чечне и соединились незнание чеченцев и вольный стиль снимать, показывать мясорубку.

…Я очнулась от воспоминаний и раздумий. Мы с Асханом подъезжали к аэропорту.

Аскольдова могила

Однажды сидим в кустах, ждем какого-то неведомого дядьку. Кругом немцы, оккупация, голод проклятый замучил. Мама наказывает съездить к сестре, тете Паше, и выпросить кабак (тыкву) и кукурузу.

— Ближе к ночи он подъедет, — напутствует мама семилетнюю сестру. — Мотоцикла не бойся. Сядешь сзади верхом и ухватишься за его одежду… А там семь километров — и всё. Тут тебе и Широчанка.

Я подростком была, хотела ехать вместо маленькой сестры, но мама — ни боже мой! Наконец видим, мужик переступает ногами, а между ними мотоцикл. Подрулил, занес правую ногу назад и прислоняет мотоцикл к стене. Поворковали с мамой, чиркнул спичкой, закурил; потом снова занес ногу за мотоцикл и пригласил сестру сесть сзади. Мама трепетно помогла ей устроиться.

— Держись за мои карманы, — посоветовал мужчина.

Сестра села, и он опять пошел ногами по траве. Прошел метров сто, мотор крякнул, затарахтел, и маленькая фигурка сестры растаяла в темноте вместе с брезентовой спиной седока.

— Уехали, — вздохнула мама.

Главное — до Широчанки. А утром тетя Паша подсадит на товарняк — я встречу. Грузить на старшую было обычным делом. Основным подручным была я. Кряхтела, пробиралась, доставала, таскала. Как немцы ушли — легче не стало.

— Бери что попало. Тут разберемся. Прячься, чтоб не поймали…

Законы были безбожные: оставшееся зерно после убранного

урожая брать нельзя. Пусть лучше на поле померзнет и сгниет. Немцы так не требовали, а наши… Многодетные семьи не выдерживали — есть хотелось с утра и до ночи, поэтому посылали детей красть рассыпанное в поле добро. Объездчики, как и все люди, получившие власть, вскакивали на коней — и аля-улю! бей, кроши… Неудержимой была страсть гонять, отбирать оклунки с зерном и напоследок хлестануть батогом поперек спины. Выпивший и стрельнуть мог. И стреляли. Убили школьника, вся станица хоронила, и вся станица плакала. Мама была молодым коммунистом, и не дай бог, чтоб поймали ее детей. Могли исключить из партии. Эти слова «исключили из партии» до сих пор помню как что-то самое страшное в жизни человека…

Сидим с подружкой в лесополосе, трусим, ждем, когда объездчик минует нас. Ей-то хорошо — у нее родители не коммунисты… Зато отмучаемся, принесем каждый в свою семью подкрепление. Вечером пируем: оладьи, мамины рассказы всякие. Наедимся, и на утро останется. Утром мама уже в поле, а мы глаза продерем, и кто первый — одним прыжком к комоду. Там в верхнем ящике оладьи. Расхватаем, и опять думать надо, как еду доставать. Не помнили, когда последний раз выдавали что-нибудь на трудодни… Однажды народная почта сообщила нам, что за рекой Уруп учительница по литературе приберегла яблоки. Отправилась, яблоки взяла, несу за спиной, боюсь: что несешь да куда?.. Откуда ни возьмись «рама» пожаловала. Низко надо мной сделала круг, немецкие летчики рукой помахали… Стоило им стрельнуть — и капец.

Добралась до дому — герой! Радость принесла. Накинулись все. Горят огнем яблоки красные, желтые. Всю хату украсили. А запах! Запах обнадеживал на лучшую жизнь, но она все никак не улучшалась…

…Материально было тяжело. Крутились. Перед получкой аж пот проберет от беготни по этажам с надеждой занять денег. Бывало, заплачу и взмолюсь молодому, неприспособленному мужу: ну сделай хоть что-нибудь, хоть какие-нибудь меры прими! Но он не знал, что делать. Все укорял: родила без моего согласия, теперь вертись. Однажды в отчаянии сунула руку в карман его пиджака, а там в паспорте десятка притаилась. Не посочувствовал моим слезам…

Подрос сын, стал во двор выбегать с клюшечкой. Двор хороший, безопасный. Убираюсь; слышу голос с заднего двора:

— Ма-а-ам!

Высовываюсь в форточку: стоит моя радость, улыбается, ямочка на щеке. Сбавив громкость, спрашивает:

— Ты меня любишь?

— А как же, сынок? — счастливая, отвечаю. Он, довольный, уходит.

Конечно, счастливая. Любимее нет никого на свете. Теплый бальзам грел душу: ел ли сыночек, рассказывал ли что-нибудь. Бывало, обидится на кого-то, заплачет, еще слезы висят на щеках, а он торопится поделиться.

Всхлипывая, переходит на радостный лад:

— Мам! У нас в школе медицинский осмотр был. У одной девочки швы в голове нашли.

— Швы?

— Да. Ее маму вызвали, чтоб вывели ей.

— А… так это вши…

— Нет, мама, швы.

— Ничего, это просто вывести.

Отец хоть и стал любить его, но он все льнул ко мне. Мой сын. Володенька. Как расхохочемся с ним за столом или перед сном — удержу нету!

— Замолчите!

Куда там! С полувзгляда, с полуслова понимали друг друга, на одной волне жили, как говорится. У нас были наши «коды», жесты, мимика. Помню, пришла в гости к соседям маленькая девочка Лиза. Ничего особенного. Толстая, кокетливая. Вбегает Володя, хватает мою ладонь и тащит меня на кухню.

— Мама! Не говори, что мне восемь лет… Я ей сказал, что мне девять.

— Почему?

Он шепчет в ухо:

— Потому что ей девять.

— Ладно. Если спросят…

Он успокоился и пошел к соседям. Все хорошо, все хорошо… Уютно, радостно — ребенок рядом, на репетициях в театре хвалят.

Вдруг как-то влетает Володя в комнату и радостно сообщает:

— Мама! Буду деньги тебе зарабатывать! После уроков почту разносить по квартирам. Весь класс будет конверты разносить.

В меня будто выстрелили… Смотрю на него, дух перевести не могу. Нёбо пересохло, коленки ослабли… Мы впились глазами друг в друга, как током пронзенные. Вижу, как его радость сменилась испугом, изумлением. Мне слышалось не «почта и конверты», а сообщение о сожжении всех мальчиков на костре.

— Почту? Какую почту? Ни в коем случае! — Села на стул и закрыла лицо руками.

— Ладно, ладно! Не буду, не буду…

Как я тогда посмела не воспринять, не поддержать его! Я, такая артельская, работящая, вдруг испугалась, воспротивилась, запретила. Невпопад запретила. Пресекла то, что надо было поощрить. Не сосредоточилась, не потрудилась разобраться. Перед сном гладила его спину — слава богу, не дала, не пустила: «Спи, детка, проживем и без почты…»

Потекла жизнь дальше. Моя опека крепчала: сынок сыт, обут, одет. Остальное ясно как день — приучайся к труду. «Ты моя, я твой» — излюбленный девиз сына. С детства и навсегда.

С годами и «тыльную» часть жизни каждого знали. Моя битва за жизнь, за искусство, его две женитьбы и пробы стать актером не лишили нас нерушимого сосуществования.

Теперь вот непрестанно является личико второклассника, все слышу его известие о почте. Как укор, как удар в сердце. Как показатель невнимания матери.

Сижу как-то у телевизора и смотрю рассказ-интервью матери Василия Шукшина. Крепкое русское лицо пожилой женщины безучастно. Монотонно, едва шевеля губами, она вспоминает лютое горе и тяжелую жизнь, разговор с Васей, еще мальчиком. «Нарядили его водовозом. Хлеб не на что было покупать. Вся семья надрывалась от зари до зари, но денег не хватало… Трусится, но не возражает. «Бочка высоко, сынок…» — «Мам, как дырку достать?» — «На колесо, Васенька, станешь… Ох, ведро тяжелое!» — «Ничего, мам, я буду набирать по полведерка». — «Правильно, сынок…» Жаль было его. Худой, маленький, десятый годок пошел… Не на смерть же, думаю…»

Она разрешила, а я нет. Пока ребенок дышит кожей матери, можно направить его куда твоей душеньке угодно. Я это не принимала во внимание. Меня же никто не направлял! Это не совсем так. В селе упрощенная схема жизни: не работать — срам. Вот дом твой, вот работающие с детства люди, игры на поляне, тут тебе песни, сказки, привозное кино и парное молоко на ночь… А жернова большого города сильнее человека. По Москве и ходить нужно по-другому. Тут сам по себе не заладится человек.

Помню, горели леса Подмосковья. Долго горели. «Это туман или дым?» — с испугом выходили москвичи на балконы. «Дым, дым!» Какие только сообщения не витали по радио и в устных рассказах. Тушили пожар все, кто мог. Торф предательски тлел под толщей земли. Однажды грузовик, полный солдат, заехал на поляну и тут же, окруженный дымом и огнем, стал оседать в тартарары. Крики, взмахи рук! Тщетно… Грузовик все погружается в кромешный жар. Спасатели, пожарные мечутся. Солдатики кто окаменел, кто волосы на себе рвет. Кричат в агонии, помощи просят, спасатели им в глаза смотрят… А помочь

не могут. Ни достать, ни кинуть что-нибудь. Ничего сделать нельзя… Я осталась на твердой почве…

Я крепко ухватилась за кровать, на которой лежит мой сын. Он скрипит зубами, стонет, мучается. «Чем тебе помочь, детка моя?» Хочется приголубить его, взять на руки, походить по комнате, как тогда, когда он маленьким болел. Теперь на руки не возьмешь. Большой — на всю длину кровати. Хочется погладить, приласкать, но взрослого сына погладить и приласкать непросто. Помощи не просит…

— Мам, похорони меня в Павловском Посаде.

— Ой, что ты!.. Что ты говоришь?

— Потерпи.

Я чмокнула его волосатую ногу возле щиколотки, горько завыла.

— Потерплю, потерплю, потерпим… Бывают же промежутки.

— Больше не будет, мама. Выхода нет… Ты моя, я твой…

К рассвету он примолк.

Я на раскладушечке неподалеку, смотрю: подымается одеяло от его дыхания или нет. Решила не жить. Как и зачем жить без него? Потом заорала на всю ивановскую, вызывая «скорую». Быстро приехали по знакомому уже адресу. Вставили ему в рот трубочку, она ритмично свистела. Дышит. Теплый. Живой… Мчимся по Москве.

Когда вносили в реанимацию, я в последний раз увидела его ступни, узнала бы из тысячи… Помню, грудью кормлю его, держу его ножку и думаю: запомню — поперек ладони в аккурат вмещалась его ступня — от пальчика до пяточки… В коридоре холодно, лампочка висит где-то высоко. Темно, неуютно. У входа в реанимацию, откуда доносится свист, его свист, стоит лавка. Я иссякла. Прилегла и подложила ладонь под щеку. «Зачем мы здесь, сыночек?..» Маленьким был, соску не взял, выплюнул. Я сокрушалась, видя, что с соской дети спокойнее. Тогда выплюнул, а сейчас вставили насильно. И я, не дыша, молю Бога, чтоб этот свист не смолк.

…Позвали меня давно-давно в съемочную группу фильма «Комиссар» на собеседование. По пути домой я вспоминала встречу, сценарий и изумилась фамилии режиссера — Аскольдов, забавно… «Аскольдова могила». Может, это рок? Может быть, на съемках боев меня конь забьет…

Оставила своего красивого душевного мальчика-подростка на чужую тетку, обеспечила разными «пряниками» — и на четыре месяца в киноэкспедицию под Херсон. С картиной не ладилось: режиссеру преднамеренно не создавали условий для съемки, мучили, издевались. Приезжал директор студии, съемку

приостанавливали. Александр Аскольдов, человек интеллигентный, внимательный, предлагал мне не раз:

— Может быть, съездите домой, пока есть пауза?..

— Нет, нет, что вы!

Я скрытно жалела его и картину.

Потом его судили. Уволили из штата студии. Дело-то какое вытащили! Лошадей много снимали. Конюшня была за двадцать километров от нашего пристанища. Два конюха-алкоголика не подковывали коней. Их было много, а значит, и на пропой хватало с лихвой. Стертые копыта от беспрерывных скачек приводили в конце концов к выбраковыванию. Убыток колоссальный. Свалили эту беду на режиссера. Владимир Басов, Ролан Быков и я аккуратно ездили на суд… Додумались все же адвокаты до того, что коней подковывать режиссер не должен был. Картину, еще не озвученную, положили на двадцать лет на полку. И в картине боль, и сына вспоминать было тяжело. Не ехала я к нему. Ну что стоило вырваться на два дня… Старалась не вспоминать его, ни лица, ни пальцев, ни голоса. Бывало, едва сдерживалась, чтоб не бросить все и съездить. Как-нибудь доведу съемки до конца, а там и радость моя — сын…

Вот как раз в эти четыре месяца его и «схватили». Вернулась — он в больнице… Помчалась туда. Он был веселый и виноватый. Признался в том, что Сашка Берлога принес пиво и «колеса» (таблетки). Пылко заверил меня, что это больше не повторится. Я поверила. Хотела поверить — и поверила. Волнение не покидало меня и дома. Я незаметно смотрела на него и недоумевала, как он произнес «пиво и “колеса”», такие чуждые слова, с пониманием дела…

Долго потом он не виделся с теми дружками. Призвали в армию. Появилась надежда: время, режим службы, он окончательно забудет о прошлом. Вернулся из армии, и, не объяснившись с ним, я поняла — он прячет от меня вторую жизнь… «Хоть бы нечасто, хоть бы как раньше», — молила судьбу. Ходил на студию, ездил с театром по городам… Еще не дошло до окончательной апатии. Спустя какое-то время я молила о другом: «На этот раз пауза длиннее, теперь уже, наверное, навсегда. Хоть бы навсегда…»

— Да, мама, всё! Сам себе противен…

Снова надежда — отдых душе. Жены пугались его «странных» дней и уходили. Тем более ни «мерседеса», ни «видюшника», ни светской жизни…

— Здравствуй! — эхом под сводами старинного коридора прозвучал знакомый голос.

— Здравствуй. — Привстав, взглянула на поздоровавшегося.

Это отец его пришел. Я закрыла лицо руками и разрыдалась.

Плакать на его плече не пристало: мы уже давным-давно не жили вместе. Как оказалось, ни на его плече, ни на своей подушке не выплачешься за всю оставшуюся жизнь…

Саша

Когда в теплую городскую квартиру втаскивают срубленную елку, в дом входят лес, небо, морозный воздух. Человек рад встретить Новый год возле наряженного чуда. Елочка смирно служит хозяевам. Ей, может быть, не нравится прикасаться к тюлевым занавескам и к полированной мебели, но она помалкивает. Вошедшая в дом зеленая красавица явилась от земли, дороги — оттуда, где начинается все и вся.

Вот так же откуда-то «оттуда», где лес, дорога, песни, колоски хлеба, явилась Саша Порогова и предстала перед экзаменационной комиссией актерского факультета Института кинематографии. «Не звали? А я тут», — словно хотела сказать. Дыхание не унять, волнение тоже. Будто от самого села Шураново бегом бежала.

С улыбкой готовая выполнить любое задание, Саша никак не могла справиться с волнением.

— Что вы будете читать, девушка?

— Читать? — изумленно спросила она. — Ничего!

— Как? Вы не подготовились?

— Ну…

— Приехали издалека…

— Да вы не переживайте!

— Вы хотите поступать на актерский факультет?

Глаза Саши загорелись, она ждала подсказки…

— Давайте я лучше спою вам!

— Спойте, — согласилась комиссия.

Саша обрадовалась, улыбнулась, обнажив белые ровные зубы, приподняла брови. Потом приложила ладонь к правой щеке и, чуть склонив голову, запела… Поначалу деликатно, зная, что ее голос тут не поместится, а потом — была не была! «Хас-Булат удалой, бедна сакля твоя…» Низкий тембр ее голоса всех заворожил. На второй песне неожиданно голос взмыл, она запела колоратурным сопрано.

Саша поправляла платье, чтоб вырез был в середине. Платье из темно-зеленого трикотажа, явно с чужого плеча. Поясочек «не отсюда», спереди завязан на бантик, подчеркивая тонкую талию, высокую грудь. Русые косы, собольи брови, дымчатые глаза. Красавица без косметики. Лицо подкрашено природой и

молодостью. «Вы слышали?», «Видели?», «Уму непостижимо!» — понеслось по институту.

«Может быть, пойдешь учиться петь?» — «Нет. Я сперва буду играть, а потом петь…» Горячо и старательно принялась учиться Саша по всем предметам, особенно по мастерству актера.

На актерском факультете есть любимые амплуа и нелюбимые. Саша скисала, когда нужно было надевать кринолины и в угоду программе быть светской дамой, да еще страдать, кричать и думать на «ихнем» языке. Отделавшись, она ныряла к своим героям. Бить кулаком по подошве ботинка, возмущаться тем, что простому человеку можно и ненастоящую кожу поставить, шепелявить и не выговаривать букву «р». На очередном экзамене комиссия валялась от смеха. Иногда вырывались краткие аплодисменты, что не разрешалось. А как в спектакле «Двадцать лет спустя» Михаила Светлова исполняла Тоську! Сцена с типографским наборщиком. Первый комсомольский журнал. Это очень красиво: «Ю-ный про-ле-та-рий», — поясняла она нараспев. Точным жестом показывала, каким должен быть заголовок.

Саша училась с душой, с полной отдачей. Радовалась, что не только в селе Шураново, но и в «Поднятой целине» и в «Молодой гвардии» — все люди, люди настоящие! Они могут и последним куском поделиться, и помочь, если надо, и спеть песню навзрыд.

«Саша, Саша! Потише, уймись!» — учили ее педагоги. А Саша уж если захохочет, то слышно далеко. «Ну и что? Дите с голосом родилось», — говорил преподаватель физкультуры. Она приложит ладонь ко рту и начинает смеяться тихо. А то, бывало, как прыснет, скривит лицо, так засмеются и те, которые даже не знали, в чем дело. Много ли надо тому, кто смешлив, и тому, кто хочет отвлечься от занятий! «Цытьте! — грозила пальцем Саша. — Ростя идет» (Ростислав Васильевич). По всем предметам у нее пятерки. Все прочитано, усвоено, но посмеяться — хлебом не корми! Мы просили пересказать тот или иной обязательный по общеобразовательной программе роман. Она садилась и рассказывала. Шли и сдавали экзамены, кто на тройку, а кто и на четверку. Сильный голос не соответствовал ее лирической внешности, шаловливости. Мы беспрестанно заводили ее в свободную аудиторию, просили спеть. Она не отказывала — пела и пела. Меня Саша полюбила, урывками заглядывала в нашу аудиторию и, подморгнув, вызывала в коридор на перерыв.

Никто из нас не был еще влюблен: так, поцеловывались с мальчишками по темным углам — и всё. Ребята с вечера дружбу предлагали, к утру мы им готовили ответы. Через сутки без обид и выяснений альянсы рушились. До серьезного дело не доходило

— зачем? И так хорошо. Главное — блеснуть по основному предмету, мастерству актера. И педагог похлопает по плечу, и мальчик какой-нибудь в столовую пригласит или место займет в просмотровом зале, где фильмы показывали по программе.

Саша как-то надела ветхое тряпье старухи и так произнесла монолог на экзамене, что до слез всех довела. Спектакль этот пошел в защиту диплома. Саша утвердилась в амплуа драматической актрисы. Ей нравился также спектакль «Гибель “Надежды”» Гейерманса. Играла рыбачку, которая вечно ждет своего мужа, братьев, отца.

— Вот тебе и иностранная пьеса.

— Ну и что?

— Ты ведь шарахаешься от всего иностранного.

— Это не иностранная. Это наша!

По предмету «художественное слово» педагог поручил ей парный отрывок из чеховской классики.

— Пускай другие про лужки орут! «Воловьи лужки наши, Воловьи лужки наши!» — завизжала Саша с гримасой избалованной невесты.

— Вон! — гаркнул педагог.

— Слава тебе господи!.. — Она послала воздушный поцелуй сидящим, а в коридоре заорала: — Шумел камыш, деревья гнулись…

Коса на камень…

Не простила Саша преподавателю по художественному слову, когда он предложил ей кусок из «Плача Ярославны».

— Нудно, мне не нравится.

— Поезжай в колхоз. Из тебя получится хороший бригадир.

— До хорошего бригадира надо еще покорячиться как следует… Поняли?

Потом с удовольствием надела дерюгу рыбачки и стала метаться по воображаемому берегу моря…

— Пороговой надо прочистить мозги! — заявил заведующий кафедрой. — Надо проработать ее на общефакультетском собрании.

Так и сделали.

Весь факультет явился на суд Пороговой.

— Видите ли, все ей дозволено!

Саша перепугалась. Опустила голову, слушает внимательно. Вынесли строгий выговор. Но прошло немного времени, и она уселась внизу в киоске сигареты продавать, газировку. Торговала в очередь со старым дедом Ваней. Тот отпускал ее на важные, по ее разумению, предметы.

— Что ты здесь делаешь, Саша? — изумился как-то педагог.

— Богатею, милые мои, кушать-то надо…

По двум спектаклям мы получили высокие оценки и были приняты в Театр киноактера. В театр-то нас взяли, а ролей — никаких, началась полоса застоя в нашей жизни. Саша как штык была с утра на репетиции, хоть и не занята в выпускаемых спектаклях: «Молодая гвардия», «Три солдата», «Машенька»… Решила самостоятельно приготовить роль Любки Шевцовой. Я мизансцены показываю, за всех персонажей подыгрываю. Ее работа понравилась, но… Ведь фильм уже был. Зритель, конечно, покупал билеты на нас — тех исполнителей, которых он знал по кино. Спектакль продолжал жизнь фильма «Молодая гвардия» при полных аншлагах. Новую Любу Шевцову зритель не очень-то жаловал.

И вот появляется в нашем театре знаменитый, талантливый режиссер Алексей Денисович Дикий, чтоб поставить спектакль по пьесе А. Н. Островского «Бедность не порок». Вывесили список назначенных на те или иные роли, и Саша, не увидев своей фамилии, выскочила вон, чтоб не показать своих слез. С издевкой над собой и судьбой она подала заявку на эпизодическую роль придурковатой старухи. Таким образом она нашла способ, чтоб внимать Островскому и Дикому. Репетиции для всех были чудом. Смотрели все — и не занятые в спектакле: «Островского хотя бы послушать, и то — радость». Саша зажглась спектаклем, влюбилась в Алексея Денисовича, а уж своей старухой уложила всех наповал. Придумала говорить низким голосом, сначала завывая, с протяжкой: «А-а-а», «а-га-а-а», — потом отмахивать рукой несуществующего проказника, который якобы норовил ухватить ее сзади или из-за пазухи что-то вытащить…

Островский не нарушался, а зал хохотал. «А-а-э-кхэ, кхэ», — и погрозит пальцем зрителям, когда те гудят от смеха. Постоит, посмотрит, подождет, пока утихнут… Иногда этот номер не проходил — гудели долго. Тогда она садилась за стол. Сидит, степенно чай из блюдечка пьет, пока другие актеры «берут зал на себя», но перед своей репликой заготавливает «вступительную» краску: как прыснет, заквакает, изображая смех, аж чертям тошно. Однажды вдруг замерла и стала глядеть не моргая на исполнителя главной роли. Актер растерялся, подумал, что реплику забыл… Тогда она внезапно схватила его за ботинок и, разогнувшись, снова смотрит на него. Зал реагировал бурно, актер ушел в глубь сцены, чтобы скрыть давящий его смех. Саша с удивлением и назиданием посмотрела на зал: дескать, в чем дело?

Боже сохрани, чтоб она помешала другим исполнителям или вышла за рамки спектакля. Режиссер одобрял эксперимент, и она

резвилась как хотела. А чего? У автора написано: придурковатая старушонка. Мы были приятной массовочкой — пели и танцевали в русских сарафанах вокруг невесты. Освободившись, поджидали Сашины проделки. Видавший виды Алексей Денисович Дикий смотрел на Сашу с изумлением. На ее выходки он не хохотал, как все, а, опустив глаза, размышлял. Наверное, о ее таланте. Но вот настал момент усомниться в отсутствии нечистой силы и проделок дьявола. Известный кинорежиссер, как это иногда делалось, прочитал сценарий будущего фильма. Режиссер — не бог: поначалу и растерян бывает, не знает, с чего начать. А наши «гуси-лебеди» нагогочут, налопочут — рождается атмосфера, жанр. Голодные к работе актеры и выслушают, и посоветуют, а то и предложат свою кандидатуру, хотя бы на эпизод. Наши режиссеры, правда, охотнее приглашали на новый фильм уже известных.

Начинались кинопробы. Ох, кинопробы! Это особая статья. Разрепетируешься, зажжешься, понапридумываешь, снимешься на пленку, а играть будет кто-то другой… По четвергам — худсовет. Смотрят, дымят, обсуждают и утверждают кого-то на роль.

Помню, дали мне в фильме «Возвращение Василия Бортникова» роль трактористки в эпизоде. Тут же с Кубани полетела режиссура от мамы: «Доченька! Ты как к трактору подойдешь, губы не кусай. Перебирай себе запчасти с деловым видом, чтоб было видно, что ты знаешь трактор как свои пять пальцев…»

И вот четверг. Пробы смотрят творцы с «Мосфильма». Саша беды не чуяла, была убеждена в том, что только она знает, какой должна быть ее героиня — Настя.

…И мы, и преподаватели вздохнули с облегчением, восхитившись точностью ее игры. Ассистент режиссера, искренне сожалея, как могла подобрала слова и сообщила Саше об утверждении известной актрисы Стрелковой на роль Насти. Оказывается, за два дня до злополучного четверга та изъявила желание попробоваться на эту роль. Мы сидели недалеко от театра и от дома режиссера в квартире учительницы по танцу. Саша накинула пальто, ступила ногами в мужские ботинки и в мороз с непокрытой головой побежала к дому режиссера. Взбежала на четвертый этаж и позвонила в дверь. Открыла жена режиссера. Саша повисла на ней, потом сползла на пол, крикнула:

— Вера Николаевна! Меня не утвердили! Пропала моя Настя! Загуби-и-ли, загубили Настю мою дорогую! — завыла она.

Конечно, по законам нашей студии на эту роль могла подать заявку любая киноактриса. А уж утвердят, не утвердят — зависит

от чувства и мастерства, знания сельского человека. Сыграть Настю плохо Саша не могла. Я не простила Стрелкову. Зачем влезла? Ни себе, ни людям. Фильм получился прескверный. И особенно дурно — Настя. Сугубо городская «кисейная барышня» перешла дорогу той, от которой расцвели бы и другие образы в фильме…

Переболела Саша не сразу. И в Дом кино мы не пошли на премьеру. Пусто было в зале. Смотрели позже в кинотеатре. Немного полегчало оттого, что фильм не получился.

— Она ровно девятилетнюю играет, — глядя перед собой, сказала равнодушно Саша. — А ей, поди, девятнадцать, а не девять.

— Бикса! — выругалась я.

— Тих, тих!

Саша не любила бранных слов и всегда стеснялась всяких вольностей. Один раз еще в институте, на занятиях по акробатике, педагог простодушно сделал замечание:

— Ты почему лифчик не носишь? Пора…

Саша обхватила грудь крест-накрест обеими руками, села на корточки и просидела весь урок с красными ушами.

Идет жизнь дальше. Приглашают к нам в театр режиссера на постановку комедии из сельской жизни. Пьеса о том, как колхозники готовятся к олимпиаде и как побеждают на ней. Масса песен, музыки и танцев, а также любовных историй. Саше поручили роль героини. Благодаря голосу она без труда опередила двух актрис, назначенных на эту же роль, и радостно вступила в бой за будущий спектакль. Роль — мечта! Режиссер первое время разевал рот и цепенел от неслыханного Сашиного голоса.

— Сашка, — шепчу ей, — опять эти пришли, в зале уселись.

«Эти» — специалисты, желающие пригласить Сашу на прослушивание в Большой театр.

— Бог с ними! Пусть сидят.

— Будете напевать, а не петь, — подбадривала она своих соперниц, — речитативчиком. Главное — сюжет, правильно?

Радостно улыбаясь, она предчувствовала жизнь на сцене своей полюбившейся героини. Девчонки втягивали головы в плечи, сомневаясь в себе, млели от Сашиного голоса и танцев, от всего, что она творила на сцене.

Порою, когда режиссер давал поблажку трепетно наблюдавшим девушкам, позволив им порепетировать на сцене, получалось очень неплохо. Они приятно напевали, хорошо двигались и танцевали. Обстановка была теплая и озорная. И вдруг в пустом зале появляется Стрелкова — актриса, которая

сыграла вместо Саши Настю. Села в кресло, не знаем, кем приглашенная, и стала наблюдать за репетицией. У Саши подкосились ноги.

— И голоса нет, и слон на ухо наступил, — безучастно выдохнула Стрелкова.

Дома Саша расплакалась: кто угодно, только не она! Конечно, у нас театр-студия. Актеры имеют право подавать заявки, тем более Стрелкова — актриса с положением. Подходя к театру, Саша, задыхаясь, слышала упорные звуки рояля и «речитативчик» репетирующей соперницы. Режиссер знал, конечно, кто поддерживает и рекомендует эту актрису «с положением». Она, напевая и пританцовывая, сделала роль неплохо. Неплохо! А Саша — гениально! Пошли репетиции в очередь. Кто будет играть премьеру? Узел туго стянулся в сердце Саши и в душах доброжелателей. Режиссер растерялся: руководство посоветовало считаться с заслугами Стрелковой. Сорвавшимся голосом он сообщил о возможности жребия. Наступила гробовая тишина. Скрутили трубочкой бумажки со словами «да» и «нет» и опустили в игровую шляпку. Саша вытащила «нет»… Шесть спектаклей должна сыграть Стрелкова, потом, как обычно, в очередь…

Ах, студенческое общежитие — душа моя! Какою интересною жизнью живет оно, не меняя сложившихся устоев и правил! Правила эти простые: где греется студент, где он общается, дружит, туда и идет на ночлег. Очаг! Гурт!

Освобождается от него общежитие не сразу. Уж и диплом, бывает, получит, а ноги сами идут к нагретому месту. Его никто и не прогоняет — он свой, привычный. Разберись, у кого диплом, а у кого еще нету Тем более идти некуда и незачем. Койку заняли — не беда! Свободная всегда найдется. Стоит шесть кроватей, шесть тумбочек. У каждого свой мирок. Помню, Маша Колчина с художественного факультета на последние копейки купит сто граммов хлеба, кусок сахару, «беломорину» и… ромашку. Утром гимнастика, обливание холодной водой, чай с хлебом, «беломорина» и ромашка в стакане на тумбочке.

Открывается дверь без стука.

— Залепухина Милка еще не пришла?

— Пришла. На кухне она. Садись. Ты откуда?

— С Рыбного!

Вот и всё. Познакомились.

Сновали и знакомые, и незнакомые. Бывало, уж и семья сложится, а завалиться в общежитие — святое дело. Благостно на душе.

А как никого не останется из своих, то пора и честь знать. Перестает тянуть в общежитие, да и становится неприлично

светиться там с незнакомыми.

Саша позже нас была лишена удовольствия появляться в общежитии. Ее учеба в музыкальном училище давала право на койку у девчат в комнате. Как-то звонит она мне по телефону и сообщает:

— Нонк, я в Большом театре…

— А что ты там делаешь?

— Распеваться сейчас буду. Может, подрулишь?

Раньше я не красилась. Как говорится, подпоясался — и вперед! Язык до Киева довел, отыскала концертный зал Большого театра и ахнула. Зал торжественный, любой голос примет… «Вы оперу любите?» — «Не знаю…»

Я впервые слушала неподвижно стоящего человека, из которого шел голос, исполняющий классическую партию. Мне казалось, что голос тут же сорвался бы, если б человек шевельнулся. Все подчинено голосу, его посылает неведомая сила. Подходят к роялю и будто помещают себя в кокон. Лицо захвачено звуком и смыслом пения.

Вот и Саша. Я такой ее никогда не видела. Это как бы ее другая жизнь, которую мы не знали. Она подошла к роялю, положила на него правую руку и с выражением «не обессудьте» сдвинула брови домиком, опустила очи и после паузы вывела первую музыкальную фразу: «А-а-ве Мари-и-я…» Шуберт. Хочется плакать…

Слышал этот зал за долгие годы многих. И вот — Саша. Акустика стала партнером красивого голоса. Певцам здесь привольно. Голос становится плотным и обворожительным. Сидящие вытянули шеи и стали внимать Сашиному голосу. Да, исполнила она что надо! По окончании выдержала паузу, потом ослабила позвоночник и сняла руку с рояля. Поклон был почти незаметен. Аплодировать нельзя, но по спинам было видно, с какой силой сразила слушателей Саша.

Она прошла первым номером, но не в Большой театр, а в число молодых музыкантов и певцов, отобранных для поездки в Лондон. Внизу, у выхода, мы, несколько друзей Саши, остановились, чтоб переварить случившееся.

— Пойдемте в общежитие! — предложила она.

— Пойдемте, — поддержала я, хоть знала, что дома на плите обед разогревается — сын и муж ждут. Ну да ладно!..

Уехала она в Лондон. Мы уже и призабыли, вдруг слышим — возвращается. Поехали встречать. Поезд подошел, молодежь загалдела: рукоплескания, радостные возгласы. Смотрю, Саша выставляет заморский чемодан из вагона и с озабоченным лицом ищет нас. Шепчет:

— Берите чемодан. Я приеду попозже.

— Попозже? Почему?

— Извините! — Симпатичный парень галантно взял Сашу под локоток, и они смешались с толпой на перроне.

Вот это номер! Сели в метро, инородным блеском светился огромный чемодан из натуральной кожи. Приз, наверное, там. Мы знали, что Саша получила «Гран-при». Разъехались по домам. Сколько ни созванивались, новостей никаких. Пришла Саша поздно, а утром тихо сказала девчонкам:

— Не знаю, где мне пожить. Затаскают: допросы только начинаются.

— Не выдумывай, здесь живи!

Потом мы узнали, что в Лондоне Сашу настоятельно приглашали в Королевскую оперу. Угрозы со стороны наших и посулы любых условий со стороны Лондона замучили ее. Кто-то из музыкантов советовал согласиться попеть вдоволь, заработать, кто-то отмалчивался, а кто и понимал, что дома неминуемо возмездие.

Мы до сих пор не знаем, что же тогда произошло. Сашу в Лондоне превратили в дорогой товар и стали драться за него. Она была в смятении. Кончилось дело тем, что за кулисами ее ждал «человек из наших». Саше купили билет на самолет, как и всей группе, но нашлись люди, которые спрятали Сашу, чтоб не дать ей улететь, остаться в Лондоне. Сейчас это уже отработано и не удивляет никого. Но в те времена — боже сохрани! Подумать о таком шаге не приходило в голову. Сообщали о Барышникове, Нуриеве как о выпавших в Бермудский треугольник. Хана!

Саша похудела, побледнела. Машинально захаживала в театр, ненадолго — и в общежитие. Допросы были каждодневны, следователи напористы, все выясняли: дала Саша согласие Лондону или нет? Мы недоумевали: разве можно так долго мытарить человека! Саша перестала вставать с кровати в общежитии. Машина приезжает, увозит ее — к вечеру привозит обратно.

Вдруг ранним утром звонок:

— Нонка, скорее! Саша умерла…

Оказывается, она ночью выпила полную бутылку уксусной эссенции, стала метаться, стонать. Девчонки включили свет, напугались, бросились помочь ей. Вдруг она, громко застонав, вскочила, подбежала к окну и выпрыгнула. Пятый этаж не убил ее. Бедняжка была еще жива несколько минут и успела с виноватой улыбкой произнести: «Скажите всем, что я согласилась в Лондоне попеть». Попросила простить ее и семье передать, написать на родину. Подъехала «скорая». Медбрат похлопал Сашу

по щекам, пощупал пульс…

— Конец, — сказал он. — На носилки, в машину!

Дверцу закрыли, уехали — и всё…

Замученная кровать, разобранная постель, тетради, книги, окно открытое… Она вылетела из него, как птица, оставив за собой след энергии жизни. Девушки онемели от ужаса, от незнания причины происшедшего. Испугались милицейского мундира, но одна из них, рыдая, осмелилась объяснить, как было дело…

Я поплелась к троллейбусной остановке. Сашки нету. Но осталась сердцевина ее — голос, талант, душа…

Суетится Москва и не знает, что на узкой улице Саша лежала еще теплая, унося с собой неоценимое богатство — дар показывать людей и воспевать их.

Истинно народный талант угас.

…За прошедшие годы я беспрестанно думала о талантах. На Тверском бульваре в Москве соорудили памятник прекрасному мальчику с чубом — Сергею Есенину. До чего он обласкан рукою скульптора, как свободно выставлено перед всем честным народом произведение искусства!

Появляется талант, и бросаются на него мечущиеся люди, облепляют своим вниманием и любопытством; крутятся, крутятся в его ауре, успокаиваются лишь тогда, когда найдут способ осадить, притушить вырвавшуюся личность молвой или действием.

Почему открытое полезное ископаемое ценят, радуются прибыли от него, а родившемуся таланту человека не радуются? Попользуйтесь! Испейте, обогатитесь! В развитых странах считают престижным признать талант — это как бы приобщиться к нему. Есть и искренние поклонники, знают, что появившийся источник полезен для здоровья души. У нас и для здоровья не берут.

Когда-то я, еще начинающая актриса, снималась на Алма-Атинской студии в фильме «Шторм». Снимал его Владимир Борисович Фейнберг, худенький прокуренный старик. Жил он на студии в отведенной ему комнате. В ней — тахта и гора книг. Был он одинок, много курил. А мы липли к нему, будто он медом был обмазан: не успев умыться и поесть после съемки, мчались к Владимиру Борисовичу. Это было интереснейшее времяпрепровождение: он рассказывал нам о прежней жизни, о своих давних друзьях. К примеру, о Сергее Есенине.

Наш режиссер был когда-то в свите известного поэта и находился возле него до последнего вечера, вернее ночи. Гибель Есенина, говорил Владимир Борисович, ясно и логично

свершилась по закону жизни. Он попал в капкан под названием «алкоголь вульгарис». Тут слились гениальность и доступность. Каждый, кому не лень, протягивал пальцы к золотым кудрям, бил свойски по плечу. В последнее время Есенин беспрестанно кричал свои стихи; роняя голову на стол, вздремнув, снова орал во всю мощь. Стали избегать его, не садиться за один с ним стол. Человек пошел в расход.

У Ильи Эренбурга в книге «Люди, годы, жизнь» рассказывается, как перед гибелью Есенин лихорадочно метался меж Ленинградом и Москвой и как они ночью сидели в сквере на лавочке, а Есенин сказал: «Какое прекрасное слово «покойник»! Покой… Как это хорошо — покой, покойник…»

Типичное разрушение нервной системы от роковой болезни. Да и не поклонники ли считали своим долгом угощать, подливать, услаждать своего кумира?

В мое время Сергей Гурзо, исполнивший роль Сергея Тюленина в фильме «Молодая гвардия», быстро стал всенародным любимцем. Когда он снимался в фильмах и жил по гостиницам разных городов, ему приходилось есть в буфетах, ресторанах. Неистовые поклонники протягивали и протягивали рюмочки, он морщился, надеялся, что завтра заживет по-другому. Но завтра вновь прибывшие почитатели восхищались им и подносили рюмку.

В конце своей короткой жизни Гурзо ходил между ресторанными столиками и ждал угощения…

А уж о Есенине и говорить нечего. Он втянул в себя всех и вся. Тут тебе и эгэпэушники, и завистливые литераторы.

Владимир Борисович был рядом с ним в последние дни: «Он должен был с собой что-то сделать… Он был уже невыносим ни для себя, ни для окружающих». В горячке повесился, прекратив свои мучения. Поэт был слаб физически. Веревка оборвалась, упал виском к батарее… Накройте простыней, исполните христианский долг: помолитесь, поплачьте о потере Гения для России. Нет! Копошня, «изыскания»…

До сих пор пыхтит на экране телевидения бригада по дознанию причин гибели Есенина. В который раз с придыханием что-то мерят сантиметром, смотрят на потолок, и, как обычно, передача заканчивается посмертной фотографией лежащего на кровати Есенина с вмятиной на лбу. Они, изыскатели, сопят, возятся — и который год ни с места!..

Сергей Есенин заболел неизлечимой болезнью и от нее умер. Рассмотрите его новый памятник, перечитайте его стихи, возгордитесь отечественным Гением…

А тот писатель, который сообщил нам, что в составе

советской делегации направляется в ЮНЕСКО, чтобы в конце концов отмести всякие сомнения по поводу того, кто истинный автор «Тихого Дона»? Помните, как вы вернулись и мы окружили вас, чтоб рассмотреть чудо-документ? Заключение ЮНЕСКО: считать Михаила Шолохова автором «Тихого Дона», автором шедевра. Да, шедевр неоспорим, как небо, солнце и земля.

Чего ж вы, дорогой писатель, все молчком да молчком? Показали бы документ по первой программе телевидения, опубликовали бы его в газетах. Наверное, в Союзе писателей «обмолвились», но писатели «порадовались» молча, без понту и шумихи…

Сейчас живет и здравствует идол, чудо, гений — Майкл Джексон. Короли мира ежегодно вручают почетный приз, считая его актером эры. Бедный мальчик, сколько он претерпел, чтоб воздействие своего таланта распространить на всю Землю!

Завистливые пустозвоны знай себе твердят: пластические операции, высветление кожи, пересадка носа…

Посетил долгожданный гость нашу страну — пошло, поехало: «Шея накрашена губной помадой, лицо закрывает, старый мальчик…» Он всегда шел к вам, дарил себя вам, оттого и терпел всевозможные манипуляции над собой, чтоб создать свой образ. Измеримы ли его труд, поиски, отдача? Он живет, сгорая. А «изыскатели» не дремлют — им подавай клюковки. Мучаются, сучат ножками, облачаются в одежды знатоков… Лишь бы хоть как-то быть с ним. Но с ним не будешь — гений недоступен, и по плечу ему только души людей. Никогда он не будет близок к поднаторевшим в бульварном стиле, к пошлой суете. Вдохновение не поддается описанию, да и не надо…

Часть V
Чай малиновый

Закадровые страсти-мордасти

Фестиваль «Киношок» в городе Анапа.

Одни наслаждаются морем, встречами со зрителями, болтовней с коллегами, другие из любопытства впиваются в экран, смотрят рекомендованные фильмы или так называемые свои, где сам участвовал.

Самые главные люди — это члены жюри. Мы их называем героями, потому что с утра до заката солнца они должны честно, без отлынивания просмотреть четыре-пять фильмов. Они и едят отдельно от нас, и в море купаются отдельно, потому что не дай бог раскрыть тайну дискуссий о фильмах до момента награждения. Куда там!.. Все равно просачивается. С середины фестиваля уже витают ориентиры, намеки и собственные предположения.

Люди — навсегда дети. Ну, ты ему хоть эскимо на палочке дай, но отметь, поощри, выдели… И вот кувыркались, кувыркались разные фильмы на экране фестиваля, да и смело их прочь из решающей битвы за призы. В финал выходят две картины: «Барышня-крестьянка» по А. С. Пушкину режиссера Алексея Сахарова и «Ширли-мырли» Владимира Меньшова.

Наблюдать за финалистами было одно удовольствие!

Сахаров, тучный, добрый, с влажным лбом, все курил и курил, ходил и ходил по коридору неподалеку от просмотрового зала. (За дверью шла азартная игра — просмотр фильма при полном аншлаге.) Смолоду мечтал похудеть — и никак! Так и остался милый «бегемотик» — медлительный, вежливый и очень талантливый. Я у него снималась в фильме «Случай с Полыниным» — именины души! Знает и свою профессию, и жизнь, и людей. К примеру, привез он съемочную группу аж в Сибирь. Фильм этот был у него первый по счету. И вот первый съемочный день, знакомство с коллективом, и надо не ударить в грязь лицом при первой разводке кадра. Кругом заснеженные кедры и непроходимые сугробы. «Светики» и «технари» ждут, куда волочить нешутейную по величине и весу «амуницию». Леша и так, и так объясняет оператору, возле какого кедра обосновываться. Оператор смотрел-смотрел на красавцев кедрачей и не понимал, какой из них тот самый. Леша оглянулся, пошарил глазами, увидел спасительный плотницкий топорик и

запустил его вперед. Топорик пролетел метров восемьдесят и воткнулся в ствол дерева.

— Видишь? — Белозубый Леша, с красным от мороза лицом, улыбнулся.

Съемочная группа восхитилась его мастерством. Зауважала. Познакомились… Личный пример — это сила, это основа.

Вот и сейчас на фестивале Алексей Сахаров личным примером призвал наконец бросить всяческую бузу, мутившую в последние годы киноискусство. Он выставил фильм, на котором мы будто испили ключевой воды, надышались свежим воздухом, напитались чем-то нашим, родным.

После просмотра облепили его с поздравлениями. Сенсация! Леша, взволнованный, оглядывал всех с благодарностью. Коллеги признали и поняли: блестящий фильм! Я расплакалась.

Растеплился фестиваль. На обеде обнимали создателя фильма. Те места за столом, где сидели режиссеры картин о «сексе с трупом», были пусты. Об этих не будем.

Назавтра выставлялась картина Владимира Меньшова «Ширли-мырли».

Прочитав сценарий, я отказалась сниматься. Еще бы! Володя сказал, что роли нет, но я должна прийти и «привнести».

— Да не привнесется, Володя! Если нет, на чем привносить…

— Ну, ты… сможешь. Заплатим хорошо…

Я замолчала в раздумье. Таких денег, как обещал Меньшов, я в то время и в руках никогда не держала: перестройка шла, денег вечно ни на что не хватало, талоны появились…

— Согласна?

— Согласна.

Ну ничего! «Пропутаню». Бочком, бочком, незаметненько и отработаю. На съемках всячески увиливала от кинокамеры, потому что артисту необходима конкретность в действии. А этого нема! Меньшов — настырный: то рюмку даст подержать, то велит станцевать с «послом». Хорошо, что спиною. И набралось «гениальной» игры — не нужной ни мне, ни зрителю. Особенно торт, брошенный мне в лицо…

Три миллиона отсчитали и разошлись по-хорошему. Больше никогда не буду сниматься за деньги!

Остальные работали с душою, каждому было что играть. И вот Анапа, фестиваль. Володя на просмотр не явился. Его видели купающимся в море в одиночку, потом отдельно от всех на ужине. Несмотря на аншлаг в просмотровом зале и на успех в Москве в кинотеатре «Россия», он знал, что после фильмов «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит» планка успеха резко упадет вниз. Так и вышло: «Ширли-мырли» кинематографисты приняли

спокойно и тихо. «Барышня-крестьянка» смела с пути и этот фильм.

Видим, Меньшов является к обеду, ужину один, ни с кем не общается… Обиделся! Как мальчик — обиделся… На рейде стояли корабли. Моряки с удовольствием приглашали к себе на творческую встречу тех, кто свободен. Володя деловито уходил к машине, присланной за ним, к вечеру возвращался. Морякам до лампочки оценки фестивалей! Главное — увидеться с известным актером и режиссером. Однажды Володя приходит к обеду, держа в руках подарок — бескозырку. Слегка просветлело лицо «поверженного героя».

Когда улетали, он с благоговением поставил в проходе самолета спортивную сумку, в которой сверху лежала бескозырка. Через проход возле сумки сидела я. Мы разговорились с ним и с его соседкой по креслу Инной Макаровой. Инна защебетала что-то о необходимости выпить водки. Чего там говорить, все побаиваются летать на самолете, а рюмочка-другая снимает страх. И правда — выпили, осмелели. Набрали высоту, табло погасло. Вижу, как протискивает себя между креслами Леша Сахаров. Он, наверное, вспомнил мои восторженные слезы, когда я поздравляла его с картиной, и решил потолковать обстоятельно. Он дошел до меня, неся две рюмки водки, как в светском собрании. Неторопливо уселся на сумку с бескозыркой и подал мне выпить. Мы чокнулись, выпили, я увидела, что Леше хорошо. Он приготовился к долгому разговору со мной. Тем более давно не виделись. Друзья все же.

— Леша! — закричал Володя Меньшов. — Леша! Встань, встань! Ты сел на мою сумку!

Он взял его двумя руками за локти, но куда там! Леша блаженно курил сигарету, затянулся дымком и приступил к беседе. Володя, негодуя, попытался поднять его, но центнер не поднимешь, тем более «расслабленный» центнер…

Тут Володя сбивает его собою вбок, Леша не замечает, как оказывается на ковровой дорожке, и продолжает беседу. В гневе Володя, чуть не плача, берет в руки искореженный подарок. Мнет его, выпрямляет, но тщетно — бескозырочки не стало. Сел, уперся лбом в иллюминатор, так до посадки в Москве ни разу и не повернул лица в салон.

Неподалеку сидел маститый, богатый и славный актер театра. Я смотрела на него: важный стал, тихий, степенный, семейный. А раньше бывало — разлетайтесь кто куда! Чуть что — в драку. Из Сибири приехал, когда и рюмочку примет, а когда и вторую. Большой, мускулистый красавец шахтер встал перед экзаменационной комиссией да как крикнет, расставив руки: «Не

шуми, мати зеленая дубравушка, не мешай мне, добру молодцу, думу думати!» Талант пришел, человек из народа пришел, от самой русской земли… Весь женский род задохнулся: выбирай любую! А ему только роли учить да книги читать в общежитии, по всем предметам сплошные пятерки. На семестровый экзамен Сталина сыграл. Еще больше тогда актер славился, если вождя сыграет. А он — и Кирова, и дядю Ваню, и Эзопа. Уж так внимательно слушал режиссера — хоть в кино, хоть в театре. Сам такой буйный, неуемный — в ролях, а в жизни — мягкий, нежный и… суровый.

Явление в искусстве становится известным еще на корню, то есть еще во время учебы. Разные театры и студии приглашали его в штат, а он не мычит, не телится, будто что-то задумал. А задумал не он. Задумала зазноба из Харитоньевского переулка. Красивая, чопорная однокурсница, обиженная актерскою судьбою. Таланта в ней ни на копеечку. Она металась, искала себе применение, но… Один раз даже Надежду Крупскую пыталась сыграть в учебном спектакле о революции — не получилось. Хотели отчислить за профнепригодность, но она вступила в партию, и ее оставили учиться до конца. Дальше задача была полегче — приручить этого шахтера в штопаном свитере и кирзовых сапогах. Стали они иногда исчезать и жить на ее барской двухэтажной даче. Машина «форд» привозила и увозила их. Он ничего такого сроду не видел. Не заметил, как оказался в золотой клетке. Что делать?! Захотелось на волю. Бросился в общежитие, к своим. Наварил картошки, бутылку поставил и пригласил ребят «на возвращение». Уж так баловался с ребятами, так щекотал девчушек — любо-дорого.

Но ненадолго вернулся. Началась игра — перетягивание каната. Один раз даже ее мамаша пожаловала за ним на машине. Он опять поддался комфорту, отмылся хорошенько, отъелся, отпился, а в понедельник утром — «по-над забором, по-над забором — и до Колчака». От этого перетягивания каната защищался только неистовой работой в театре и в кино. Вскоре стали вручать ему ордена, звания, вплоть до Ленинской премии. Отменный актер и сейчас. Я с ним не раз снималась в разных фильмах, у нас до сих пор приятельские отношения.

Привезут, бывало, его на съемку, а он ляжет на траву и, глядя в небо, как заорет: «Ой, девчата! Ой, как с вами хорошо! Вы, как картошка, никогда не надоедите!» Однажды после такого вступления помолчал, потом тихо сказал: «Тяжело мне живется… Ну я когда-нибудь расскажу…» Вдруг вскочил как ошпаренный, красный как рак, и закричал на весь лес:

— Сейчас вот Леньке проспорил бутылку — не на что купить!

Не на что! Меня из дому выпускают с рублем, не верите? Правда. У нас целый дом фарцы всякой, спекулянтов… Только и слышишь: «Шуба, сервиз, ковер, дубовый паркет…» И никто никогда не спросит: «Не тяжело ли тебе играть главные роли в кино, в театре?» И на ра-ди-о теща не рекомендует отказываться!.. Валидол сую в рот… Вот только с вами и отдохнешь… Втянулся я… Она баба неплохая, но больно клетка золотая… С вами лучше…

Приезжаю я как-то в Касимов на съемки, останавливаюсь в Доме крестьянина, бывшей церкви, глядь — старинной массивной ручки на двери уже нет.

— Да тута ваш артист был, ручищи большие, сильные… Он ее и свернул… Два мешка церковной лепнины набрал. Сказал — для дачи. А мне что? Церква заброшенная. Все растаскали… Не охраняется.

Догадалась я, о ком речь. Значит, свыкся окончательно с золотой клеткой.

Так он и ужился с женой, сделался солидный, важный. Преподает, ставит спектакли. И вот заворачивается грандиозный фильм. Орава известных актеров приглашена со всей страны. Он на самую главную роль.

Для съемок выехали в экспедицию, расположились среди русских красот средней полосы.

Утром за завтраком появляется буфетчица. Модно одета и накрашена. Игриво облизывает губы, спрашивает: «Что прикажете?» Посмотрела завлекающим взглядом на нашего героя: «Ой, какой вы!» Покраснела, прикусила пухлые губки.

— О-те-то-да-а! — оценила ситуацию пожилая, с юмором актриса. — Откуда вы, такой пончик? Как вас зовут?

— Ничего особенного, Зина. — И залилась звонким смехом: — Зин, поди-ка в магазин! Ха-ха-ха!

— А выпить у вас есть? — спросил он.

— Для вас любой каприз! Ха-ха-ха!

Съемочная группа насторожилась, зная об очень редких, но метких запоях маэстро. Пропустили момент, когда буфетчица Зина и маститый артист с корнем были вырваны из земли и похищены неведомой силой. Паника. В мегафоне звучит призыв искать. Облазили все улицы и дворы деревни. Вдруг в один из вечеров главный «сыщик» — помреж, глядя на компас, уверенно сообщил: последний раз его видели ночью, когда он перебегал шоссе, а потом махнул мимо пахоты.

Режиссер тяжело дышал, глядя себе под ноги. Каждый день простоя стоил больших денег…

— Чего вы ищете? — спросила проходившая мимо бабка с

ведром. — Артиста?

— Да! Где он?

— Где она, там и он, — ответила бабка и рукой указала на окна избы.

В избе на столе натюрморт длительного запоя. Укрытые тонкой простыней, гуляки спят крепко…

К вечеру примчалась жена, подогрела воду, помыла своего амурчика мочалкой с мылом. Поди ж ты! Талантливый, бурный в разговорах, интересный и остроумный, он при виде жены моментально затих. Ничего из себя не представляющая жена убедила муженька, что тот Богу должен молиться за подарок в лице супруги. Это она снизошла до него, подарила себя ему.

Съемки идут. Жена сидит под деревом, от мух отмахивается, а Зинка в купальнике загорает неподалеку. Вдруг наш ненаглядный наклонился над плотницкими инструментами, собрал в кулак штук шесть гвоздей-двухсоток, засунул за ремень молоток, деликатно взял свою супругу под руку и повел на второй этаж дачи, где они квартировали.

Слышатся мощные удары молотка, потом наш герой спускается и кивком головы подает Зинке знак к отходу.

— Дорогой! — кричит режиссер.

— Креста у тебя на животе нету, — отвечает ему «дорогой» и тает с Зинкой в зарослях.

Что за фокус? Оказывается, жена заперта на втором этаже — вернее, замурована за забитой дверью, а нашему герою — несколько часов свободы от всего и всех…

А между тем Москва свои жернова крутила. Как-то зазвонил телефон.

— Нонночка! Наш кинотеатр «Космос» устраивает юбилейный вечер, творческий отчет героя вашего фильма.

— Отлично… А я при чем?

— Ну как же! Вы в стольких фильмах с ним встречались! Расскажете, вы можете…

— Хорошо, я согласна.

Времени было еще достаточно, но дама из кинотеатра дергала меня чуть ли не каждый день, да и не только меня — всех почти из нашей съемочной группы.

— Раз сказала — буду.

И вот по закону подлости ближе к юбилейному вечеру ненаглядный наш и канул со съемок с буфетчицей.

Я ничего не знаю, продумываю, что надеть, как выглядеть хорошо, что сказать…

В назначенный день долгожданный звонок.

— Нонна Викторовна, мы вышлем вам машину к семнадцати

часам, начало в восемнадцать.

Выхожу, сажусь, еду… Водитель молчит. Чувствую, витает напряженка. Подъезжаем. У входа стоит бледный, словно мелом припудренный, наш администратор Эдик.

— Что с тобой? Ты болен?

— Хуже.

— Юбилей-то будет?

— Обязательно, но… без юбиляра.

Мы переглянулись с пришедшими актерами… Стали думать.

— Ну, Нонна, что вы, не выкрутитесь? Такая бригада!.. Я предлагаю так: все выходим на сцену, аплодируем и садимся на стулья под экраном. Вы по очереди будете рассказывать о нем все, что только можно. Шалевич пусть как от театралов начинает, а ты — как от киноактеров. Я за это время съезжу в Монино на съемки и упаду в ноги режиссеру, чтоб отпустил его на вечер.

— А почему так уж падать? Всегда отпускают. Что мы его, съедим, что ли?

— Вы же знаете, какой режиссер вредный! Он никогда не отпускает актеров из экспедиции, кроме как на спектакль. Ладно, ребята, я поехал, а вы начинайте.

Первый выступающий задал стиль неспешной дружеской беседы. Из кабинета администратора несло винегретиком и жареным луком…

— Ничего, выкрутимся!

Выходили мы друг за дружкой, говорили, говорили. Зритель доволен, слушает, аплодирует. Мы и по второму разу подходим к микрофону. И когда вконец обалдели, я как раз стояла у микрофона, слышу: сзади стул скрипнул, — обернулась. Эдик садится. Я выразительно глянула: «Ну как?» Он отрицательно покачал головой: «Не отпустил».

Потом Эдик встал рядом со мной, зааплодировал, зал тоже… И сказал:

— Дорогие зрители, съемки закончились, актер переодевается — и сразу к вам. А чтоб время зря не проходило — сделаем небольшой перерыв и покажем вам двухсерийный фильм с участием нашего героя.

Публика вышла в фойе, а мы — к винегрету. Кончился перерыв, и Эдик попросил меня объявить фильм.

— Ой, я боюсь! Мне кажется, они стащат с меня юбку и начнут лупасить за обман.

Выхожу на сцену, а зрителей-то всего человек пятнадцать осталось, а ведь был полный зал. Может, обман почуяли, а может, просто утром рано на работу, да и всегда в Москве с транспортом проблемы…

Разные характеры и всякие ситуации бывают в кино. Он, актер, потом и сам мучается, стыдится своего поступка. Зато как отлетит в дали дальние, в думы творческие, то и не вспомнит ни о каком таком случае, и люди радуются, глядя на экран или на сцену: он ли это? Откуда такой талант в человеке? Актер рождается с запасом на бесконечное сострадание, на крайности в поступках своих и постоянную надежду. Актер не копит свои силы, не думает о безбожном расточении себя.

Наше орудие производства — душа, анализ, поиски живой крови, искренности и многого не видимого никому. Со стороны незаметно, но «прижигание» души временами бывает нестерпимо жарким. Вот и ответь тут зрителю, как мы работаем в кино. Ведь все равно, рассказывая о съемках, актер будет крутиться вокруг да около, потому что передать лепку роли, проследить за каждой стадией ее развития он не сумеет. Процесс актерской работы непоэтичен и неромантичен. Это грызня, споры, поиски и попытки и снова попытки, то есть дубли. Много дублей. Попадание в яблочко — радость, восторг всей съемочной группы. Но это яблочко нарабатываешь иногда целую смену. Я не говорю о кинематографе, скатившемся к бессмыслице, когда легкой походкой ходят актеры, лежит на раскладушке под зонтиком режиссер, примитивный текст сам выговаривается, что над ним суетиться… Режиссеру остается только уловить момент, когда высказать свое резюме: «Ну что, ребятки, отстрелялись?» Потягушечки, сладкий зевок — и к машине. Дело сделано. Но зато с какими значительными лицами они, сидя рядом с вождями, слезно просят деньги на высокое и нужное народу дело — искусство кино. И таким — дают деньги.

Так вот, те фильмы, что десятки лет не стареют, не обесцвечиваются и волнуют и по сию пору весь мир, снимаются не так.

Надо подобраться к нам вплотную во время споров, репетиций, взглянуть в наши глаза и увидеть, как в такт сердцу бьется кончик воротника режиссера и как трудно дышать актеру, так трудно, что вопль вырывается наружу.

Торт

Помню, ездила я по Сибири с творческими вечерами. Машина теплая, водитель, Иван Герасимович, упорный такой. Гололед не гололед — гонит с любой скоростью. Надо поспеть. Люди ждут. Неразговорчивый: налег на руль — и вперед. Я все же сумела разузнать, что у него пятеро детей, живут в маленьком поселке, жена валенки катает на фабрике, а дети любят рисовать. В каком-

то городе накупила цветных карандашей и альбомов для рисования. Купила не от щедрости, а от воспоминаний детства. Собственно, и вспоминать-то нечего: этого добра у нас в детстве не было. Когда уже в старшие классы пошли, и то уроки писали на ненужных книгах между строк… Я покупала все это и представляла онемение детишек при виде альбомов и цветных карандашей.

Потом заехали мы на какую-то ферму. Я раздухарилась, выступаю, народ доволен. Перед дорогой не только ужин был, но и убийственный подарок. Сначала гром аплодисментов, потом вижу: дом едет на колесиках размером с собачью будку. А это не будка, а огромный торт-теремок. Вот это да!

Водитель с каким-то дяденькой хорошенько пристроили торт на багажник на крыше. Мчимся дальше. Я сперва сама мозговала свою мысль, а потом и Ивану Герасимовичу сообщила: решила вашим детям торт подарить. Во радости будет — на всю жизнь!

— Да что вы, Нина Викторовна…

Я не поправляла его, потому что он не знал, что, кроме Нины, есть еще и Нонна.

— Не о чем говорить! Завезем торт детям.

— Спасибо, спасибо…

— Обрадуются?

— О! Не то слово!

Ну вот отлично. Опять я не из щедрости. Я не знаю, что такое щедрость и скупость. Представилось мне чудо чудное — въезжает дом, а его можно есть. Когда я маленькая была, то мечтала, чтоб скамейка или кадушка была из конфет. Укусил и дальше пошел…

Вот и закончились мои гастроли. Вздохнула с облегчением, приустала я за восемь дней. Подъезжаем к вокзалу. Провожающих немного, но есть. И из местных руководителей, и просто зрителей. Обычная вокзальная суета, размещение по купе. Сердце екнуло: не забыть бы проститься с Иваном Герасимовичем.

Поезд цокнул колесами и тихо начал двигаться… Я увидела машущую руку своего водителя и то, как он спускался по лестнице в темноту. Крикнула ему что-то на прощание. Чую, неспокойно у меня на душе. Поезд маленько ускоряет ход. Вспомнила: торт!

— Стойте! Стойте! — кричу во все горло.

Проводница с недоумением взглянула на меня.

— Миленькая, остановите! Он забыл… Понимаете, торт для детей забыл.

— Не могу, дорогая, не могу.

— Остановите!

— Не хулиганьте! Думаете, если артистка, то вам все можно?

Из купе высунулись люди.

Я побежала к стоп-крану, дернула рукоятку вниз, а сама спрыгнула на ходу на заснеженный кустарник. Тапочка по пути слетела с ноги — черт с ней! Вижу, Иван Герасимович протирает стекла машины.

— Ива-а-ан Гера-симович!

Он выпрямился, пшикнули тормоза всего состава, а я, едва дыша, ругаюсь:

— Ну как же вы забыли торт?!

— Я не забыл… Неловко было без вашей команды.

— Так бы и уехали? Поезд стоит…

— Быстрей в машину! — скомандовал он. — Простыть в наших краях ничего не стоит.

Я юркнула на сиденье рядом с ним, и мы поехали к моему вагону

Несколько железнодорожных фуражек появились возле вагона. Как могла, ерничала, умоляла, просила. Иван Герасимович вошел в вагон и попросил помочь вынести торт на перрон. Фу-у! Вот теперь до свидания… «Так это такой торт?!» Я только молча кивнула. Душа начала успокаиваться, но ни одна дверь не открылась, никто не пригласил на чай. Проводница и та успела сообщить: «Чай будет утром».

Слышу: «Что хотят, то и делают», «Ну, это же Мордюкова», «Самолет остановит», «А что ей!», «Такие торты получать!». Я поменялась местом с одной дамой, чтоб укрыться на верхней полке. Укуталась одеялом и стала «думу думати». Представила, как дети раскроют глазки, им будет непонятно, что калитку от заборчика можно положить на тарелку и съесть.

«Дающая рука не скудеет», — гласит мудрость. Насчет отдать, подарить, помочь — это я всегда готова. Наверное, и дающая душа не скудеет. Уж так хочется до донышка выложиться в каждой роли, чтоб аж подрумянилась, как хлеб… Тогда и подавай зрителю.

Колеса поезда мягко постукивают, а я взялась похваливать себя, чтоб снять неприятный осадок («Такая да растакая эта Мордюкова!»). «Да, — говорю себе. — Ей все можно! Остановила поезд, видите ли…»

Ну, не выходить же мне в коридор и не сообщать всем, что детям торт подарить хотела, радость доставить…

Я еще и не то могу… Знали бы вы, как прекрасный режиссер Григорий Чухрай («Баллада о солдате», «Чистое небо») приступал к фильму «Трясина». Сколько актеров мечтали в нем сняться! Сценарий, роли заворожили всех. Жанр — трагедия. Ну, сначала, как обычно, кинопробы. Режиссер пригласил на них шестьдесят

актрис. Но даже репетиции и пробы были интересны. Старались, искали, находили. Лишь Людмила Гурченко посчитала это унижением и добровольно вышла из «очереди». Да еще одна актриса, боевая, физически сильная, додумалась пойти к жене Чухрая, пыталась убедить ее в том, что была не в форме и поэтому сыграла на кинопробе плохо. От этого Григорий Наумович остыл к ней окончательно и вычеркнул из претенденток. Семь раз я играла самые трудные, самые драматические эпизоды. Как-то не выдержала и заныла:

— Я не доведу, не дойду, больше не могу…

Так горько рыдала в темном павильоне, что чуть не потеряла сознание.

— Дойдете! Кто другой не дойдет, но только не вы…

С театром мы поехали на гастроли. И от синего моря и красот юга дважды приходилось выезжать по телеграмме в Москву на пробы.

«Опять к Чухраю?! Он сошел с ума», — сказал на проходной студии редактор Карен. А я сдаваться не хочу. Вдруг?! Меня вся группа жалеет, обещает — скоро конец, мол, пробам.

И вот однажды — я стирать собиралась — звонок. Мыльной рукой взяла телефонную трубку: меня утвердили на главную роль.

Машинально подошла к ванне с замоченным бельем, села на табуретку. «Ну, вот, — сказала я себе. — Победила!»

Дурка

Ой, чай малиновый,
Один раз наливанный,
Один раз наливанный,
А семь раз выпиванный…

Ой, чай малиновый! Хорошо тому, кто родился в капусте… Тихий, добрый хутор. Трудовой народ нажарился за день на солнце, накрутился в поле досыта. Ночь пришла. Угомонились, млеют в постелях. Глаза закрыты, думу думают, «убаюкалку» поджидают. Вот она уже слышна. Знакомый сипатый голос приближается и мурлычет из года в год одно и то же четверостишие. Это блаженный Коля-Портартур. Появился он здесь с незапамятных времен, как и хутор. Люди уважают Колю — боязно брать на себя право оценивать тайны внутреннего мира нормой привычного типа человека. Всех устраивает его простая сущность, в которой только и есть что послушание, беззащитность, трудолюбие и всегдашнее ожидание поозоровать с

детишками.

— Коля-я-я! Скажи «Порт-Артур»!

— Па-та-туи! — счастливо выкрикивает он, предварительно поставив ведра с водой на землю.

— Покатай, Коля (на плечах)!

Он выставляет указательный палец и отвечает: «Ни-изь-ля! Ни-изь-ля!» Дескать, дело на безделье менять нельзя.

Наутро хутор как мертвый — все до единого в поле: страда. Пекло, тишина. Мне девять лет. Я посажена мамой встретить самый-пресамый дорогой груз…

«Не пропущу, мамочка! Я тебя люблю, и то, что везут, мне тоже позарез нужно. Я тут, у хаты. Я жду!» Сижу не шелохнусь, позволяю себе только кусачую муху отогнать. Вижу лишь ту часть дороги, что ныряет вниз… Наконец-то с провального места повалила пылюка! Я вскочила, прыгаю. Дядя Ваня с деревянной ногой толкает впереди себя двухколесную повозку, а на ней поперек что-то продолговатое. Будь она неладна, эта пыль, стоит на месте и не дает как следует увидеть обнову. Вижу наконец прилипшую к мокрому телу майку и качающегося от хромоты человека и понимаю: поперек повозки лежит шифоньерка!

— Шифоньерка! — кричу я.

Дядя Ваня заводит повозку во двор и ставит красавицу в тень под яблоню. Обтирает пыль, достает рисунчатый гребешок и надевает наверх. В гребешке выжжен кораблик.

— Ну вот, Петровна попросила… Сама и рисунок составила.

— Мама не составила рисунок! Она срисовала у Кукаречихи в городе!

Дядя Ваня набрал воды ковшиком из кадушки и, припав к ковшу, замер. Высосал весь ковшик, крякнул, сел в тень и стал крутить цигарку. Я вынесла из хаты железную коробочку из-под зубного порошка. На ней негр смеялся большими белыми зубами. Мама любила чистить зубы щеточкой.

— Вот вам деньги. Мама наказала взять сколько надо.

Он достал все деньги из коробочки, потом часть из них взял, а остальные положил на место.

— На, поставь куда следует… На что оно, такое высокое?

Как в городе! Мама сказала: «У нас будет шифоньерка. Как в го-ро-де!»

Отец по ее просьбе поставил обнову углом, как икону, и от нее мама протянула к двери домотканую дорожку. Жизнь стала интереснее. И вставалось утром, и ходилось как-то по-новому: глянешь на шифоньерку — и сердце радуется. Мы стали другие — по хате дух богатства и красоты стал летать. Первые дни я и из дому не хотела выходить, потом привыкла, стала бросать

шифоньерку и бегать с детьми на край села.

— Е-е-дут, е-дут!

Мы наперегонки. Это на арбах наши мамы с песнями возвращаются с работы. У каждой в торбе засохшие крошки хлеба. Считалось — от зайчика. Мы верили и уплетали с радостью — как же, от зайчика! В сельпо дети не ходили, потому что деньги нам еще не давали. Конфет ни у кого никогда не было, вместо них стояла патока на прилавке…

И на тебе — попадаем в сельпо! В нем не сразу приморгаешься. Окон нету — лампа керосиновая висит, да двери здоровенные разведены по сторонам. А приглядишься, тут и увидишь: хомуты, сбруи, коромысла, платки, материя, бусы. Поправей — соль, уксус и пряники.

Вдруг в раскрытую настежь дверь заглянуло солнце. Я испугалась, слезы подступили к горлу… Ой, боже ж ты мой! Откуда оно, это чудо? Висит и светится синим-пресиним огнем!.. Это матросочка из такой материи, как у мамы платье, кашемировое, праздничное. Юбочка в крупную складку, кофточка с флотским воротником. Манжеты и воротник окантованы белой и красной тесьмой. По синему полю да по шерсти шелк белый и синий. И главное — белая тесьма с палец шириной и рядом красная, как узкая соломка!.. Тут солнце зашло за двери, шумно стало в сельпо, предметы попрятались, но матросочка светилась синим фосфором, сопротивляясь темноте.

Тут и началась моя никому не известная трагическая жизнь. «Мамочка, были б мы с тобой счастливые люди, если б матросочку купили…» Я стала каждый день захаживать в сельпо, чтоб проверить: не купил ли кто? А может, это как пояснение для людей — учитесь шить?

Сидим ли мы в канаве, купаемся ли в реке — где только нас не носит! — матроска не отпускает мою душу. Залезли как-то на высокую грушу. Жара. Двор пустой. Листья шлепают зеленым глянцем. Одинокая бабка спряталась от жары в хату да и прилегла. Мы — с дерева вниз. Откушали огурчика, увидели печку, на ней чугунок. Подползли по-пластунски, жменями подчерпнули похлебки — не понравилось: сильно рыбная. А «сторож», собака Шарик, вот-вот сдохнет, но раз среди людей, то еще живой. (Это мы таращим глаза, орем, требуем помощи, когда нам плохо, а собаки уходят с глаз долой, пропадают безвозвратно.) Ох, Шарик, Шарик… Кости местами оголились, шерсть вытерлась. Хочет залаять, а получается «пук». Посмотрит в сторону хвоста и вздохнет печально. Большой, нескладный, из последних сил пытается встать, чтоб оправдать роль сторожа. Вынимает из-под себя одну лапу — кость, потом вторую; мордой

по земле мажет, стараясь ее приподнять. С великими муками встает на все четыре лапы и хах, хах — тут же падает.

Перед сном жалко стало Шарика, и мама отвлекла меня хорошим, родным голосом. «Эх, не успела заснуть», — посетовала я. Сейчас поставит мои ноги в таз с холодной водой. «Ножки мои, ножки, и кому ж вы только достались?» Я канючу, зеваю, вскрикиваю, когда она ногтем больного места коснется. Падаю, погружаюсь в глубокий сон, а мамочка еще вытирает мои непутевые ноги.

Наступает утро, пахнет молоком, оладьями и зубным порошком.

— Дочка, вставай, поедем в степь. Там начальство из района будет, сделаем маленький концертик. Ты закончишь.

— Ой, мама, мамочка! — вскочила я.

— Шо таке? — напугалась она.

— Мама, я поеду в степь… но, мамочка, сперва в наше сельпо зайдем.

— А чего мы там не видали? Ну, зайдем, все одно мимо.

— Тетя Ася, — кричу я, — открывайте двери!

— Шось горыть?! Чи шо? — отзывается продавщица.

Мы заходим. Матросочка на месте. Вроде туманом взялась, живая…

— Мама, бачишь?

— Бачу, дочка.

Мама услышала от меня просьбу такого рода впервые. Она спокойно оглядела матросочку и попросила продавщицу подать ее.

— Дорого, Петровна. Дуже дорого, як за платье на здорову людыну.

Мама неторопливо взяла мою мечту, понюхала, отставила на вытянутые руки и цокнула языком.

— Якая кра-со-та-а…

Она разложила матроску на прилавке и с легкой улыбкой задумалась.

— На шо она тебе? По огородам лазить и чужие груши рвать? — решила поддержать маму тетя Ася.

— Побудь тут, дочка. У батьки там шось есть…

Она пошла быстрым шагом, а тетя Ася, увлекшись авантюрой, предложила:

— А ну, давай померяем.

— Нет! — крикнула я. — Мерить не надо — подходит! Понятно?.. Ну ладно, давай померяем!

Я прижала к себе матросочку, понюхала, как мама, и быстро поменяла сарафан на чудо-обмундирование. Тут и мама

вернулась. Я возле магазина попрыгала, счастливая, мама расплатилась, и мы пошли. Я впереди, она сзади, держа в руке мой сарафан.

— Ну и матросочка… Ну и люди! Придумали такую одежду для девочки, — негромко восхищается она.

Я до самого «концертика» бегала по хатам и дворам. Просили покружиться — пожалуйста! Юбка поднималась, как зонтик.

Мальчик, медленно проходя мимо меня, грустный, с влажными глазами, шепнул:

— Мне тебя жалко…

Ему было девять лет, как и мне. Я опешила от непонятной доселе печальной ласки. «Жалко» получилось как «люблю». Кинулась прыгать с телеги на телегу, чтоб скрыть испуг и согласие с его «жалко».

В степи, на концерте, ели много, а дядьки выпивали. Мама шепнула: «Те стишки, что про Ежова, не рассказывай». — «Ладно».

Угомонился хутор, лежу и я, подложив ладонь под щеку. Хороший день получился: тут матросочка, а тут еще и пацан со своим «жалко». Хороший…

Ох, и сладко Коля завел:

Ой, чай малиновый,
Один раз наливанный,
Один раз наливанный,
А семь раз выпиванный.

Утром мама дыхнула зубным порошком и приказала:

— Сегодня и завтра будь дома! Я в Краснодар. Завтра вечером обратно.

Днем на хуторе появились заезжие начальники. «Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону», — заорала детвора, увидев их. Посовещались начальники мимоходом в правлении, раки выпили и наметом поскакали на большак. К вечеру зажурились люди. А нам и байдуже (все равно) — купаемся в речке Уруп. Хорошо!

Увидала своего «жалкого» — быстрей в хату. Матроску надела — и на улицу. Что это по всем лавочкам и завалинкам тетки шепчутся?

А на следующий день никто на работу не вышел — все ловили поросят на сдачу. Дурка, как всегда, первая.

Вообще-то ее звали Шурка, но после одного случая за ней навсегда закрепилось имя Дурка. Но об этом позже. Так вот, Дурка растопырила руки — и ну ловить своего шестимесячника. Поросенка и пасти-то трудно, а поймать… Он то прыгает, визжит,

а то, хитрец, подлез под вагончик и ну носом толкаться в дно. Прыгнет — ткнется; отдохнет, визгнет — и опять сначала. Он будто увлекал Дурку в игру: дескать, не лови меня, лучше посмотри, как я пятачком до вагончика достаю.

Отец наш без одной ноги, стоит, опершись на костыли, и вздыхает:

— Куда его уничтожать?.. Он еще маленький. Вырос бы к зиме…

Куда там! Наказ есть наказ.

По всем дворам суета, все норовят поймать своего порося — и в сетку. «А то еще и за рогатый скот примутся», — ворчат женщины.

Мама была председателем колхоза. Вернулась из Краснодара, а тут такое.

— Кто распорядился? — спросила она.

— Из района прискакали, — сообщила Дурка.

— Кто такие?

— Бэба Григорий, Кузьма Хуецкий и Хыдыный Тимоха.

Крыть нечем. Кому-то помощь понадобилась. Значит, поможем.

А вечером мы сидим с мамой на берегу Азовского моря, буксирчик ждем, чтоб утром в Ейске на базаре я тюльку продала.

Солнце село, пивнушка в три стола опустела. Мама улыбнулась и показала на соседний столик. Матрос, шатаясь, сел к нам спиной и уронил голову на кулак. Подсела женщина, вытянув к нему шею, что есть силы стала убеждать его, говорить о каком-то флигельке, где можно будет устроиться жить.

— Я буду вспоминать тебя в море, — отвечал он на все, что бы она ни говорила.

Женщина напрягалась, еще и еще страстно сулила своему собеседнику какие-то перспективы.

— Я буду вспоминать тебя в море…

— Смотри, смотри! — Мама положила мне руку на плечо.

Из-за кустов показался красавец казак Еремей. Фуражка в руке, голова опущена, на ней катаются кольца черных кудрей. Кончик шашки скребет береговые ракушки, он не пьяный, просто печальный.

— Ерема, — шепчет мама. — Свою подружку ищет.

Тут и она, Дурка, появляется из-за кустов. Села за свернутый канат. Ерема опустился на освободившееся место напротив матроса. Тот, не заметив смену собеседника, сказал погромче:

— Я буду вспоминать тебя в море.

Едва сдерживая хохот, мы пошли к буксиру. Устроившись возле чьих-то коленей, я проводила взглядом любимую фигурку

своей мамы. И, глядя на воду, вспомнила вчерашнюю перепалку в правлении между Еремеем и Дуркой.

Атаман негромко постучал по столу и призвал утихомириться.

— Цыть, дамочка! Еремей, гутарь дальше!

— Ну, пошли мы на обрыв отдохнуть. Сели культурно. «Ера, мине холодно», — заявляет. Я снимаю китель, собрался накинуть ей на плечи. А она как с цепи сорвалась! Ка-ак схватит за грешное тело, я чуть не крикнул… Ну, не стерпел и врезал ей по первое число…

Дурка все это время придерживала марлю на правой щеке, а тут забыла — с синим подглазником и вздутой щекой кинулась в наступление.

— Ось послухай, батько! Послухайте, люди добрые! Усе пошли на кладбище. Мы тоже с Еремеем. Бес попутал — хлеба забыла взять. Все взяла — и закуску, и раки взяла. Сами знаете — поминальная. Ну, он и пошел до соседней могилы хлеба взять. А там эти блидя сыру купили, стали его угощать. — Сыр, замечу, в те времена был редким лакомством. — Жду-пожду… Уже и рюмочку выпила — сердце чуть не лопается, а его чуб все ветерком колышет и колышет. Уселся — и ни с места! Я и дернула с кладбища, аж тырса загорелась. В сарае поплакала, потом заснула как убитая. Тут он и является. Позвал на обрыв для примирения… Ну, там я не сдержалась, истинный бог…

Дружный смех.

Атаман достал кисет, скрутил цигарку. Встал.

— Цыть! Не затем я вас позвал. Поважнее есть дело.

Все затихли.

— Так, Мешкова, назначаю тебя в гурт на Москву, — обратился он к Дурке. — Поедешь с делегатами района на получение грамоты нашему колхозу от товарища Калинина. А когда — скажу.

И вот как-то ранним утром атаман стукнул Дурке в окошко.

— Бери документы — и в правление.

— Якие документы? У меня нема. Паспорт у колхози.

— Метрики, свидетельство…

Он ушел, а она быстренько сполоснулась, причесалась в момент — и уже на табуретке перед ним в правлении. Тут же и председатель, и парторг.

— Юбка черная есть?

— Есть.

— А кофточка белая?

— Есть, батько, прошвой вышитая.

— Шаль хорошая есть?

— Трошки потертая.

— Жинка моя принесет хорошую.

— Благодарствую.

— Завтра верхи (верхом) двинемся. Коня смирного дам тебе — и в район.

Дурка струхнула от незнания ситуации, но сработало «как все, так и я».

Так мы и жили: не дослушав как следует задания, кидались выполнять.

Приехали в Москву. Целый день они потели в одном из залов Кремля, зажатые охраной… Колхозы все шли и шли… Выкликали области, районы, деревни, станицы… Наконец наши услышали: «“Мировой Октябрь” Кущевского района». Как на подбор, казаки и казачки пошли по ковровой дорожке. Аплодисменты. Красиво прошли, будто пританцовывая. Взгляды устремлены на лесенку, по которой будут подниматься. Стали подходить к сцене. Калинин улыбается, ждет, держа грамоту в руке. Поздоровался за ручку со всеми. Его улыбка была мятая и усталая, а наших распирал восторг. Дурка не просто подала руку Калинину, а и встряхнула ее как следует. В зале негромкий смешок.

— Идите назад, — шипели незнакомые люди. — Возвращайтесь…

Ну, наши с достоинством пошли к лесенке, чтоб спуститься со сцены.

И тут произошел исторический казус, о котором долго потом вспоминали в селе. Дурка подождала, пока все спустятся, и твердой походкой вернулась к центру сцены, минуя Калинина. Все изумленно замерли. А она подняла правую руку и крикнула:

— Товарищи делегаты! От имени нашего колхоза про-си-мо нас обложить хоть каким-нибудь налогом!

Тут она низко поклонилась с особым казачьим шиком: выставила ладонь и дотронулась ею до пола. Выпрямилась, поаплодировала залу и гордо пошла к лестнице. Раздалось несколько неуверенных хлопков. Никто не знал, как реагировать на эту незапланированную выходку. А Дурку окружили «вежливые», взяли под руки и проводили в комнату, где молча пили чай с баранками растерянные станичники.

— Дурка ты, дурка, — ласково оценил Еремей ее поступок.

Так и стала она с тех пор не Шуркой, а Дуркой — уж очень подходило это имя к ее безотказному до дури характеру.

Много лет подряд эту байку про поездку в Москву у нас пересказывали, присочиняли, но из истории своего села не выбросили.

Найдется ли сейчас такой человек, как Дурка, чтоб бежать

выполнять наказ, не дослушав, не поняв его содержания?

Часть VI
Сцена — лекарь и друг

Спасибо зрителям

Телефон сегодня раскричался не на шутку. Бывают дни спокойные, а бывают и, наоборот, такие, что, когда стелешь на ночь постель, с надеждой думаешь, что, может, завтра потише будет.

— Нонна! Ты хорошо меня слышишь? — Это Зея, моя подружка из Тбилиси. — Здравствуй, это я.

— Здравствуй, Зеечка, дорогая!

— Завтра подойди к шестому вагону. Я послала сулугуни, зелени, винца и пышек.

— Ну зачем? Мы живем нормально. Приспособились. И какая может быть зимою зелень?

— Что?

— Приспособились, говорю. А вы как там? Говорят, у вас с продуктами плохо.

— Да, но мы тоже перестроились, то есть приспособились, и вообще, не твое это дело.

Она бросила трубку, а может быть, разъединили. Ох, грузины! Что за люди!

Вспомнилось, как выступала я у них во Дворце культуры. Зал плотно набит зрителями. Концерт идет академически-торжественно. И вдруг объявляют меня. Я выхожу и чуть не сбиваюсь с намеченного пути к микрофону. Весь зал встал — стулья затрещали, как грома обвал, — зааплодировал. Это получилось быстро и неожиданно. Я стояла в растерянности, сдерживая слезы. Ведь грузин, я приметила, так просто со стула не встанет. Только если перед стариком, перед отцом, матерью. А здесь стояли все — и пожилые, и совсем молодые. Еле-еле остановила зал. Такая теплота шла от зрителей, такой восторг! Это значит, что вожди будут разделять Россию и Грузию, а мы, простые люди, никогда не смиримся с отчуждением, всегда будем родными друг другу.

Потом пошли, положили цветы на могилу Бори Андроникашвили — сына Пильняка. Его сынок Сандрик — точный портрет отца.

— Я не Сандрик, я уже Сандро!

Действительно, ведь он уже закончил киноинститут в Тбилиси. Красивый и по-особенному, по-грузински, добрый.

Не успела погрустить о Грузии и грузинах, как снова звонок телефона.

— Нонночка Викторовна! Здравствуйте! Это Иветта Федоровна.

— Здравствуйте, Иветта!

— Только не отказывайтесь, умоляю!

— Что такое? — бурчу недовольно.

Конечно, мы попали впросак с этой перестройкой. Были какие-то деньги — вырвали из рук, облапошили без спросу. Приходится подрабатывать. Несмотря ни на что — ведь давление мое уже не всегда бывает «на месте», как прежде. Я и сверстники мои стали зависеть от разных атмосферных явлений, магнитных бурь… Бывает и так, что валидол под язык — и на сцену. Смотришь, раздухарилась, разогрелась и будто здорова — отпустило. Чувствуешь себя семнадцатилетней. Скорей, скорей домой! Там таблетку коринфара — и в койку, чтоб эта нахлынувшая молодость не обернулась чем-то совсем уж плохим. Сколько раз бывало и так — наутро после подобного омоложения совсем скверно себя чувствуешь. «Последний раз, последний раз, — говорю себе, — больше не поеду, хоть убейте!»

— Вы меня слышите?

— Слышу, слышу! Что там?

— Тут такое! Соревнования!

— Соревнования? А я-то при чем? Соревнования… — Ох, не на ком зло сорвать! Не хочу ничего. — Да я у вас уже была.

— Ой, ой, Нонночка Викторовна, общественность города и слышать не хочет о другой кандидатуре.

— А что надо?

— Как обычно, творческий вечер.

— Для кого?

— Для всех. Молодежь съехалась со всего Советского Союза, то есть — Эс-Эн-Ге. Со всех республик до одной…

— Мне только спорта не хватает!

— Да все будет хорошо, все путем.

Обе замолчали, и она поняла, что я начинаю склоняться к согласию.

— У меня завтра поезд из Грузии, посылку послали, понимаете?

— Утром?

— Да.

— Отлично! Я пошлю нашего водителя в Москву, он переночует там, утром съездите на вокзал. Саша. Вы его знаете. Что ему семьдесят кэмэ!

— Да нет… Зачем так уж?.. Я сама утром съезжу на вокзал.

— Прекрасно. Он подрулит к вам в три. Начало в пять.

— Ладно.

— Миленькая Нонночка Викторовна! Целую вас! До встречи. Тут есть одно предложение… Но — на месте…

— Нет, нет! Хватит, Иветта.

В сердцах положила трубку на рычаг: навыступались мы все бесплатно за всю свою жизнь. А теперь, когда стали платить, сил не всегда хватает.

Утром поплелась на вокзал. Поезд опаздывал. Я нервничала. Но вот он подплывает к перрону, я увидела взмах флажка, будто матрос сигналил — SOS подавал с корабля. «Шестой вагон», — догадалась.

— Нонна, Нонна! — зычно кричала грузинка.

— Иду, иду! — смеялась я.

— Не суетитесь, — приказала она напирающим пассажирам и встречающим. — Нонна, вот видишь?

Она, кряхтя, выставила тот еще баул, коробку с нешутейным весом. Хорошо, я с коляской пришла — знаю эти «небольшие посылочки» из Грузии.

Поцеловала в щеку проводницу, подарила фотографию с автографом, и мы с нею прикрепили посылку к коляске веревкой. Спасибо тем, кто придумал эти каталки — никакой тяжести не чувствуешь, хоть мизинцем вези. Прикрылась темными очками, косынкой во избежание взглядов сочувствующих: «Как, без мужика и без «мерседеса»?!»

Бывало и такое: из больницы выпишусь и поглядываю — с кем бы выйти. Никогда не сообщала никому о своей выписке. Люди на работе. У братьев и сестер — дети, семья, заботы. Однако очень важно, как выйти. Все поглядывают: что да как, кто встречает, в чем одета. Один раз пристроилась к молодой паре. Муж приехал за любимой женой на машине, с большим букетом цветов. Я «под чужим флагом» шикарно подкатила к Театру киноактера и взяла на проходной ключ от квартиры, оставленный сыном, который уехал на гастроли. «Мордюкова явилась с красивым мужчиной и охапкой цветов», — так говорили потом.

…И вот приезжаю с посылкой домой. Саша уже подпирает подъезд.

— Ох, Саша, еще и двух нет! Шустрый ты!

Он закрывает машину и берет мой груз.

— Ого! — крякнул. — Кто-то постарался неслабо.

— Из Тбилиси. Ты раскурочивай посылку, а я соберусь, и кофейку выпьем.

Вскоре помчались мы по Подмосковью. Дороги неплохие, а где так и очень хорошие. Все в инее.

— Ох, Нонна Викторовна! Не отпустят вас сегодня.

— Не пугай! Что за намеки? Знаешь, что лошадь мечтает о конюшне, а актер об уединении?.. Понял?

Люблю ездить на легковой машине, люблю дорогу — нервы успокаиваются. Я смирилась с неизбежным. По накату пошел творческий вечер. За кулисами поймала Иветту.

— Иветта, говори, что надумала.

— Потом, потом! Я побегу насчет стола.

Слышу — знакомая музыка из фильма «Председатель». Зал загудел — это я в задранной ночной рубашке слезаю с печки. А чего? Кругом секс, свобода нравов. Шучу, конечно. Не гожусь я для порнографии. Колхозная коровушка, да и только. Все равно аплодисменты. И фильм хороший, да и я там сыграла неплохо. Встык идет фрагмент из «Женитьбы Бальзаминова». Там богатая тетенька сильно любви хочет и мнет у забора бедного Мишеньку — Вицина.

— Мне бы домой, — мяукает он.

Но куда там! Попался!

За эту небольшую роль я была удостоена престижной премии — братьев Васильевых. Вместе показывать фрагменты из разных фильмов — это наша хитрость: дескать, видите, какие разные роли играю. Еще немаловажный сюрприз — мой выход на сцену. Аплодируя, жадно разглядывают и меня, и одежду мою, и лицо — ведь видят впервые. Мы умеем себя приукрасить для сцены, чтоб не быть похожими на то, что показано с экрана.

Вижу, несколько рядов заняты спортсменами. Теперь пусть хоть съедят меня с солью — мне стало хорошо, тепло. Недовольства, раздражительности как не бывало. Сцена — наш лекарь и друг; я стала добрая, веселая, заводная и простодушная. Приятно думать, что трудилась на съемках на совесть, и теперь хоть какой фрагмент выбирай — не стыдно.

— Банкет, Нонна Викторовна.

— С этими пацанами — «иностранцами», спортсменами?

— Боже упаси! С ними вы познакомитесь завтра.

«Так, — думаю, — арестовали, как хотели!»

Иветта холодными пальцами жмет мой локоть и ведет на этаж выше. Тут представители города. Рассаживаемся вокруг стола. Хочется есть, еда красочная и разнообразная. Ткацкой фабрике исполнилось аж восемьдесят лет. Рюмочку выпила. И сцена, и банкет вернули мне бодрость. Как на сцене ни старайся, второе отделение, застолье, тоже на мне. Все ждут, что и как скажу, ждут каких-то особенных рассказов об особой, по их мнению, столичной жизни. Глянешь на какую-нибудь хорошенькую «курочку» и позавидуешь: как ей легко — отдыхает

в полном смысле этого слова, ест, пьет, кокетничает. Грянула танцевальная музыка. Вот хорошо, потанцуйте, дорогие, а я отдохну, расслаблюсь. Что это? Иветта уже стоит в шубе и держит в руках мою.

— Господа хорошие! Гуляйте до утра, а Нонна Викторовна устала. Тем более ей завтра рано вставать.

Не успела оглянуться, как я — у Иветты в гостях. На кухне за столом нас трое — хозяйка, ее сын Витя и я. Парень высокий, крепкий, с доброй улыбкой. Оказывается, у Иветты дело ко мне. Вернее, дело не у Иветты, а у Виктора.

— Ну пусть он сам скажет.

— Он не только скажет, но и покажет на буере.

— На буере?

— Не пугайтесь. Послезавтра международные соревнования.

— А я при чем?

— Витя обещал пацанам — покатать вас, чтобы все увидели кинозвезду на буере. Сфотографируйтесь с ними.

— Какой позор!

— Нонночка Викторовна, это честь, а не позор. Я вам все расскажу об этом виде спорта.

— Я в сто раз больше вам расскажу. У нас на Азовском море еще не такие буера.

— Они одинаковые, — вставил Витя.

— Почему тетка должна с пацанами кататься?!

Кончилось дело тем, что меня все же уговорили. Завели будильник. А для меня раннее вставание во все времена было высшей мерой наказания: коленки дрожат, в глазах «песок», все идет наперекосяк. Напяливаю спортивное, буерное, обмундирование, Витя помогает, Иветта тоже. Я хохочу, и они за мной. Смех — мой спаситель, я приободрилась, повеселела, и мы почапали.

Идем, идем — никаких буеров и никакого льда.

— Ну и что же дальше?

— Сейчас, сейчас… Давайте я вас возьму на руки, — предлагает Виктор.

— Еще чего, ты совсем уж того!

И вдруг неожиданно за углом амбара открывается огромная театральная сцена: бесконечный, уходящий к горизонту лед, и на нем подковообразно застыли паруса и их капитаны. Все напоминало визит вежливости — молодежь улыбается и торжественно ждет. Я видела этих ребят вчера со сцены. Подтянулась, спину выпрямила. Витин буер стоял у берега в центре. Он предложил мне «засунуться» или «вставиться» так, чтоб только голова торчала. Бесцеремонно дергает меня за плечи,

поправляет что-то на мне, укрывает как следует, закрывает шалью лоб.

— Голову не поднимать! — с улыбкой командует и демонстрирует, как от движения паруса перекладина может сильно ударить.

— Может быть, не надо? Ну его к черту, Витя! Я боюсь.

— Все будет о'кей!

Смотрю, остальные паруса как корова слизала — мы одни. Он что-то сделал, и мы полетели, как в самолете. Скорость очень большая. Сердце замерло, сперва от страха, а потом от наслаждения. Вдруг откуда-то брызги с шумом.

— Это полынья, — пояснил Витя.

Парус, а значит, и перекладина мотались перед моим лицом влево, вправо…

— Не холодно?

— Нет, хорошо, Витя! Хорошо! А другие где?

— Они за нами.

— Едут?

— Идут… Как надоест — скажите.

— Гоняй, Витя, сколько влезет. Хорошо!

Он хохотнул, мы замолчали, как-то дружно, ладно замолчали, каждый думал, конечно, о своем. И все же мы были рядом. Капитан правил, а я наслаждалась неописуемым полетом. Размечталась, стала философствовать. То всплакнуть хотелось, то радоваться. Вспомнился чеховский рассказ о том, как вез дед на телеге свою бабку в больницу и стало ему жаль ее, потому что жили они плохо, неласково. Решил, что, если даст Бог и она поправится, все будет по-другому, и он готов был купить ей даже новый гребешок. Пока он мечтал, погоняя лошадь, бабка умерла, и голова ее билась о перекладину телеги. Я перекинула на себя эту историю. Такая уже немолодая тетя, умученная работой, ответственностью за все, не умеющая отдыхать, заботиться о себе, лежу в этом летящем по льду сооружении… Романтика! А голова моя, хоть и мягко, периодически касается стенок буера…

Однако, глядя в синее небо, решительно подумала: надо взяться за себя. Буду ездить отдыхать, бывать на природе. Буду жить и жить…

Морозец накалил мое лицо. Щеки огнем загорелись. Спасибо, Витя, Иветта…

Спасибо зрителям, что не дают мне сиднем сидеть. Зрители — это моя жизнь.

Туда, сюда и обратно

Лежим на дне баркаса и помалкиваем — подозрительная тучка появилась. Не жди от нее добра, если комочком она висит в небе перед закатом солнца, такая хорошенькая, но пугающая всех тучка…

К третьему курсу института стала я печалиться, тосковать по своему хутору, по маме, скучать в чужой Москве по дому. Что делать? Уже и фильм «Молодая гвардия» снимали вовсю, и хвалят всех, и мысли нет бросить начатое дело. Боже сохрани! Ко мне будто какой-то датчик подключили — киноактриса навек. Но по дому, по хутору крепко тоскую, все вспоминаю, как в детстве заснешь на теплой земле и сквозь сон слышишь: купальщики в реке плещутся. А тут и мама проведет ладонью по плечам: «Это кто на закате солнца спит? Нельзя, голова будет болеть. Вставай, дочка, пойдем вареничков с вишнями поедим».

Мысли в институте высокие, втягиваемся в неведомое доселе, но неуютно в Москве приезжему человеку. Война недавно кончилась, голодно, холодно было. Все никак не согреешься нигде, полное отсутствие отопления в общежитии, в тех комнатах, где ютились студенты. Отогревались только в институте. Решали стратегическую задачу: как остаться здесь ночевать? Выйти в буран на ледяную платформу к электричке было наказанием Господним. В начале лета теплело, но голодно было всегда, худоба наша пугала родителей, когда мы приезжали домой отогреться, отъесться и выспаться вдоволь.

Институт захватил, вобрал в себя. Учиться было интересно, а жилось в тогдашней Москве очень тяжело. И лет десять моталась я по разрушенному, голодному маршруту: Москва — хутор — Ейск. Насколько хутор был теплее и добрее, вот уж точно — «север вреден для меня».

Послали нас как-то осенью капусту рубить. Сыро, ботинки протекают, ноги мерзнут. Бригадир постучал по моей спине и поставил рядом валенки с галошами. Приметил, видно, мое обмундирование. Валенки отстоялись на припечке, прямо горячие стали. Какое счастье! Впервые север обогрел мои ноги. Ведь невыносимо вытаскиваться из теплоты в подсушенные, но дырявые ботинки. Они выжаривались, однако воду на мокрой улице впускали сразу… Тяжко было иногородцу. Судьба и время не щадили. Так казалось мне тогда, казалось, что я никогда не отогреюсь.

А в институте — блаженство. Предмет «мастерство киноактера», конечно, волшебный, открывающий неторопливо мир литературы, искусства, истории. Скорее в Москву — в институт! — вопила душа в конце августа. А потом еще один зов: в Краснодон, на съемки фильма «Молодая гвардия»!

Когда человек уезжает, то всю дорогу живет еще той жизнью, которая осталась позади. Нам обычно задавали на лето прочитать какое-нибудь произведение из классики и запомнить интересные случаи из жизни. На особых занятиях мы рассказывали их всему курсу. Меня же всегда тянуло встать и поведать о своем с мизансценой, то есть с помощью жестов и мимики. Летом, бывало, лежу, смотрю в небо и смеюсь, как представлю, что рассказываю студентам и педагогу обо всем, что произошло. Много чего было за лето!

К примеру, такое. Мама ведет собрание, за окном летний дождь льет как из ведра. Вдруг она видит, как входит белобрысая, толстенькая Дурка, а следом — незнакомец. И он, и Дурка промокли до нитки. Дурка ставит табуретку углом и садится, незнакомый мужчина — рядом, положив руку Дурке на плечо. В зале смятение… Дурка подмигивает президиуму, а мама делает выразительную паузу, призывая к тишине.

Собрание шло долго, и, как только дождь перестал, Дурка, согнувшись, вышла за дверь, незнакомец — за нею. Оказывается, он подводник, приехал из Москвы подводные лодки проверять, но почему-то ни разу никуда не отлучался, кроме как ночью в дом отдыха. Приезжий — новый человек, из чужих краев, из иной среды, даже выговор другой, а это всегда пленяет.

Маме чуть обидно стало рано ложиться спать, ей хотелось в хату к Дурке, где еще две-три товарки гуляли да рюмочку-другую пропускали. Какая-то новизна летала вечерами — незнакомец появился. Позже стали гулять впятером.

— Эх, Петровны нету! — накрывая на стол, сначала говорила Дурка. — Вот бы попели с нею — отпад!

— Да, Петровна у нас дюже гарно поет, хором руководит, — вторили товарки. — Она еще в детстве в церкви на клиросе спивала. Батюшка хвалил ее…

Мама не сразу согласилась прийти на вечеринку и нагрянула без предупреждения. В руках она всегда держала папку-скоросшиватель.

— Вечер добрый, — сказала мама.

Лучше бы ей не появляться, притягивала она к себе людей — в любой компании становилась лидером. Рассказчица была талантливая, вела себя естественно, чем и располагала неизменно всех к себе…

Побыв немного, собралась уходить.

— Пойду. А то дети и муж погонят из дому.

— Иди, иди, коммунистка! Всё дела партийные у тебя.

— Да хоть бы и не партийные. Петровна есть Петровна. Надо будет — и до утра просидит, распоется, рассмешит всех, —

заступилась за маму Дурка.

— Ну ничего, кадась мы ее заграбастаем.

Мама вмиг оценила Дуркиного кавалера: и форму рук приметила, и затылка, и тембр голоса ей понравился. Да и одет опрятно.

— Ничего, чистенький, аккуратный, — ответила она Дурке, когда та спросила: «Ну как он тебе?» Мама с ее проницательностью не раз отмечала подходящего мужчину, но это, как правило, ни во что не выливалось. Она была самолюбива, строга к себе, и тем сильнее, чем больше осознавала свою нелюбовь к мужу.

Они там гуляют, но мама знала, что тот, Дуркин, ждет лишь ее.

— Может, пойдем пройдемся? — сказала она как-то мужу. — А то все работа, работа… Посевную закончили — чего теперь?

— Вот еще! — Он скривил лицо, будто ему касторку предложили. — Иди одна. К Дурке зайдешь, частушки споешь.

Мама никогда не пела частушек, она пела, как богиня, красивым контральто, задушевные народные песни. Сам Алексей Денисович Дикий спрашивал меня: «Мама не скоро приедет?» Он слышал, как она поет, в ВТО — отмечали мы какую-то премьеру. Спрашивали о маме и другие режиссеры. «Как приедет — сообщу», — смеялась я. А рассказчицей, равной ей, была только я.

— Молодец, дочка! — хвалила она меня, когда я, бывало, подхватывала ее рассказы.

Дурка торжествовала. Привела такого мужика… Да еще москвича. Отличался он от колхозников. Почему-то особенно поразил всех его несессер.

Как-то приходит Дурка в слезах. Мама ну ее утешать:

— Не плачь, Дурка. Чует мое сердце — прохвост он. Никакой он не подводник. Брешет. Скорей всего, надводник: поверху сама знаешь чего плавает. Це такой, шо шукае, где плохо лежит… Бродяга-курортник… На выпивку налегает, а гроши давно кончились.

— Каже, с жинкою живут плохо.

— На черта ты ту накидку из бисера купила на толкучке? А теперь плачешь.

— Долгу богато… Я ж ему еще с собой дала на одежду. Сказал, что поженимся. Прошел уж месяц — ни гугу.

— Так ты ему еще и денег дала?!

— От радости.

— От какой такой радости?

— Дите будет…

— Это неплохо. Ты одинокая. Еремей-то твой сгинул где-то — без вести пропал.

— Да, пора уж, скоро тридцать мне.

Бедная Дурка: она не только продала кое-что за этот роман, но и купила себе пелерину из бисера. Думала, что наряд этот сблизит ее с тем высшим классом, к которому, по мнению Дурки, относился и ее будущий муж. А он уехал — и с концами. Родился мальчик. Слала Дурка письма в Москву — ни ответа, ни привета.

— Ты там поосторожней, а то еще пристрелит. — напутствовала она меня, когда я собиралась отвозить в Москву письмо ее «подводнику».

— Да ты что? — испугалась я.

— Он сказал, что наган имеет. Не упрекай его, поняла? «Баба не схочет, кобель не вскочит». Тьфу, дура я, прости меня, Нонк! Любила я его… Какие там упреки! Отдай письмо, чтоб никто не видел, — наставляла она меня.

И вот я в Москве. Еду на улицу Лесную, дом такой-то, квартира такая-то… Батюшки! Старый-престарый дом, еле держится. Поднимаюсь по стертым, с выемками, мраморным ступенькам. Сколько прошагало подошв по ним! Звоню. Сердце в пятки, но не отступать же! Волнуюсь и оттого все делаю не так. Дурка просила не отдавать конверт сразу, а сначала вызвать его в коридор. Выходит он в полосатой пижаме. Пижама когда-то белой была, а полоски коричневые. Хмурый, деловой. Конечно, сразу вспомнил меня, но сделал вид, что не узнал:

— Вам кого?

Через захламленный коридор коммуналки вижу настежь открытую дверь, стол с дымящимися тарелками. Некрасивая бледная женщина с плоской фигурой режет хлеб. Она спрашивает испуганно:

— Кто там? Это к нам?

— Здорово, друг! — говорю «подводнику». — Тебе привет из станицы Отрадной. — У меня даже в глазах потемнело. — В чем дело?! Вы запамятовали?..

Я вошла в комнату и шагнула к столу с тарелками. Женщина таращит глаза.

— Повторяю: вам привет из станицы Отрадной, из города Ейска. — Положила конверт на клеенку возле хлебницы и оборачиваюсь к нему: — Почему вы так много растратили тети Шуриных денег? И взяли у нее тоже много на какие-то покупки? Сколько лет уж — ни покупок, ни денег.

Я все не то говорила: разве можно заводить речь о деньгах? Однако это был разговор не о деньгах, а о нечестности. Мы никогда не были жадными. Но в подлость надо человека ткнуть

носом — пусть понюхает.

— Гражданка, я вас не знаю… — лепетал отец Валерки.

— Знаете! И помните. — Я вскрыла конверт, вытащила фото и поставила перед ними. — А теперь еще и Валерку будете знать!

Я сбега́ла вниз по ступенькам под истерический крик:

— Вон отсюда! Шантаж!.. Вера, это шантаж!..

Как-то заехала я на хутор по дороге на юг, к морю — сыну бронхит полечить.

— Папаня! — слышу ломаный мальчишеский голосок в Дуркином дворе. — Тетя Нонна з Вовкою.

Постаралась не выдать удивления: Еремей Дуркин вернулся.

— Дядя Ерема, где Александра Григорьевна?

— Заходьте — она на берегу белье трепае.

— Я схожу к ней, — упредила я его.

— Она во-он за той вербой, — просветленный Еремей охотно указал пальцем.

Обнялись мы с Дуркою, сели, буруем ногами прозрачную, чистую воду. Мальки кусаются…

— Батога хорошего дав мне, и усе, — говорит Дурка. — Пацана признал. Тот его батькой зовет. Малой был — четыре месяца. Ото и весь сказ…

— Да, Григорьевна. Такую любовь сроду не найдешь, как Еремей тебя любит.

— И я его тоже, — ответила Дурка.

Бывают же такие люди, как Дурка. Без нее на хуторе пусто. Пускай хоть спит, хоть борщ варит — лишь бы хутор не становился порожним. Вот уж отрада для всех, игрушечка и для взрослого, и для дитяти. Смотришь, ребятенок еще только ползать начинает, а до их двора первым делом доберется.

— Ду-у-ка! — Хохоча, Еремей берет чужого ребенка — и в палисадник. Родители, случалось, даже ревновали. Некоторые матери ждали: вырастет и прибьется к сверстникам. Нет, и сверстники хороши, а все: «Ду-у-ка!» Одна девочка расплакалась, когда узнала о существовании Валерки.

— Мама! Теперь тетя Шура не будет нас любить. Она будет любить своего сыночка…

Многие на земле знают таких людей, а разгадать не могут.

Еремей вернулся из плена и все присматривался к Дурке. Казалось ему, что чересчур насели на его любимую. То «дай», то «пойдем», то «спой». Он подождал немного и забрал ее к себе навсегда. Мама рассказывала, как Дурка ухитрялась принадлежать только ему, семье. А как Еремея нету — тут же или чье-то дитё перелазит через плетень, или тетка-соседка идет с

какой-нибудь мазью, просит спину растереть. Валерка был в курсе и непременно знак подаст: «Батяня едет». Тут уж все по домам, а Дурка в фартук кинет несколько огурцов и спросит у Еремея:

— Оте-то хватит? Может, еще помидор взять?

— Бери что хочешь. Сейчас соберемся — и на берег. Там скупнемся и повечеряемо.

Еремей лицом старел, а фигурой никак. Смуглые мускулы, тонкая талия.

Я тоже ловила себя на том, что первым делом спрашивала: «Дурка в хуторе?» К ней очень тянуло…

Тучка кинула две-три крупные капли на нас. Мы — под брезент. Затарахтел дождь. Дяденька накрыл нас сверху клеенкой. «Вот она, дождалась, налетела, коварная», — подумала я. Потом треск! Грах! Какой-то краткий получился налет. И снова тихо. Откидываю брезент — сбежала: ни тучки, ни ее проделок. Солнце почти у горизонта. Ему недосуг на такую мелочь реагировать. Глянула на хутор, далеко он от меня…

Доктор Симанович

Интересно, где теперь шнергает подошвами сандалий, не отрывая ног, дорогой наш, любимый всеми Геронтий Александрович?

Симанович Геронтий Александрович — участковый врач, один на три хутора. Не идет народ в поликлинику провериться, пожаловаться, подлечиться. Ни в какую! И вот Геронтий Александрович уже который год ходит к народу сам без приглашения. А ведь он сердечник. Тучный, толстогубый, с не сходящей с лица улыбкой. Между толстыми пальцами непременно зажата горящая папироса. На нем полотняный костюм, куртка-толстовка с множеством карманов, на голове панама. Он знает, что любим всеми и желанен всюду. Он всегда облеплен детьми. Женщины при встрече кланяются ему в пояс. Любой ездовой снимет кепку и пригласит подвезти.

— Не-е, спасибо. Так полезнее.

А какая уж там «польза»! Два шажка пройдет, остановится. Еще два шажка — и снова остановка. Дышит шумно и хрипло. В один день он успевает обойти один хутор. От прохладненького компота или простокваши не отказывается. Пациенту велит лечь на траву. Сам сядет рядом и осматривает: помнет живот, постучит пальцами по позвоночнику. Пацан норовит выскользнуть: «Стоп! Ты куда?!» Хвать за ногу…

— Ты в реке долго сидел, курносый. Знаешь, что у тебя скоро

верба из попки вырастет? — Пацан замирает. — Вот тебе утром и вечером по одной таблетке.

— Горькая? — гундосит пациент.

— А как же? Еще какая!

— У-у-у…

— А премию хочешь?

— Хочу! — бойко встает пацан.

— А… Это заслужить надо. Сначала таблетку, а потом вкусное лекарство.

Доктор достает из широких штанин бутылочку гематогена и наливает несколько капель в золотую стопочку размером с наперсток.

Насчет меня он тоже справлялся:

— Ну как тут моя Нунча? — Не заходя во двор, улыбается мне в окно. — Поди ко мне, любимая Нунченька, угощу гематогенчиком. Так уж и быть…

— Да я уж здоровая детина, маленьким отдайте.

— Пока не выпьешь, не уйду.

Я смеюсь и с готовностью открываю рот — вкусно.

— Геронтий Александрович, а почему вы меня называете Нунчей?

— Принесу тебе книжечку Максима Горького. Вырастешь и прочтешь.

…Лошадь убила Колю-Портартура. Она дремала стоя, а Коля подошел сзади с ведром, чтоб ее попоить. С хвоста-то нельзя подходить. Лошадь, испугавшись, ударила задним копытом Колю по голове. Народ собрался. Геронтий Александрович сел возле убитого, сжав кулак возле рта. Принесли рогожи, и он бережно прикрыл пострадавшего.

Жаль было на него смотреть и когда умница одна мучилась, мучилась от болей в ногах, да и послушалась народную докторицу: «Собери побольше пиявок и подпусти к больным местам». Та обрадовалась и подпустила их несчетное количество. Лежала в сарае и блаженно уходила от болей, а также от жизни…

— Боже мой, — дрожащим голосом произнес Геронтий Александрович. — Я догадывался, я говорил с ней…

На похороны пошел тогда впервые, до этого не ходил никогда, может оттого, что свою вину чувствовал.

Я все думаю и думаю о родном хуторе, о дорогих мне людях… Скольких уж нет… Ненароком и Геронтий Александрович скончается — похуже он стал, послабее. Недаром на кладбище пошел…

Может, вернуться мне домой? Может, все к черту — и эту Москву, и искусство? Я с ними хочу быть! Мне без них плохо!

Каретка

Саман — глину, смешанную с соломой, — сначала месят ногами, потом — для получения кирпича — орудуют кареткой. Это прямоугольная рама, сделанная плотником по заказу. У кого большая, у кого поменьше. В раму эту натаптывают месиво, затем осторожно выталкивают на траву, чтобы подсохло. Получается саманный кирпич, и испокон веку хата называется саманной. Заботливо хозяева обхаживают такую хатку. Часто белят, голубую каемочку наводят. Цветы рисуют, петушков. Она невысокая, и за нею можно ухаживать, как за малым дитем. Под окнами сажают цветы: панычи, чернобривчаки, граммофоны, рожу — мальву по-научному…

Для человеческого бытия тоже выдумывают разные каретки: живи честно, трудись, детей рожай, не будь скрягой, гордецом. Эта каретка вечна, да только не удержится человек в ее границах. Человек единожды входит в жизнь, в которой ему наперед уготован его путь. И каждому намечена судьба. Заранее расписал кто-то, как человеку жить. Смолоду и до конца. Он не думает об этом, потому что считает свои планы незыблемыми, уверен, что он хозяин жизни, — как задумает, так и сделает. В каретку эту входят любые пожелания: дети, работа, дом, угодная судьба и путевка в искусство.

Молодость с амбициями. Все препятствия легко устранимы. Не топят в общежитии? А ребята на что? К вечеру любыми путями добудут досок, натопят — и будет тепло. Помню, в лосиноостровском общежитии не стали мелочиться, спилили сосну. Она упала на провода — остановились две фабрики. За ночь все распилили, попрятали, натопили как следует, но наутро все обнаружилось. Пришли из милиции, стали акт составлять. На полтора миллиона убытку. Да что с нас возьмешь? Свалили на стихийное бедствие. Нам погрозили: так больше не делать! Мы, конечно, ни-ни. Зато неделю или две на обоих этажах черные голландки были раскалены.

На школьной форме, в которой я приехала в Москву, локти штопаны-перештопаны, заплатка на заплатке. Ну и что? Пошла в профком, дали ордер на покупку хлопчатобумажного изделия. Ох, изделие мое! Какое ты мягонькое и уютное — халат на пуговках. Запах-то, запах! Магазинный, шикарный. Никому и в голову не приходило, что я в халате по институту расхаживаю. Следующий заход в профком — парусиновые туфли на розовой резине. Потом купила на Тишинском рынке две пары ношеных шерстяных носков, распустила и самодельным деревянным крючком связала косынку.

— И все на наряды, все на наряды деньги тратите, — съязвил наш общий любимчик Ростислав Васильевич, преподаватель физкультуры.

Общежитие — это по мне, это отрада. Я первый раз и от мужа удрала, чтобы снова очутиться в гурте: кто голову в тазике моет, кто кофточку гладит. Готовимся к понедельнику — занятие по мастерству актера. Любимый и строгий Борис Владимирович с Ольгой Ивановной приедут. Это бал-маскарад, это праздник! Мало ли, что есть хочется и день и ночь! Всем хочется. Всем людям, всей стране неотступно хочется есть. Мы учили друг друга, как тренировать желудок, чтобы он не просил еды, чтобы не отвлекал от основной жизни.

Бесконечно влюблялись, целовались по углам. Местные мамы или папы отрезвляли, отвлекали, умоляли не терять голову, отложить любовные переживания на потом.

Один раз сидим на «западной литературе», всовывается в дверь знакомое лицо пожилой женщины.

— Простите, можно Мордюкову на минуточку?

Выхожу, таращу на пришедшую глаза, вспоминаю, что Гарик их гуляет с одной девочкой, слушаю ее.

— Нонна, доверяю только тебе: каждую неделю буду вам пышки печь, только не трогайте Гарика!

— Я его не трогаю. Мне вообще все до лампочки — я отличница, на Доске почета вишу… А Гарик ваш скачет от одной к другой.

— Он сказал: люблю Мордюкову.

— Брешет! Ладно, давайте пышки. Приносите каждую неделю, и мы Гарика спасем…

Вот так бывает: у меня сердце колотится оттого, что пышки едим и еще на вечер останется… Приезжаем в общежитие, на плитке целое ведро булькает с пшенной кашей. Это Сережка Пыров где-то «скоммуниздил». Где — не наше дело. Спрашивать не полагалось. Потом мы усаживались с отличниками натуральными и наседали на них, чтоб те рассказали содержание «Бесов» Достоевского или пьесы А. Н. Островского. Обычно задают на лето прочесть, но разве летом откроешь книжку? Мама родная, а на танцы к морячкам, а в море покупаться, а рыбы или раков половить? Какой там Достоевский… Оглянуться не успеешь, как мама уже собирает тебя в Москву. Но эти наши читаки-отличники здорово пересказывали произведения. Бывало, и два, и три расскажут. А мы ухитрялись четверки получать на экзамене.

Однажды стою я на бортике бассейна — шли занятия по плаванью. Ростислав Васильевич, наш физкультурник,

подплывает, пальцем подзывает наклониться к нему. Я наклоняюсь.

— Ты у гинеколога была?

— Зачем это? — подтягиваю купальник.

— Ведь ты беременна. Пойди в медпункт и возьми направление.

Я закрыла руками свой живот и побежала в раздевалку.

Там села на кучу какого-то инвентаря, задумалась.

— Переоденься, ты вся дрожишь, — крикнул на меня староста.

Я медленно переоделась — и в медпункт. Случилось это на четвертом курсе. Профком в очередной раз схватился за голову: куда девать? Общежития два — женское в Москве, возле метро «Кропоткинская», мужское в Лосинке. Там как раз и была резервная, четырех-пяти метров, комната для тех женатых студентов, которые ждут ребенка.

Я наведывалась в Лосинку, присматривалась: висят пеленки на веревке или нет? Было такое правило: диплом защитил — и айда на простор, снимай угол или к чьим-нибудь родителям просись…

Наконец входим в долгожданную комнату. Две «солдатские» кровати, стол, печка — отлично! Муж с Евгением Ташковым нанялись пилить дрова дачникам, чтоб купить приданое для будущего ребенка.

Я бегала по двум этажам, на кухню, в умывальник. Жарила на рыбьем жире картошку. Все немного морщились от запаха, а мне он не мешал: плохо ли — рыба и картошка вместе. На второе — кипяток из пол-литровых банок.

Я шустрая была. Стал живот увеличиваться, я поддерживала его руками, но бегать не переставала. Вокруг меня были веселые мальчики. Я им подкину какую-нибудь шутку — хохочут, аж потолок дрожит. Характер у меня был тогда золотой — легкий, веселый, покладистый, все без исключения меня любили. К примеру, Сергей Параджанов. Бледный он был и худой, одежда без цвета и формы. Он шастал все время по комиссионкам, искал «счастья»: кулоны, броши, разные золотые изделия. Антиквар!

Однажды мы собрались все на кухне и варим «че нито».

Сергей входит с интригующей улыбкой и достает из кармана зеленую, с золотыми точечками-глазами собачку. Моя неуклюжая рука потянулась: «Ой какая!» И с концами!.. Уронила я, разбила бедную собачку.

— Эх, мама Нонна, что ты наделала! — охнул кто-то.

А Сергей засмеялся, негромко, беззащитно:

— Ничего, найдем еще…

Я чувствовала ценность утери, но он замял происшедшее, вынув из-за пазухи вяленую воблу.

— Ура!

Тем дело и кончилось.

Прибегаю однажды из института. Муж остался там в шахматы поиграть. Вдруг меня как скрутит в узел!..

— Ой, ой, мальчики, мальчики, помогите!

Ребята несмело подошли к открытой двери, взглянули на меня, скорчившуюся. А боль внезапно отпустила.

— Все прошло, слава богу!

— Что с тобой?

Входят несколько человек во главе с Марленом Хуциевым, я сижу смеюсь… И вдруг снова: «Ой! ой!» Марлен выпроводил всех в коридор, в приоткрытую дверь наблюдает за мной. Тишина. Появляется комендант, с трубкой.

— Не паникуй, к утру родишь.

Ушли. Лежу, смотрю в потолок. Опять как даст в поясницу молотком, я снова в крик: «Ой, ой!» Слышу, в комнате против нашей ключом кто-то дверь открывает. Я кричу, как родственнику:

— Ваня! Ванечка! Беги звони! Я, наверное, сегодня всё!

— Сейчас, сейчас!

Куда побежал, не знаю. Чередование «Ой!» с тишиной, подходящих к двери и уходящих мальчиков. Наконец прибегает Ваня и успокаивает:

— Сейчас, Нонночка, они приедут сюда роды принимать! Я сбегал на мебельную фабрику и дозвонился!

— Как — сюда?!

Я испугалась, заплакала. Вижу, сквозь толпу ребят протискивается мой муж. Он раздражен: сколько вокруг чужих… Стал надевать мне ботинки, с досадой ворчит: «Зачем они здесь? Это наше дело… Сейчас поедем в Москву. Машина стоит внизу…» Как ни крутилась в машине, а про счетчик не забывала: надо же платить!

Вернулась с ребенком в эту же комнату. Чуть не ослепла, увидев на моей, а значит, на сыновней кровати бумажные цветы на подушке. «Он хотел как лучше…» Я мягко так собрала цветы, положила их на окно, а потом уж опустила сына на подушку. В институт ходим, ребенка с собой таскаем. Он лежит в медпункте, нянчат его по очереди все кому не лень. У меня душа разрывается — жаль сыночка. Я полюбила его сразу так жгуче, сильно, какою-то ненормальной любовью. На ручке — еще в родильном доме — привязана была клееночка с надписью: «Мордюкова — мальчик».

Как-то утром, уже в институт собрались, — стук в дверь.

Входит медсестричка, поздоровалась и шутя спросила:

— Мальчик Мордюков здесь живет?

— Нет, — сухо ответил муж, швырнув клееночку на стол. — Этот мальчик — Тихонов Владимир.

— Извините, у меня так написано… — смутилась сестра. — Прививку надо сделать.

После ее ухода резко сказал:

— Собирайся, пойдем в загс! — Мы в ту пору были с ним еще не расписаны.

На улице свистел морозный ветер, я несла сыночка и чувствовала, что ватное одеяльце не защитит его розовую спинку от холода. Так и вышло — застудили. Потом несколько лет лечили от бронхита…

Молодые были наши мальчики, в том числе и мой муж: ему хотелось после занятий остаться в институте, поиграть в шахматы. Я же, повесив на руку узелок со скопившимися за день пеленками, ехала с сыночком в общежитие до станции Лосиноостровская, а дальше пешком. Плетусь как-то ночью, несу бесценную ношу и вдруг провалилась в яму, выкопанную для столба. Обеими ногами оказалась в яме, но извернулась, и кулек с ребенком остался снаружи на вытянутой руке. Цел! Невредим! Поплелась дальше, облепленная глиной с ног до головы…

Но не такой я была человек, чтоб плакаться, бодягу разводить — одна слеза скатилась, и хватит. Дома растопила печь, постирала, повесила пеленочки, а сын гулил, хорошенький. А вот и папа… Сел на мою кровать, что напротив печки стояла, в полуметре от нее, взял его за обе ножки и со словами «Поехали-поехали» сделал «велосипедик». Сын захохотал вовсю. А утром снова поплелись к электричке…

В те годы Москва совсем не строилась. Кто имел угол хотя бы за гардеробом, считался обеспеченной персоной. И вот опять общество «Знание» бурчит что-то в телефонную трубку: «Ленинград просит для старшеклассников «Молодую гвардию» и тебя…» В поезде дяденька незнакомый кидает три коробки с фильмом и, буркнув: «Там встретят», — уходит. У меня стали слипаться глаза — было уже за полночь.

Утро выдалось хорошим. Недаром испокон веку есть надпись на станциях — «Кипяток». Кипяток — это жизнь, и в купе у нас бурлила жизнь. Кипяток с парком, какая ни есть еда очутились на маленьком столике. Как хорошо!

— Мне твои фильмы всю ночь снились, — сказал молодой пассажир в офицерской рубашке.

— Фильмы… Это не фильмы, а фильм «Молодая гвардия», и

то три части всего, — ответила я.

— Так вы лауреат Сталинской премии?! — взвизгнула с восторгом попутчица.

— Да, вот так… — вздохнула я.

В кармане у меня было четыре рубля. Выступать в субботу и воскресенье, а вечером домой.

Приняли меня на «ура». Все были очень довольны, обнимали меня, целовали.

— До следующих встреч! — радушно говорили люди.

Было семь часов вечера. Я додержала улыбку, пока не завернула за угол. А как же гонорар? Мне не на что даже хлеба купить. А ехать на что?

Шла я, шла и оказалась у Политехнического института. Села на лавочку. Красота-то какая! Еще горше стало от такой красоты. Тетеньки мимо меня носят на носилках желтые листья и кидают в кучу. И вдруг одна опустила носилки, подсела ко мне, положила руку на колено и спрашивает:

— Что с тобой? Кто обидел тебя, казачка?

Я подняла лицо:

— Откуда вы знаете, что я казачка?

— Да видно. У нас кубаночки подрабатывают, а днем учатся. Вставай. Пошли чай пить.

Пока шли, я все-все рассказала ей.

— Ну, чего ж тут особенного? Заработала, а деньги в зарплату получишь, — сказала она.

Зашли мы во дворик, похожий на колодец. Она стукнула по низенькому окошку, и изнутри прыгнула на стекло кошка, так высоко, что соски на пузе видны были.

— Раздевайся, садись. Непорядок у вас там в кино — картину погрузили, оформили, а человека…

— Я первый раз выехала. Не знала, что за гостиницу платить и за обратный путь.

— А с едой как? Голодная небось.

— Нет. На выступлении за кулисами стоял столик и чай с хлебом.

— Ну тогда ничего. В другой раз расскажу тебе, как я Кубань люблю… до одурения. В госпитале нянечкой работала. Любовь была с кубанским казаком. Молодые были. Налюбились, нацеловались вдоволь и без обещаний расстались. Еще не вошли в тот возраст, когда жилы друг из друга тянут обещаниями да уговорами… А насчет отъезда — устроим. Пошли, скоро поезд. С моей подружкой поедешь, на узлах с бельем.

Подружка оказалась улыбчивой, тихой ленинградкой. Выложила из кармана шинели мелкую картошку в мундире, кулек

морской капусты, чаю с сахарином попили. Хорошо!

Радость моя сменилась на досаду: не хотелось мужу объяснять, почему без денег явилась. И откуда у парня в двадцать два года командирское начало? Это, пожалуй, единственный человек был, от которого я днем и ночью мечтала избавиться. Но как? Раньше нельзя было: ребенок, семья, что скажут в институте. Боже сохрани! Надо терпеть. А про маму и говорить нечего. Бывало, чует, что мне не живется с ним, начинает причитать: «Ой, дочка, не бросай его! Он домашний. Никогда семью не оставит. Смотри, как бы одной не пришлось жизнь коротать, а он — судьба твоя».

Так больше десяти лет просуществовали. Мама умерла — мы и разошлись куда глаза глядят…

Развалилась моя каретка. Вот только золотник остался при мне. С ним не пропадешь. Он главнее, чем муж и несуразная моя жизнь личная. Золотничок — это предназначение быть мне актрисой, с пониманием и умением создавать свое искусство на интерес людям.

…1997 год. Я в Тбилиси. Гала-концерт в большом зале. Артистов много. Переаншлаг. Объявили меня. Весь зал сразу встал. Я уж говорила об этом, о том, что такое для гордого грузина встать со стула. Слезы залили мне лицо… Я аплодировала, они — тоже.

Вот это награда. Вот это и было всегда моей невидимой кареткой жизни — служить профессии. У каждого человека, занимающегося искусством, главное «пиршество» в творчестве состоит в работе, в которой он расходует накопленное своей жизнью, то есть самое дорогое, что когда-то привело к горьким слезам или к неудержимому смеху. И я тоже из большой семьи художников, людей, занимающихся искусством. И у меня под ложечкой есть болевая точка. В детстве мне довелось увидеть у колодца упавшую без чувств женщину, получившую похоронку с фронта. Я все понимала, я сочувствовала ей до глубины души, потому что родилась актрисой. У меня национальные струны тугие оттого, что мне судьбой было предназначено срастись с горем окружающих меня женщин, срастись с их характерами, умением работать до десятого пота, веселиться, песню завести такую, что проберет всех до слез. Так и получилось, что мое богатство было в окружающем меня вечном жизненном сюжете.

Помню, мы были в экспедиции на съемках в глухой деревне. Померла старуха… Несут гроб, за ним группа людей идет.

— Сколько лет ей было? — спросила я.

— Шла до упаду! — не поднимая головы, ответила одна из провожающих свою подружку в последний путь.

Истинная характеристика наших женшин — «шла до упаду!». И я, если ничто не помешает, буду идти до упаду. И кто же не согласится с тем, что таких женщин нет больше нигде, ни в одной стране! Нету таких тружениц, как наши. Боже ж ты мой! Одну только войну вспомнить, и того достаточно, чтобы всю жизнь играть ее, писать, рассказывать о женской военной доле. Все у нее, у женщины нашей, получается безропотно, обязательно, нерушимо…

Всегда она бегом. Как бы несправедливо ни обошлась с ней судьба, с какими бы страданиями, лишениями она ни встретилась, крепка в ней уверенность, что плохое — ошибки, неприятности — временно, надо подождать, перетерпеть, и все наладится. Сколько в нашей женщине взрывной силы, дипломатии, милосердия! И все мы разные: есть тихие, есть крикливые и требующие, а крик не помогает, тогда ляпнет такое, что аж чертям тошно: все катаются от смеха. Есть и вульгарные, вроде ведут себя вызывающе, а в работе никому не уступят; такие все время на Доске почета висели. Это мои героини и мои зрители, моя любовь. Таких женщин я знаю, это я сама.

Пошла я недавно на рынок за квашеной капустой. Вижу, бочка стоит, возле нее суетятся подросток и женщина с гипсом на руке — от кисти до локтя. По лицу ее видно, что болит рука нестерпимо, но она этой правой рукой взвешивает свой товар. Пацан получает деньги. Все сочувствуют, кто и сам накладывает себе в бидон и ставит на весы. Я в аптеку: «Дайте что-нибудь обезболивающее». Дали. Угощаю несчастную пятерчаткой — две таблетки сразу.

— Как же это вы? — с состраданием спрашивает какой-то мужчина.

Женщина смахнула слезу фартуком.

— Да как же, как же… Вчерась вот тут поскользнулась — и на руку! Вывих и трещина, сказали. Вправить-то вправили, но болит, болит.

— Поезжайте домой, — искренне советует кто-то.

— Я и то говорю: поехали, Мария, домой, — бурчит ее напарник, молодой паренек.

— Куда домой? Срам-то какой — явимся с капустой. Помалкивай там! — ответила в сердцах хозяйка.

Я ее взяла себе на заметку. Напишу о ней, а может, и сыграть когда придется на нее похожую.

Еще эпизод. Собрались как-то у знакомой актрисы отметить очередное событие. Пришли известные режиссеры, актеры. Надо сказать, что актриса эта и сейчас живет в коммуналке — не все же ретиво рвутся в отдельные квартиры. Пришла в гости и соседка —

сторожиха. Вечерами надевала бесформенную волчью шубу, брала ружье без патронов и шла охранять чье-то добро. Мы обычно липли к ней, любили слушать ее рассказы, ловили, запоминали каждое ее слово — все шло в копилку. Однажды моя подруга влетела на кухню и закричала:

— «Мону Лизу» везут по Москве, в особом автобусе с особым режимом и климатом!

Сторожиха спокойно помешивала суп в кастрюле, чем вызвала еще большее желание убедить ее в чуде происходящего.

— Вы слышите, Антонина Федоровна?

— Чую, нэ глухая…

— Она будет выставлена в музее! Пойдемте!

— Проститутка якась… Че на нэи дывыться?

Иногда осчастливит нас — постоит у притолоки, что-нибудь сказанет… Один режиссер спросил у нее:

— Антонина Федоровна, какая у тебя пенсия?

Та нагнулась и ответила ему на ухо. Тогда режиссер ставит рядом с собой табуретку и жестом приглашает соседку сесть.

— Где вы были во время войны?

— У Белоруссии.

— Приходилось ли вам скрывать партизан или кого из бойцов?

— А як же!.. Разве я одна? Мы усе помогали… И у нас тоже партизаны ночевали, харчей им давала.

Режиссер отводит собеседницу в сторонку, и они о чем-то шепчутся. «Это законно!» — уверяет он. Соседка неторопливо надела шубу, взяла ружье и пошла на пост.

Забыли мы это, не замечали, что несколько дней Антонина Федоровна не попадается нам на глаза. Вдруг открывается дверь и входит долго отсутствовавшая соседка. Ее и не видно — вся увешана связками чеснока, лука, с плеч снимает мешок, до половины заполненный семечками.

— Антонина Федоровна, приехала? Наверное, ездила в деревню насчет пенсии?

— Ну да, — простодушно отвечает она и рассупонивается. — Бери вот, от моей младшей сестры. Насилу узнала ее… Хорошо съездила… Ставь чайник — в горле пересохло.

— Сейчас, сейчас! О, и тыква, и фасоль!

— А как насчет пенсии? — Надо ведь было найти одного-двух свидетелей, которые бы подтвердили помощь Антонины Федоровны партизанам и бойцам.

— Якая там пенсия! — воскликнула соседка. — Хлопцы усе-е до одного повмирали!

Она это сказала, как бы радуясь за себя, что сама-то жива-

здорова… А пенсия…

— Це надо хлопотать да просить… На что оно?

Потом задумчиво проговорила, дуя в блюдечко с чаем:

— Скоро, ох скоро пробегла жизнь… Садись, — кивнула она мне, — чайку попьем. Ты не приучайся, чтоб кто-то тебе поднес. Сперва заслужить должна. Вот сколько заслужишь, столько и дадут тебе пенсии. Но это еще тебе не ско-о-ро…

Теперь, спустя много лет, я все думаю о встреченных мною простых женщинах, так похожих на моих героинь. Укладывались ли их жизни в кем-то заготовленные каретки? Образование, манящее в дальние дали, любопытство, талант, войны, зависть — да мало ли еще что ломает желанные формы, корежит спокойное жизненное течение. Вот и Илюша, племянник мой… пропал в Чечне. Пишу это, а мысли сейчас только о нем — не знаем мы, жив ли он, что с ним… У него двое детей — женился он рано, жену привез с Кубани. Отдыхал там и влюбился в кубанскую казачку. Валя, его мать, жена моего брата Геннадия, переживала, плакала, ругала его: мол, рано жениться, сам ребенок еще. А он, глаза потупив, брови домиком, серьезно так, по-взрослому: «Я — жертва любви!» — «Ну раз жертва, — рассмеялась Валя, — женись». И жена его тоже совсем молоденькая, он ее и звал «девочка», она его в ответ «мальчиком». Так и до сих пор они «девочка» с «мальчиком». Читает он много. И молчун он у нас. Прежде чем сказать, помолчит, подумает. Я еще раз повторю — только о нем мне сейчас и хочется, нужно говорить, писать, — все он в самые горячие точки рвался, снимал на переднем крае бесконечных нынче войн. И как мы им гордились, как за него переживали! Как-то я ему об этом сказала, посетовала: зачем тебе это — постоянная опасность, взрывы, стрельба?.. Он, помолчав, тихо ответил: «Тетя Нонна, это мое призвание».

Вот и уложи жизнь в каретку, попробуй втиснуть ее в удобную форму…

Молодая гвардия клипмеикеров

Вышли мы как-то из павильона «Мосфильма» во двор, чтобы продышаться немного. Сели на скамейку и стали разглядывать стайку юношей, почти мальчиков, сидящих на траве. Они такие симпатичные, одеты по моде, пахучие, приветливые. Щурятся от солнышка, смеются, толкают друг друга. Это клипмейкеры. Видать, что-то снимают и тоже вышли подышать. Я вспомнила понравившийся мне телеклип — реклама водки. Там черная кошка гуляет сама по себе между предметами и забавно проецируется — превращается в пантеру на водочной бутылке.

Клип удался. Он прошел по всему миру и получил разные призы.

Меня не один год волновала мысль о форме кино. Всегда напрашивается возможность очистки от ненужных заусенцев, от лишних по смыслу метров пленки. Порою и на стуле ерзаешь, и зеваешь от тягомотины эпизода. «Воды много», — говорят про такое кино. А бывает наоборот — ритм фильма слишком вольно меняется. Тот клип с кошкой и водкой подтверждал известную истину — краткая выразительность только украшает фильм. Я преклоняюсь перед односерийными фильмами. Кино — это не театр, не телевизионные посиделки. Классики его изначально создавали как выдох, как выстрел: «А-ах!» — и всё! Кино родилось, появилось на свет односерийным.

Помню, как мы сидели в просмотровом зале на «Мосфильме» и, затаив дыхание, смотрели двухсерийный фильм Шукшина «Калина красная». Василий вертелся, чесал макушку, кряхтел. За несколько секунд до финала громко встал, хлопнул в ладоши и решительно сказал: «Одна!» — серия, имел в виду. Бывает, что в процессе съемки студия и создатели восхищены текущим материалом. Дирекция незамедлительно провоцирует изменить серийность — из одной сделать две. Студия выигрывает: получается, за те же деньги и время не один фильм, а два. Студии, съемочной группе и актерам платят как за два фильма. Обоюдный интерес. Однако Шукшин в угоду этим интересам не стал корежить картину. Но вот в «Трясине», которая изначально была запушена как «А-ах!», как выстрел, как выдох, то есть односерийным фильмом, режиссер не устоял — угодил «Мосфильму». Виктор Мережко знал, почему сценарий был рассчитан на одну серию, но в кино принято не считаться с автором. А надо бы… Есть определенная заданность жанра, сценария. Недаром, скажем, в спорте — четкое разделение по дистанциям: сто метров, километр и так далее. Односерийный «забег» сценария должен быть неукоснительно односерийным.

Когда я увидела удачный клип, подумала: все же молодежь кумекает, ищет… Уловить момент, крик, подтекст — это много. Налетел на меня где-то на презентации клипмейкер. Слегка ерничая, убеждала его, что я не клиповая актриса. Он распалился, стал доказывать, что можно забавно снять. Я бы и рада была продолжить спор с ним на съемочной площадке, в новом для себя качестве, но мысли нет.

— А зачем она? — говорит он.

— В этом-то и интерес: снимать срез, миг, намек. Пусть по времени это будет сорок секунд, но сорок секунд мысли, — настаивала я.

Мы расстались, а через несколько дней звонит Денис

Евстигнеев. Я обрадовалась: «Вот это другое дело!» Его фильм «Лимита» очень понравился мне. И вдруг он предлагает сняться в клипе. Я-то думала, что в фильме…

— О нет-нет, ни за что!

На другом конце провода пауза и дыхание. Он начал говорить о железнодорожницах в оранжевых жилетах.

— Сколько по времени должно идти?

— Полторы минуты.

— Денис, дорогой, клип мне не осилить — я реалистка до мозга костей. Полторы минуты!..

— Это много. — Он еще помолчал, а потом предложил встретиться завтра на «Мосфильме».

Там нас с Риммой Марковой уже ждал художник Павел Каплевич, и мы затерялись в море одежды, хранящейся на складе. Увлеклись, как дети. Пашка прыгал по узлам и ящикам и отменно одевал нас. Этот процесс важен очень. Мы, потные и красные, вздохнули наконец, и довольный Пашка сообщил Денису:

— Ну вот так, я думаю.

Режиссер потер руки и, смеясь, сказал:

— Пойдемте, теперь займемся тем, зачем вы, собственно, сюда приехали.

— Действительно! — засмеялись мы.

Два дня на жаре между рельсов снимались с Риммой Марковой ради полутораминутного изображения на экране. В этот клип вмещен глубокий жизненный смысл. Такой вот клип по мне.

В XX веке много чего появилось. От фривольности ядерных игрищ народились неизвестные доселе вещества, имеющие формулу, но не поддающиеся познанию. Крутятся неизвестные соединения, которые располагаются как и где угодно. Англия согласна на полное уничтожение любого скота… А СПИД? Разве есть хоть малая надежда распознать этого монстра. А дети-мутанты?.. Это уже другая формула в науке. Кино тоже заслужило наказания. Людям нужен фильм «Белоснежка и семь гномов», а им подают всевозможные откровения патологии. Распад страны, распад всего — в том числе и кино. На этом фоне обнаружилась незаполненная ниша, куда непринужденно и легко вошли клипы. А клипы бывают разные. У Евстигнеева — с мыслью и состраданием. С клипом надо на «вы». Бойтесь полностью попасть в его вечные объятия. Клип опасен…

Мне припомнился фильм, где Чурикова и Скляр обрадовались безжизненной территории, совсем без людей. Как хорошо! Бурьян, палисадник и скошенное сено — ничье. Дом пустой. Ходи разглядывай, предавайся любви… Хорошо! А между

тем эти два человека находятся в радиационной зоне. Наблюдающие сообщают друг другу: «Они светятся…» Так и вошли в свою гибель — ни боли, ни страха, а только блаженство… Не случится ли так, что сугубо клиповое творчество выест реальное предназначение профессии кинорежиссера?

Экран — это магическая зрелищная сила. Его функция — забрать зрителя без остатка. А мы разошлись: «Бей, кроши, бросай детей в окна!» Тут тебе и мозги на асфальте, и кровушка течет, и голый зад, да и секс — пожалуйста. Так лучше уж бессмысленные клипы — там хоть крови нет!

Святое изобретение человечества — экран, а мы порою делаем из него помойку.

Не возраст мне подсказывает это, а опыт. Экрану пристало изображать, как актер Закариадзе в фильме «Отец солдата», забравшись среди перестрелки в разбитое здание, нашел сына. Они перекрикивались. Гулом гудели их голоса. Отец добрался до сына и осел, держа в руках его, выдохнувшего: «Отец»… «Какой ты стал большой, как ты вырос», — гениально запричитал Закариадзе…

Ну, черный кот прошел, отражаясь в водке, — это лишь забавный миг. У нас и того нету, не видать что-то подобного в наших клипах. Наслаждайтесь жвачками, радуйте родителей, работайте не покладая рук, но, когда начнете взрослеть, посматривайте на жизнь нашу. Если не собираетесь уехать, волей-неволей пожелайте, чтоб вся ваша жизнь не распалась на клипы, не превратилась в пир во время чумы.

Меня во время учебы во ВГИКе общефакультетским собранием решили отчислить со второго курса за «богохульство». Познакомившись с личностью Карла Маркса, я заявила педагогу и курсу:

— На черта он нам сдался! Все равны, тишь, да гладь, да божья благодать! А как же искусство? Оно не может возникнуть без страдания!

Это высказывание, конечно, было интуитивным. Какой из меня политик! Но из души неграмотного человека раздался крик — это предчувствие мучений, страданий и тяжкого труда в своей профессии, потому что мы не могли себе представить, какую песню заводить, если не о родимой стороне, о людях наших, если не творить на радость, на надежду простому труженику. Гамлета играть можно и нужно. Образовывать людей необходимо, но все это получится только тогда, когда хлеб будет, вода будет, воздух чистый будет. Идет по синему морю белый лайнер, человеку хорошо разлечься в шезлонге, подставить лицо солнцу и ветру. Он счастлив целых двадцать дней отдыхать между небом и

землей. Но в трюме идет другая жизнь — трудовая. Не будь ее — лайнер утонет.

Так когда-то в коммуналке Григорий Чухрай ночами на кухне писал режиссерский сценарий «Баллады о солдате». Фильм полетел по белому свету. Классическая библейская картина. Я не утверждаю: чтобы стать талантливым, нужно пройти нищету, голод, лишения. Но знать почву, своих людей, их образ жизни — это необходимо для творческого человека.

«Хочешь оставить след в искусстве — вторгайся во все отечественное», — говорил художник Васнецов. Где живешь, там и спасение. К примеру, я хорошо знаю горцев, вообще Кавказ, потому что там выросла. От души позавидовала режиссеру Хотиненко, его таланту понять душу горца, его жизнь через русского солдата, роль которого исполняет в фильме «Мусульманин» Женя Миронов.

Клип обязан доносить до зрителя свою мысль. Смешной ли это случай или грустный. На первой стадии — беззаботная игра, как любая игра, вплоть до компьютера. Шарики разного цвета. Здесь же и прелестный задик Ветлицкой, на него мастерски накладывают масло какао. Она улыбается, выставляя красивые зубы. Зачем это все? Так, за здорово живешь, хорошие мальчики незаметно внедряются в радиационный палисадник. Они не догадываются, что в зону никчемности идут… Вряд ли кто восхитится нашими клипами, потому что клип — это продукт таланта, поднаторевшего в большом кино или в другом виде искусства.

Не так давно показали клип Майкла Джексона. Вот это клип! Майкл пошел, а вернее поплыл, то есть он пошел по сцене медленно, не говоря уже о его пластике. Мы впились, замерли, заволновались: впустив нас к себе на сцену, чтоб мы последовали за ним, он едва заметно дернул на миг подбородком, дразня зрителей знакомым движением. Ради этого мига был сочинен клип. Значит, только богатый талантом, богач таланта, оцененный всем миром, способен на такую драгоценную зарницу. Цветными шариками и поющими рок-попами, под ветродуем, как говорится, ни с того ни с сего разве увлечешь зрителя?! И разве на этом можно сделаться богачом таланта? Нет, детки, нельзя. Правда, в клипах есть возможность познакомиться с техникой съемок, с аппаратурой, освещением, с хорошенькими актрисами. И больше ни-че-го!

Вот я вам подарю одну из десятка зарисовок, возникших в моей голове. Нуте-ка! Снимите! Представьте: иду по широкой улице Москвы. Вдруг слышу, как десятки машин одновременно остановились и загудели во все моторы. Оказывается, немолодая

худенькая женщина на середине перехода буквально влипла в неостывший асфальт. Одну ногу вытаскивает, а туфля остается на старом месте. Вторую вытаскивает — то же самое. Машины — исчадия ада — орут как бешеные. Женщина пытается как-то двигаться, боясь их угрозы: ноги освободила, но оставила вытянутые пустые чулки в туфлях. Вернее, чулки еще тянутся за ней. Несколько шагов сделала, пока не освободилась от приставучих чулок. Наконец босая ступила на тротуар. Я подбегаю к ней, беру под руку, мы возле цинкового карнизика полуподвального окна. Я сажаю ее на этот карнизик. Иссохшая, худая, она хватается за жизнь. Кажется, что грудная клетка пуста, так сильно и гулко бьется сердце, со свистом дышат легкие.

— Ничего, ничего, — убеждаю я ее и бегу вытаскивать туфли.

— Чулки, — прошептала она.

Сбегала я и за поменявшими цвет чулками. Завернула их в газету, а туфли напялила ей на ноги.

Подождала, пока она более или менее отдышалась, и спросила:

— Что вы там так крепко прижимаете к груди?

Она развернула целлофан, вытащила из него сберкнижку, ногтем открыла ее и, сдвинув брови, выдохнула:

— Сегодня обмен денег назначили, разве ты не знаешь?!

Сорок секунд чистого действия… А какую горькую мысль оно несет! Хоть горькая, хоть сладкая, хоть соленая, а мысль в клипе должна быть, уже не говоря о том, что клип — это хобби, а не профессия.

В комедийном фильме тоже очень точно надо выводить мысли. Комедия по делу должна служить людям…

Расселили нас как-то с киноэкспедицией в деревне по разным хатам. Мне достались очень хорошие хозяева. Маруся, ее сын Коля и муж Анатолий — комбайнер. Одно плохо: муж пил по-черному. Пока работал в поле — ни капельки, потом с дружками на грузовике в магазин. Гур-гур, буль-буль, кто домой, кто тут же прилег. Анатолий валялся мертвяком где-нибудь недалеко от магазина. Колька ежедневно брал двухколесную тачку и ехал за ним. Посадив с помощью взрослых невменяемого папку в тачку, он трогался к дому. Старался, чтоб ни рука, ни нога отца не попали в колеса. Для сельчан это привычно, никаких упреков.

— Мама, мамочка! Заплаканное сердце мое! Любимая! — кричал пьяный Анатолий, когда Маруся шла навстречу, чтоб помочь высадить его из тачки. — Любовь моя! Единственная! И тебя люблю, и Кольку.

— Ничего, ничего… Сейчас на топчанчик ляжешь под яблонькой и отоспишься, — приговаривала молодая красивая

казачка. А потом мне: — Вы знаете, у него золотые руки и характер хороший. Утром будет как огурчик. Покормлю его — и на работу. Ударник!

Как-то задождило. И нам плохо, и колхозу тоже. Сидим мы под яблоней, вареники лепим. Анатолий очень смешливый — от души прыскал от всех моих россказней. Надо же было так сблизиться с этой семьей и так, в общем-то, обнаглеть, что сама уже не помню, как я скорчила ему ту самую рожу, с которой он кричал по пьяни: «Мама, мамочка, заплаканное сердце мое!» Маруся схватилась от смеха за живот и выскочила из-за стола. Коля тоже пунктирчиком, как-то дробью захохотал. Анатолий внимательно вгляделся в мое лицо, будто видел впервые. Потом, застенчиво улыбаясь, мотнул головой, отошел в сторонку и стал крутить цигарку. Колька замолк, почуяв, что отцу моя шутка не понравилась. Обедали молча. Маруся еще кусала губы, сдерживая смех. Анатолий съел борщ, вареники и пошел к сараю. Вскоре он вышел с мотором от лодки.

— Папаня, можно, я с тобой?

— Пошли, — буркнул отец.

Коля догнал его, и они скрылись в камышах. Маруся лбом уткнулась в клеенку и расхохоталась всласть.

— Ой, как у вас натурально получилось!

— Может, мне съехать на другую квартиру? Он, по-моему, обиделся.

— Кто? Толя? Вы что! И не выдумывайте. К вечеру все забудет. Вон видите, на закате небо светлеет? Завтра работа будет вовсю.

…Прошли годы. Присылает письмо Мария. «Дорогая вы моя да разлюбезная, да какое же доброе дело вы сделали, Нонночка! Толик у нас так с тех пор и не пьет. Уже шестой год пошел. И не буду, говорит. И мамочкой больше меня не называет. Теперь я у него “дорогая”, “миленькая моя”».

«Какую же рожу я ему скривила?» — подумала я. Человек на миг остановил в себе течение крови и повернул его в обратную сторону. Этот эпизод я дала возможность использовать другой актрисе в подобной ситуации, но ничего не получилось: завод и концентрация ей оказались недоступными.

Так что и комедия, и трагедия должны быть пропущены через душу исполнителя до самого дна.

Иллюстрации

Я ВЫРОСЛА В РАБОТЯЩЕЙ СЕМЬЕ.
У МОЕЙ МАМЫ БЫЛ ЧУДНЫЙ ГОЛОС —
ЕЙ БЫ В БОЛЬШОМ ПЕТЬ, А ОНА ПОДНИМАЛА КОЛХОЗЫ

Мои родители — Виктор Константинович и Ирина Петровна Мордюковы — были убежденными коммунистами

В шестом классе (я в первом ряду вторая справа)

Мой брат Геннадий
в 24 года стал начальником
погранзаставы на Памире

Моя сестра Наталья.
Она станет художником
по костюмам на ТО «Экран»

В юности было столько мечтаний...
С моей лучшей подругой Клавой Хабаровой

Николай Мордвинов в роли Богдана Хмельницкого. От него я узнала, что есть в Москве такой институт — ВГИК

На первом курсе. В роли Катюши Масловой

Я на репетиции в роли Федры

Зимой 1946-го Татьяна Лиознова спасла меня от жестоких морозов, подарив мне телогрейку, которую мы с трудом впихнули в мое пальто, перешитое из морской шинели

Мои однокурсники Екатерина Савинова и Сергей Гурзо. Прекрасные актеры, они, увы, рано ушли из жизни

ПЕРЕШЛИ МЫ НА ВТОРОЙ КУРС, И ВДРУГ ИНСТИТУТ ОХВАТИЛА ОШЕЛОМЛЯЮЩАЯ НОВОСТЬ: БУДЕТ СНИМАТЬСЯ ФИЛЬМ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ», И ВСЕ РОЛИ ТАМ БУДУТ ИСПОЛНЯТЬ СТУДЕНТЫ. КАК ТРЕВОЖНО И РЕВНИВО ЗАБИЛИСЬ НАШИ СЕРДЦА!

А.А.Фадеев и С.А.Герасимов вместе отбирали кандидатов на роли молодогвардейцев. Я тогда, говорят, была очень похожа на Ульяну Громову, и меня взяли

Кадр из фильма «Молодая гвардия» (1948). В одночасье мы сделались знамениты

Сцена из спектакля «Молодая гвардия» в Театре-студии киноактера

Юные лауреатки Сталинской премии — мы с Инной Макаровой, исполнительницей роли Любови Шевцовой в фильме «Молодая гвардия». 1949

После творческой встречи со зрителями на родине. С бывшей одноклассницей Ольгой Пастуховой

Вячеслав Тихонов всегда обожал собак. А тут у нас на руках знаменитые «космонавты» — Белка и Стрелка. 1960

Мой повзрослевший сын Владимир Тихонов после возвращения из армии

Приехала к сыну в пионерский лагерь — сразу попросили выступить перед пионерами: вы для них — живой пример, Ульяна Громова

Борис Андреев прославился в фильмах «Большая жизнь», «Два бойца». Он когда-то устроил в ясли моего Володечку, сказав, что это его незаконнорожденный сын. Иначе не видать бы нам яслей

С Сергеем Бондарчуком мы земляки. Наши матери были подругами

Василий Шукшин — моя неизбывная боль и любовь

Стеша Ряшкина —
«Чужая родня» (1955).
Режиссер М.Швейцер

Дуся Ошуркова —
«Екатерина Воронина» (1955).
Режиссер И.Анненский

Степанида —
«Отчий дом» (1959).
Режиссер Л.Кулиджанов

Александра Потапова — «Простая история» (1960).
Режиссер Ю.Егоров

Федосья Угрюмова — «Русское поле» (1972).
Режиссер Н.Москаленко

Роль Антонины Кашириной
в фильме А.Салтыкова «Возврата нет» (1974) —
одна из моих любимых

На предложение С.Бондарчука сняться в фильме «Они сражались за Родину» (1975) я поначалу ответила отказом. Уговорил меня приехать на съемки В.Шукшин

Родные и близкие. Слева направо — в верхнем ряду: мой брат Геннадий, его жена Валентина, папа — Виктор Константинович, сестра Наталья, ее муж кинооператор Петр Катаев; в нижнем ряду — мой сын Володя, я, мой племянник Женя Катаев и его бабушка Валентина Леонтьевна, вдова писателя Евгения Петрова

Я старалась быть хорошей хозяйкой. Может быть, это не всегда у меня получалось

На IV Московском международном кинофестивале.
С Мариной Влади, Аллой Ларионовой и космонавтом Алексеем Леоновым

Галина Польских, Ия Саввина и я
на встрече с польскими кинозрителями

КАЖДЫЙ ИЗ ЭТИХ ФИЛЬМОВ СТАЛ ВЕХОЙ В МОЕЙ ТВОРЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ. «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» БЫЛ ОТМЕЧЕН ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИЕЙ, А «КОМИССАР» ПРОЛЕЖАЛ НА ПОЛКЕ ДОЛГИХ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

Доня Трубникова — «Председатель» (1964). Режиссер А.Салтыков

Вавилова — «Комиссар» (1967).
Режиссер А.Аскольдов

ХОРОШАЯ КОМЕДИЙНАЯ РОЛЬ ДАЕТ АКТЕРУ СКАЗАТЬ О ЧЕЛОВЕКЕ ЧТО-ТО ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ, ИНОГДА ПАРОДИЙНЫМИ СРЕДСТВАМИ СОЗДАТЬ НА ЭКРАНЕ ТИП

Белотелова —
«Женитьба Бальзаминова» (1965).
Режиссер К.Воинов

Пристяжнюк — «Тридцать три» (1966). Режиссер Г.Данелия

Управдом Варвара Плюш —
«Бриллиантовая рука» (1969). Режиссер Л.Гайдай

Гостья —
«Ширли-мырли»
(1994).
Режиссер
В.Меньшов

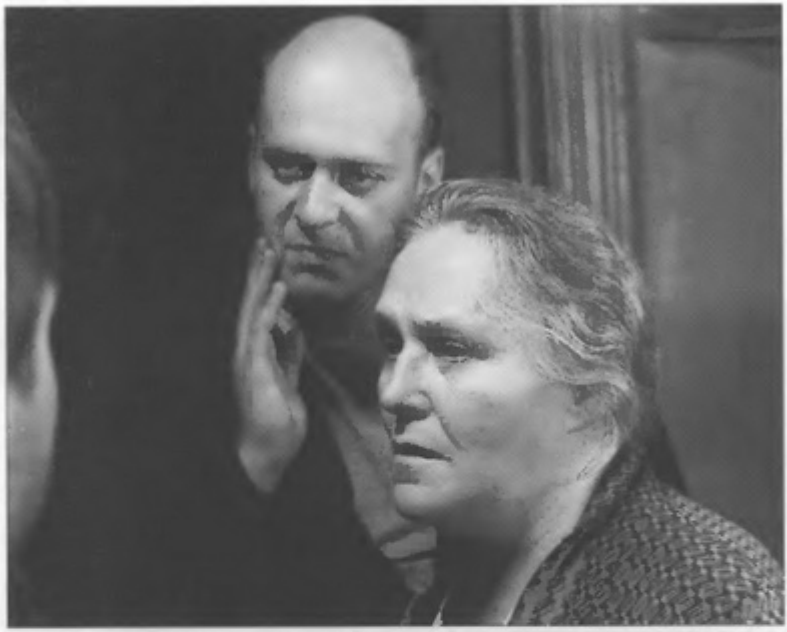
Анна Андреевна (в центре) —
«Инкогнито из Петербурга» (1978). Режиссер Л.Гайдай

НИКИТА МИХАЛКОВ И ДЕНИС ЕВСТИГНЕЕВ — РАЗНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ, РАЗНЫЕ ТЕМПЕРАМЕНТЫ, РАЗНЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРЫ. НО ОБ ОБОИХ ВСПОМИНАЮ С НЕЖНОСТЬЮ

На съемках фильма Никиты Михалкова «Родня» (1982)

С Н.Михалковым и оператором П.Лебешевым

На съемках фильма «Мама» (1999) с Денисом Евстигнеевым



С моими «сыновьями» — Евгением Мироновым, Владимиром Машковым и Алексеем Кравченко

На «Киношоке»

С Лидией Федосеевой-Шукшиной

Давние подружки.
С Риммой Марковой

Люблю разыгрывать собеседника, даже если это журналист, берущий у меня интервью

Юрий Яковлев, Нонна Мордюкова и Михаил Ульянов — первые лауреаты актерской премии российских деловых кругов «Кумир». Москва, 1999

В.В.Путин вручает мне Премию Президента. 2002

notes

Примечания

1

Районное звероводческое отделение.